

# СОВЕТСКАЯ ЭТНОГРАФИЯ

6

Ноябрь — Декабрь  
1988

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1926 ГОДУ • ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

## СОДЕРЖАНИЕ

### Национальные процессы сегодня

- С. В. Чешко (Москва). Время стирать «белые пятна» . . . . . 3

### Статьи

- А. Я. Гуревич (Москва). Изучение ментальностей: социальная история и поиски исторического синтеза . . . . . 16  
 И. Я. Фроянов, А. Ю. Дворниченко, Ю. В. Кривошеев (Ленинград). Введение христианства на Руси и языческие традиции . . . . . 25  
 В. И. Козлов, О. Д. Комарова, В. В. Степанов, А. Н. Ямков (Москва). Проблемы адаптации русских старожилов в Азербайджане (середина XIX—XX в.) . . . . . 34  
 И. Вебер-Келлерман (Марбург). Обряды жизненного цикла и социальная стратификация. Семья и детство . . . . . 50

### Дискуссии и обсуждения

- Обсуждение статьи В. В. Пименова «Подготовка профессионального этнографа: проблемы перестройки» (Г. Г. Громов — Москва, К. И. Козлов — Москва, В. М. Шамиладзе — Тбилиси) . . . . . 65

### Из истории науки

- А. Б. Радзюн (Ленинград). Фредерик Рюйш и его анатомическая коллекция в Музее антропологии и этнографии . . . . . 82

### Этнография в музеях

- Л. К. Зязева, А. Б. Островский (Ленинград). Этнографическая лекция: методика и организация (Опыт Государственного музея этнографии народов СССР) . . . . . 88

### Сообщения

- Э. Л. Мелконян (Ереван). Армянская семья в условиях диаспоры . . . . . 98  
 Т. А. Николаева (Киев). Художественные особенности народной украинской одежды конца XIX — начала XX века как объект этнографического исследования . . . . . 105  
 С. А. Азизов (Махачкала). К вопросу о дагестанской тухумной эндогамии . . . . . 121  
 Х. Рахматиллаев (Фергана). Изменения в этнической структуре населения городов узбекской части Ферганской долины за годы советской власти . . . . . 126



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» МОСКВА

## **Поиски, факты, гипотезы**

Э. Х. Петросян (Ереван). Генетические истоки анатолийского кукольного театра «Карагёз» . . . . . 15

## **Наши юбиляры**

Список работ доктора исторических наук Д. Д. Тумаркина (к 60-летию со дня рождения) . . . . . 16

## **Научная жизнь**

Л. Н. Молотова (Ленинград). Читательская конференция журнала «Советская этнография» в ГМЭ . . . . . 152

К. В. Чистов (Ленинград). Советско-финский симпозиум по социально-экономическим проблемам . . . . . 153

Т. А. Воронина (Москва). III Международная конференция Комитета по этнографическому изучению изобразительного искусства . . . . . 155

Н. Е. Грызлик (Ленинград). Полевая сессия Ленинградской части Института этнографии АН СССР . . . . . 158

Е. А. Рябинин, О. М. Фишман (Ленинград). Первые финно-угорские чтения . . . . . 159

М. Б. Щукин (Ленинград). Работа секции славянского этногенеза Ленинградского отделения Научного совета АН СССР по комплексным проблемам славяноведения и балканстики . . . . . 163

Коротко об экспедициях . . . . . 166

## **Критика и библиография**

### **Критические статьи и обзоры**

Е. А. Веселкин (Москва). Люди в науке (по поводу книги А. А. Никишенкова «Из истории английской этнографии. Критика функционализма») . . . . . 168

### **Общая этнография**

В. И. Фрейдзон (Москва). Ю. В. Бромлей. Этносоциальные процессы: теория, история, современность . . . . . 176

### **Народы СССР**

Т. В. Станюкович (Ленинград). О. С. Лукьянец. Русские исследователи и молдавская этнографическая наука в XIX—начале XX в. . . . . 178

### **Народы Африки**

Э. С. Львова (Москва). А. С. Балезин. Африканские правители и вожди в Уганде . . . . . 180

Указатель статей и материалов, опубликованных в журнале в 1988 году . . . . . 184

## **Редакционная коллегия:**

К. В. Чистов — член-корр. (главный редактор),

В. П. Алексеев — акад., С. А. Арутюнов, С. И. Брук,

Н. Г. Велкова (зам. главн. редактора), Л. М. Дробижева, Т. А. Жданко,

Р. Н. Исмагилова, Р. Ф. Итс, **[Л. Е. Куббель]** (зам. главн. редактора),

Г. Е. Марков, Р. М. Мунчайев, А. И. Першиц, Н. С. Полищук (зам. главн. редактора), П. И. Пучков, Ю. И. Семенов, В. А. Тишков, Д. Д. Тумаркин

Ответственный секретарь редакции Н. С. Соболь

Адрес редакции: 117036, Москва, В-36, ул. Д. Ульянова, 19,  
телефоны: 126-94-91, 123-90-97

Зав. редакцией Е. А. Эшиман

© Издательство «Наука»,  
«Советская этнография», 1988 г.

# **НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ СЕГОДНЯ**

**С. В. Чешко**

## **ВРЕМЯ СТИРАТЬ «БЕЛЫЕ ПЯТНА»**

В ряду неотложных дел, которые поставила на повестку дня перестройка, дождался своей очереди и национальный вопрос. Хотелось бы, конечно, чтобы это произошло несколько раньше. Тогда обществу, возможно, не пришлось бы испытать столь жестокого стресса, каким стало для нас взрывное обострение карабахского вопроса. Не сложилась бы такая ситуация, когда, подобно *deus ex machina* объявился (не для всех, правда, неожиданно) и представил во всем своем обескураживающем разнообразии целый набор других региональных проблем. Не возникла бы необходимость срочно искать новые пути и способы укрепления всей многонациональной государственной системы. Будем надеяться, что прошедшая XIX Всесоюзная конференция КПСС станет началом перестройки в области управления национальными процессами, регулирования национальных отношений.

Основания для такой надежды есть, поскольку конференция уделила специальное внимание многим актуальным вопросам, относящимся к этой сфере жизни общества, определила принципиальные подходы к их решению. Разумеется, эти подходы требуют дальнейшей и весьма серьезной проработки. Неизбежны столкновения, борьба мнений и идеологических концепций. С тем большим нетерпением мы ожидаем предстоящего пленума ЦК КПСС по национальному вопросу. Тем большая ответственность ложится на нас в формировании обновленной теории и методологии национального строительства, в отпоре неосталинистским, неозастойным, неоконсервативным — как их ни называй — «теориям». В сложных условиях переходного периода от бюрократического государства к социалистической демократии они уже вызревают на почве догматического легитимизма и боязни перемен, которые свойственны части управляемого аппарата и ученых. Не впадая в пессимизм, все же позволю себе высказать опасение, что подобные концепции имеют некоторые шансы на успех, даже после партийной конференции. Зачем стоят еще не сломленные традиции политической демагогии, богатый опыт «промывания мозгов».

Оценивая сложившуюся ситуацию, надо видеть главное. Оно состоит в том, что решения конференции могут стать хорошей основой для плодотворной научно-теоретической и практической работы по совершенствованию политики в национальном вопросе. Прежде всего политики, ибо допускавшиеся в ней просчеты являлись, по моему глубокому убеждению, основной причиной осложнения национальных отношений в стране. Зачастую эту проблему пытаются подменить другими, второстепенными, например — задачей повышения культуры межнационального общения, улучшения интернационального воспитания и т. п. Доходит до того, что чуть ли не целые народы обвиняются в национализме и экстремизме, в противодействии перестройке. Не берусь судить, чего здесь больше — недопонимания или желания найти «стрелочника». По-видимому, наша политическая культура и вправду слишком низка, поскольку мы упорно не хотим признать довольно очевидную истину. Если какие-то меры по регулированию общественных и в частности нацио-

нальных процессов не дают ожидавшихся результатов, то причину этого надо искать не в несознательности народа или в деятельности подрывных элементов, а в накапливавшихся и нерешавшихся десятилетиями проблемах, в политических ошибках руководителей.

В материалах конференции, касающихся национального вопроса, каждый, наверное, может обнаружить для себя что-то созвучное его мыслям и убеждениям, выделить наиболее существенное. На мой взгляд, особенно важное значение имеют два положения, высказанные М. С. Горбачевым в докладе и, пожалуй, несколько менее акцентированные в резолюции «О межнациональных отношениях».

«Выступая за дальнейшее укрепление межнациональных отношений,— отмечал М. С. Горбачев,— мы исходим из того, что развитие Советского союзного государства, интернациональные связи и братство наших народов — это живые динамичные процессы»<sup>1</sup>. Очевидно, что в развивающемся, многонациональном обществе и политика должна быть гибкой, динамичной, учитывающей сложнейшую диалектику общественных процессов. Само союзное государство (как определенная структура институционализированных, конституционно фиксированных национальных взаимосвязей) не может рассматриваться в качестве неизменной модели.

Последнее не выглядит, однако, бесспорным выводом из всего того, к чему пришла конференция. М. С. Горбачев подчеркивал, что для решения национальных проблем «у нас есть только один путь: в рамках сложившейся структуры союзного государства обеспечивать максимальный учет интересов каждой нации и народности и всего общества советских народов. Другой подход в наших конкретных условиях просто невозможен, любая попытка вступить на другой путь была бы гибельной»<sup>2</sup>. Смысл всей фразы может несколько измениться в зависимости от того, где поставить смысловое ударение. Очень вероятно, что речь идет о недопустимости изменений в национально-государственном устройстве СССР. Но заниматься извлечением истины путем начетнического препарирования чьих-то высказываний, будь то давно умерший классик или действующий лидер,— это анахронизм. Важнее определить свою позицию, исходя из принципиальных соображений. Моя позиция состоит в том, что ограничение динамичных процессов развития жесткой формой противоречит здравому смыслу, идею развития как такового, ведет к дальнейшему осложнению национальных отношений.

В последние месяцы мы неоднократно слышали твердые, многозначительные предупреждения в том духе, что структурные изменения в национально-государственном устройстве СССР чреваты гибельными последствиями. Однако это — не доказанный тезис. И уж во всяком случае не доказано, что более «гибельно» для страны — незыблемость или разумная реорганизация. Даже обидно за наш Союз: неужели он так непрочен, неужели столь хрупка воспетая многими поколениями идеологов и политиков дружба народов, что единство тут же развалится — стоит только тронуть обрамляющие его институционные рамки? Едва ли требуется перекраивать всю карту страны, ломать и переделывать все подряд. Но система национально-государственного устройства должна быть достаточно гибкой, чтобы при необходимости видоизменять свою структуру. Созданное в 1920—1930-е годы было рассчитано не на века, а премнительно к тогдашним условиям развития народов страны.

Второе положение, которое, по моему мнению, заслуживает особого внимания, М. С. Горбачев сформулировал так: «мы добиваемся того чтобы человек любой национальности был на деле полноправным в любом районе страны, чтобы он везде мог реализовать свои права и законные интересы»<sup>3</sup>. Сказано это было в связи с проблемами национальны-

<sup>1</sup> Горбачев М. С. О ходе реализации решений XXVII съезда КПСС и задачах углублению перестройки. Доклад на XIX Всесоюзной конференции КПСС 28 июня 1988 года//Коммунист. 1988. № 10. С. 41.

<sup>2</sup> Там же. С. 40.

<sup>3</sup> Там же. С. 41.

групп в национальных республиках. Но это — и общая проблема, выра-жающаяся в конечном счете существование национального вопроса.

Недавние легковесные суждения о его состоянии постепенно сменя-ются более критическими оценками. И чем больше мы узнаем о нашей истории и действительности, чем глубже пытаемся их исследовать, тем явственней становится, что возведенные в ранг почти религиозных дог-матов лозунги о дружбе народов, спекуляции на почве интернациона-лизма — а это не менее социально опасно, чем националистическая идеология — скрывали серьезные проблемы. Мы и сегодня больше го-ворим об их существовании, чем конкретно о них самих. Есть вопросы, затрагивать которые считается примерно так же неприлично, как, ска-жем, агитировать за свободную любовь.

Не принято, например, констатировать, что далеко не все обстоит благополучно с соблюдением национальных прав народов страны, что не все они имеют равные возможности для развития собственных куль-тур. Это касается даже некоторых народов, имеющих автономию, т. е. пользующихся определенными конституционными гарантиями. Один из наиболее ярких тому примеров — длящаяся уже несколько десятилетий история с Горно-Бадахшанской автономной областью Таджикской ССР (ГБАО).

Помимо таджиков и киргизов, на территории ГБАО проживают так называемые памирские народы — коренное население этого региона. Их общая численность невелика — несколько десятков тысяч человек. Шуг-нанцы, язгулёмцы, рушанцы, ишкашимцы, ваханцы и др.— это особые этносы, обладающие собственной историей, сохраняющие родные язы-ки, культурные традиции, этническое самосознание и самоназвания. Учет этнических особенностей памирских народов, а также особенностей их социально-экономического развития, собственно, и послужил основанием для создания в 1925 г. ГБАО. Однако начиная с Всесоюз-ной переписи населения 1959 г., эти народы исчезли из официальных статистических сводок о населении страны. Руководство Таджикистана игнорировало их существование и успешно навязывало свою точку зре-ния ЦСУ СССР. Аргументируют такую позицию вовсе не естественной ассимиляцией памирцев таджиками, что действительно происходит; по оценкам специалистов, уже практически ассимилировался один из па-мирских народов — ванчцы. Утверждают, что памирцы по своему проис-хождению — это таджики, а их языки — не более, чем диалекты тад-жикского языка.

Этнографы не раз доказывали несостоятельность этой «концепции», неоднократно ставили вопрос перед руководящими органами и ЦСУ СССР (ныне Госкомстат) о необходимости восстановить истину и спра-ведливость. Положение, однако, не меняется, а даже ухудшается. В пос-леднее время в Таджикистане активизировались сторонники отаджичи-вания памирцев, среди которых есть деятели от науки, есть и лица, пре-тендующие на роль народных глашатаев<sup>4</sup>. Методы применяются

<sup>4</sup> Весьма характерное открытое письмо было опубликовано в газете «Коммюнист Таджикистана» от 24 июня 1988 г. Оно подписано «группой ветеранов партии», в про-шлом, как они сообщают, работавших в партийных, советских, хозяйственных органах и в системе народного образования. Подписавшие письмо обрушаются с гневной критикой на тех, кто отставляет «в корне неверную идею» о том, что памирцы — это не таджики, а особые народы, на тех, кто считает необходимым издавать газеты и книги на памирских языках. При этом они ссылаются на труды видных историков и этнографов, «в том числе и иностранных», категорично утверждают, что «на Памире испокон веков народные праздники, свадьбы и другие ритуалы и обряды проводи-лись исключительно на таджикском языке», сообщают, что у их поколения никогда «не было никаких сомнений в национальной принадлежности памирских таджиков», высказывают своеобразную мысль о том, что памирские диалекты «являются культур-ным достоянием всего таджикского народа». Думающих иначе авторов обвиняют в подрыве интернационализма и перестройки. Предлагается и столь знакомое средство борьбы с вольнодумцами. «Просим Центральный Комитет Компартии Таджикистана поставить прочный заслон нездровым суждениям среди научных работников и творче-ской интеллигенции всеми средствами политического и идеологического воздействия». В заключение подписавшиеся заверяют в своей готовности крепить интернациональное

разнообразные: упрощение протекающих у памирских народов процессов этнокультурного развития, фальсификация исторических, этнографических, лингвистических данных, тенденциозное толкование исследований одних ученых и обвинение других в подстрекательстве к национализму, даже запугивание перспективой «второго Карабаха». О «научной» базе этой кампании можно судить хотя бы по такому факту. Те, кто классифицирует памирские языки как диалекты таджикского, просто не желают замечать общепризнанного в науке обстоятельства: памирские языки относятся к восточноиранской языковой группе, а таджикский — к западноиранской. С равным успехом можно сказать, что, например, чешский язык является диалектом русского языка или наоборот. Называя вещи своими именами, приходится признать, что в отношении памирских народов нарушается первое и основное право национальностей — право на существование. Что дальше? Ликвидации ГБАО?

XIX партконференция выдвинула задачу «осуществить назревшие меры по дальнейшему развитию и укреплению советской федерации на основе демократических принципов»<sup>5</sup>. Жизнь диктует необходимость расширения прав национально-государственных образований и обитающих на их территории народов. Особенно актуален этот вопрос для автономных республик, областей, округов. Иначе будет трудно решить, скажем, застарелые экономические, социальные, экологические проблемы народов Севера. Политическое решение карабахского конфликта зашло в тупик, думаю, в значительной степени потому, что действующее законодательство недостаточно четко и полно регламентирует статус права автономной области, не определяет пределов ее подчинения союзной республике, оставляет сомнения по поводу понятия «национальное самоопределение», относительно функций и прерогатив Верховного Совета СССР в спорных случаях, порядка их разрешения. Между тем подобные конфликтные ситуации уже давно существуют и в некоторых других регионах страны. Вообще, видимо, следует ставить вопрос о выработке полноценного законодательства по национальному вопросу, включая соответствующие изменения в Конституции и поясняющие ее положения подзаконные акты, которые сегодня начисто отсутствуют.

Многие сложности в национальных отношениях обусловлены тем, что примерно каждый пятый советский гражданин проживает за пределами своей республики. Миграционные процессы, особенно интенсивные в годы войны и послевоенные десятилетия, привели к тому, что Казахской и Киргизской ССР, в 13 из 20 АССР, в 5 из 8 автономных областей, в 8 из 10 автономных округов основные коренные национальности не составляют большинства населения. По мере дальнейшего развития общества, углубления его внутренней социально-экономической и культурной интеграции подвижность населения будет скорее расти, нежели сокращаться. Это — естественная, необратимая тенденция современности. Однако в условиях недостаточно эффективного регулирования национальных процессов в совокупности с имеющимися недостатками социально-экономическом и политическом развитии страны эта же тенденция порождает очень сложные проблемы. «Следует позаботиться, подчеркивалось в решениях партконференции, — чтобы национальности проживающие за пределами своих государственно-территориальных образований или не имеющие их, получили больше возможностей для реализации национально-культурных запросов, особенно в сфере образования, общения, народного творчества, а также создания очагов национальной культуры, использования средств массовой информации и удовлетворения религиозных потребностей»<sup>6</sup>.

воспитание молодежи и продвигать революционную перестройку общества. В таких случаях, как говорится, комментарии излишни, тем более — в академическом журнале

<sup>5</sup> О межнациональных отношениях. Резолюция XIX Всесоюзной конференции КПСС//Коммунист. 1988. № 10. С. 79.

<sup>6</sup> Там же. С. 80.

Несбалансированность миграционных потоков, не всегда достаточно продуманные переброски трудовых ресурсов зачастую создают перекосы в структуре занятости, в сферах материального и социального обеспечения, что неизбежно отражается на состоянии национальных отношений, вызывает справедливое недовольство коренного населения. В то же время представители некоренных национальностей нередко испытывают трудности в удовлетворении своих культурных запросов, случается — подвергаются дискриминации или искусственной ассимиляции.

В публикациях по национальному вопросу все чаще упоминается великодержавный шовинизм, под которым конкретно и однозначно понимается русский шовинизм. Это — далеко не безобидный стереотип и, смею утверждать, прибегают к нему далеко не всегда без определенного умысла. В любом словаре можно прочитать, что шовинизм — это крайнее проявление национализма, а великодержавный шовинизм — это шовинизм господствующей нации по отношению к угнетенным нациям. В таком, и только в таком смысле употребляя данный термин В. И. Ленин, на которого любят ссылаться в попытках доказать, что шовинизм — это чуть ли не национальная черта русского народа. Того самого народа, который, если уж придерживаться исторической правды, больше других пострадал от самодержавия, понес наибольшие людские и духовные потери в послереволюционный период. Кстати говоря, В. И. Ленин отнюдь не считал, что в царской России была только одна господствующая нация — русская. Он, в частности, указывал на существование национального гната «со стороны... украинцев, поляков по отношению к евреям, со стороны татар к башкирам и т. п.»<sup>7</sup>.

Механическое экстраполирование на теперешнюю советскую действительность ленинских характеристик национального вопроса, даже ленинской терминологии вообще может привести к ошибочным выводам. Очевидно, например, что шовинизм сегодня — это редуцированный, трансформировавшийся шовинизм. К сожалению, не изжита шовинистическая идеология, не всегда на деле обеспечивается равноправие народов. Но система национального угнетения давно сломана. И тем более недопустимо отождествлять в наших условиях шовинизм исключительно с великорусским шовинизмом, подразумевая, таким образом, что в СССР существует политическое господство русского народа,вольно или невольно разжигая и без того усилившееся антирусские, националистические настроения.

Практика показывает, что шовинизм в совокупности его психологических и материализованных проявлений наблюдается (постольку, поскольку он вообще существует в нашем обществе) в первую очередь в среде основных коренных национальностей ряда союзных республик по отношению к иноэтническому населению. Он выступает, в частности, одним из факторов выталкивания части славянского населения из Средней Азии и Закавказья.

Причины напряженности в отношениях между представителями (вряд ли можно сказать — между народами в целом) коренных и некоренных национальностей многообразны. Специфика этого вида национальных противоречий состоит в том, что в массовом сознании сложилось неверное представление о союзных (автономных) республиках преимущественно или даже исключительно как о форме самоуправления соответствующих коренных наций. В одних случаях эти представления питаются историческими традициями: так, в Прибалтике существовали национальные буржуазные государства в границах нынешних союзных республик. В других случаях традиции «этнореспубликанского эгоцентризма» сложились уже в рамках Союза ССР. В Средней Азии до национально-государственного размежевания никогда не существовало национальных в полном смысле этого слова государств.

«Этнореспубликанский эгоцентризм» до некоторой степени подкрепляется несовершенством все того же законодательства в национальном вопросе, невнятностью, противоречивостью наших представлений о стра-

<sup>7</sup> Ленин В. И. Проект программы РКП(б)//Полн. собр. соч. Т. 38. С. 111.

тегии национального строительства. В Конституции СССР (ст. 36) про |  
возглашается равноправие народов, гарантируется возможность «поль-  
зоваться родными языками и языками других народов СССР». Указано  
также, что «прямое или косвенное ограничение прав, установление пря-  
мых или косвенных преимуществ граждан по расовым и национальным  
признакам, равно как и всякая проповедь расовой или национальной  
исключительности, вражды или пренебрежения — наказываются по за-  
кону». Правда, кажется, еще не было случая чтобы кто-нибудь понес  
такое наказание. Да и в принципе сложно применить данное положение  
Конституции, поскольку юридически очень непросто определить границы  
между национальным патриотизмом и национализмом, который, к тому  
же, часто прикрывается интернационалистской демагогией. Практиче-  
ски невозможно доказать факты ущемления национальных прав, так как  
их всегда можно списать на тривиальные «недостатки в работе». Но  
главное — это то, что законом не установлено, кто и каким образом дол-  
жен обеспечивать соблюдение национальных прав и интересов, как сами  
национальности могут отстаивать свои интересы, заботиться о развитии  
своей культуры. Не более, чем парадной декларацией выглядит следую-  
щее положение Конституции: «Осуществление этих прав обеспечивается  
политикой всестороннего развития и сближения всех наций и народно-  
стей СССР, воспитанием граждан в духе советского патриотизма и со-  
циалистического интернационализма...». Народы-этносы реально не яв-  
ляются субъектами права. Таковыми являются только национально-го-  
сударственные образования.

В действительности же вообще получается парадокс. Зачастую пра-  
ва этих образований, особенно когда дело касается экономики или эко-  
логии, оказываются фикцией. Но в то же время именно основные ко-  
ренные национальности имеют преимущественные возможности для  
удовлетворения своих конституционных прав. В том числе отсюда —  
лозунги типа «Казахстан — для казахов», отсюда — и «коренизация»  
престижных, доходных сфер общественной жизни в некоторых республи-  
ках: управления, высшего образования, науки, литературы, профессио-  
нального искусства и т. п. Словом, есть о чем подумать в связи с реали-  
зацией принципа социалистического федерализма, относительно увязы-  
вания национально-государственного устройства общества и прав  
каждого конкретного народа. Думается, верховным гарантом этих прав  
должен на деле стать Союз ССР, не пресловутая «Москва», а Союз  
ССР — даже за счет некоторого ограничения суверенитета республик.

Есть смысл присмотреться и к некоторым понятиям, которые до-  
вольно неожиданно переросли свое инструментально-прикладное значе-  
ние. Справедливо ли, например, считать таджиков некоренной наци-  
ональностью в Узбекистане или узбеков в Таджикистане, старожильче-  
ское славянское население в национальных республиках? Этак окажет-  
ся, что часть народов страны вообще не сможет называться коренными.

Впрочем, такая участь уже давно постигла народы, обладающие го-  
сударственностью вне СССР или проживающие в основном за рубежом<sup>8</sup>.

Немцы — 1936 тыс.	Венгры — 171 тыс.	Персы — 31 тыс.
Поляки — 1151 тыс.	Румыны — 129 тыс.	Ассирийцы — 25 тыс.
Корейцы — 388 тыс.	Курды — 116 тыс.	Белуджи — 19 тыс.
Болгары — 361 тыс.	Турки — 93 тыс.	Чехи — 18 тыс.
Греки — 344 тыс.	Финны — 77 тыс.	Словаки — 9 тыс.
Уйгуры — 211 тыс.	Дунгане — 52 тыс.	Халха-монголы — 3 тыс.

Эти 18 народов общей численностью свыше 5 млн. чел. при проведении  
переписей населения не включаются в категорию «народы СССР».

На первый взгляд, такая логика выглядит оправданной. Но если  
придерживаться ее, то из числа народов СССР придется исключить  
также азербайджанцев, таджиков, евреев, цыган, саамов, эскимосов  
алеутов, памирские народы — еще более 10 млн. человек, поскольку эти  
этносы расселены большей частью за пределами страны, а у евреев

<sup>8</sup> Численность дана на 1979 г.: Численность и состав населения СССР. По данными Всесоюзной переписи населения 1979 г. М., 1985. С. 71—73. Табл. 13.

помимо им самим не нужной Еврейской автономной области<sup>9</sup>, есть еще и самостоятельное государство.

Казалось бы, подобные нюансы важны только для специалистов. Однако, думается, это далеко не так. В национальном вопросе не бывает мелочей. Собственно само содержание национального вопроса во многом состоит именно из «мелочей», которые имеют свойство при их недооценке превращаться в настоящие проблемы. Достаточно сказать, что привычная и внешне довольно нейтральная формула «советские нации и народности» стала вызывать возражения. В условиях повсеместного роста этнического самосознания люди начинают чувствовать себя ущемленными, если их народ относят к народностям, а не к нациям.

Но дело не только в этнической психологии, в ранимости чувства национального достоинства. Коль скоро государство стремится гарантировать как индивидуальные гражданские права, так и права национально-групповые, то эти группы, т. е. народы, должны быть равными абсолютно во всем, прежде всего — в своем статусе и, следовательно, в своих правах. С ним связано и многое другое — возможности для национального самовыражения, развития родных языков и культур. Благодаря тому, что названные 18 народов выделяются в особую категорию, официальная статистика занижает данные о сохранении ими родных языков. При переписях населения учитываются только языковое самоопределение (родной язык) и владение вторым языком, причисленным к языкам народов СССР. В результате получается, что, например, все 815 тыс. поляков, указавших в качестве родного языка язык другой национальности, польским языком будто бы вообще не владеют. А ведь такие данные должны приниматься во внимание при анализе происходящих в стране этнокультурных процессов, при планировании программ социального и культурного развития.

Все эти обстоятельства тем более важны, что советские «иностранные» народы не имеют никаких форм национального самоуправления и поэтому полностью зависят от добной воли и компетентности соответствующих республиканских органов управления. После ликвидации в 1930-е годы национальных районов и национальных сельсоветов, после ликвидации в 1941 г. АССР Немцев Поволжья, преобразования в 1956 г. Карело-Финской ССР в Карельскую АССР и Бурят-Монгольской АССР в Бурятскую АССР в 1958 г. все эти народы оказались как бы вне национально-государственной структуры СССР. Исчезли не только формы самоуправления. «Исчезли» сами народы, поскольку даже упоминать некоторые из них было не принято.

История национального строительства в нашей стране имеет свои «белые пятна». Она и сегодня скромно умалчивает, что в 1937—1938 годах насильно переселяли корейцев с Дальнего Востока в Казахстан и Среднюю Азию, туда же в годы войны — курдов<sup>10</sup> и турок-месхов из Грузии, что опыты по депортации немцев и поляков (с Украины) начались еще в 1936 г. Хвосты «белых пятен» тянутся из уже далекого прошлого в сегодняшнюю действительность. В 1957 г. курдам наконец-то разрешили вернуться в Грузию, а в 1961 г. их опять выселили. До недавнего времени не могли вернуться в родные места турки-месхи, хотя они просили об этом не одно десятилетие.

\* \* \*

Считаю нужным специально остановиться на судьбе советских немцев. Она примечательна тем, что в ней очень наглядно переплетаются драматичные события прошлого и актуальные для настоящего проблемы совершенствования национальных отношений. Кроме того, немецкий народ занимает несколько особое положение среди народов СССР. В текущем столетии Германия дважды воевала с нашей страной, и это, особенно

<sup>9</sup> В 1979 г. в Еврейской автономной области проживало лишь 10 тыс. евреев, что составляло 5% населения области и 0,5% общей численности евреев СССР//Численность и состав населения СССР. С. 84. Табл. 15; С. 71. Табл. 13.

<sup>10</sup> Из района Батуми.

но последняя война, принесло ему немало специфических трудностей. По существу вся история советских немцев с августа 1941 г. представляет собой сплошное «белое пятно». Предварительно обратимся к более ранним этапам их истории, о которых в разное время уже писалось в «Советской этнографии»<sup>11</sup>.

Иммигранты из Западной Европы, в том числе из германских государств до середины XVIII в. были в России сравнительно немногочисленны. Военные специалисты, инженеры, врачи, ученые, торговцы, ремесленники пополняли городские слои населения. Их потомки, прижившись и обрусев, честно служили своей новой родине, многое сделали для ее процветания, для развития российской культуры. Значительную часть «западноевропейского» населения России составляли остзейские немцы.

К середине XVIII в. сложилась такая ситуация, что потребности развития страны диктовали необходимость хозяйственного освоения малозаселенных обширных территорий на юге Украины и русского Черноземья, в Среднем и Нижнем Поволжье, в ряде других регионов. В условиях крепостничества для этого не имелось достаточно свободных людских ресурсов. Поэтому возникла идея ввоза рабочей силы из Европы. Таким образом, заодно предполагалось создать опорные пункты на окраинах империи и расширить социальную базу строя.

Еще в царствование Елизаветы обсуждались проекты набора колонистов во Франции и Пруссии, была предпринята попытка создать на Украине полу военные поселения сербов. Однако осуществление подобных проектов происходило уже при Екатерине II.

Манифестом от 22 июля 1763 г. правительство приглашало желающих переселиться в Россию, гарантировало им наделение землей и разнообразные льготы. Первоначально намечалось разместить переселенцев в Воронежской, Оренбургской и Астраханской губерниях, в Барабинской степи<sup>12</sup>.

Не сразу удалось нашупать оптимальную стратегию организации иммиграции. Пробовали набирать французов, шотландцев, корсиканцев, сардинцев, шведов. Довольно долго просуществовали шведские колонии по Днепру (выше нынешнего Берислава Херсонской области), прочие же быстро распались. Тогда был взят курс на приглашение добровольцев из Германии. По ряду причин германские земли в то время могли быть лучшим источником требуемой рабочей силы, чем, например, страны Южной Европы.

Устройство немецких колонистов проходило трудно. Не все переселенцы закрепились на новых местах, потребовалось время, чтобы приспособиться к местным природным и социальным условиям, добиться рентабельности хозяйства<sup>13</sup>. В XVII–XIX вв. колонии, объединявшиеся в целые округа, создавались в Поволжье, на Украине, в Крыму, в Бессарабии, на Северном Кавказе, в Закавказье, на Южном Урале, в Южной Сибири, в Туркестане, в Санкт-Петербургской губернии, в ряде других мест. Согласно материалам первой всероссийской переписи населения 1897 г., в России проживало уже почти 1,8 млн. немцев<sup>14</sup>, существовало более 2 тыс. немецких поселений.

Колонии сыграли немалую роль в экономическом развитии страны, прежде всего – во внедрении передовой агркультуры, высокопродуктивного животноводства. Из среды колонистов выдвинулись крупные оптовые торговцы, промышленники, банкиры.

<sup>11</sup> Жирмунский В. М. Итоги и задачи диалектологического и этнографического изучения немецких поселений СССР//Сов. этнография. 1933. № 2; Малиновский Л. В. Жилище немцев-колонистов в Сибири//Сов. этнография. 1968. № 3; Филимонова Т. Д. Об этнокультурном развитии немцев СССР//Сов. этнография. 1986. № 4.

<sup>12</sup> Писаревский Г. Из истории иностранной колонизации в России в XVIII в. М. 1909. С. 55.

<sup>13</sup> См.: Писаревский Г. Г. Хозяйство и форма землевладения в колониях Поволжья в XVIII-м и в первой половине XIX-го века. Ростов на Дону, 1916.

<sup>14</sup> Первая Всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. Краткие общие сведения по Империи. Распределение населения по главнейшим сословиям, вероисповеданиям, родному языку и некоторым занятиям. 1905. С. 6. Табл. 1.

Своеобразие этнического и культурного развития колоний определялось тем, что немцы эмигрировали из Германии в тот период, когда она была раздроблена на десятки государств, когда только шло формирование общенемецкой литературной языковой нормы и самой немецкой нации. Поэтому колонисты нередко сохраняли в своей культуре те традиции, которые в Германии уже исчезли, продолжали говорить преимущественно на различных немецких диалектах. Несмотря на относительную изоляцию колоний от внешнего мира, происходило усваивание элементов русской, украинской, казахской и других культур. а окружающее население перенимало хозяйственный и культурный опыт немцев.

Было бы ошибочно полагать, что колонии представляли собой островки библейского благолепия в океане нараставших в стране социальных противоречий. Развитие капитализма в пореформенной России, собственные внутренние проблемы приводили к столкновению интересов различных социальных групп, готовили почву для включения колонистов в общероссийскую классовую борьбу.

Первая мировая война принесла немцам России заметное, хотя и кратковременное по причине грянувшей вскоре революции, ухудшение их положения. В стране была развязана шовинистическая антинемецкая кампания, непосредственно направленная и против российских немцев, что в известной степени объяснялось стремлением русской и другой отечественной буржуазии устранить конкурентов. В отношении немецкого населения страны были приняты репрессивные меры, которые включали ограничение имущественных прав и употребления родного языка. Многие тысячи немцев подлежали выселению из прифронтовой полосы, из «зон безопасности» по побережью Черного и Азовского морей. Февральская революция спасла поволжских немцев от выселения в Сибирь<sup>15</sup>.

Революционные события 1917 г., гражданская война не миновали колонии. В Красной Армии сражались целые немецкие отряды, а немецкая буржуазия субсидировала контрреволюцию. Мелкобуржуазные группировки стремились с помощью лозунга национальной автономии закрыть доступ в колонии Советской власти. Но ее сторонники оказались сильней. В октябре 1918 г. В. И. Ленин подписал декрет об образовании Трудовой коммуны немцев Поволжья. В 1924 г. она получила статус автономной республики.

В межвоенный период советские немцы активно участвовали в восстановлении народного хозяйства и строительстве социализма. Они в полной мере испытали на себе последствия сталинской коллективизации, связанные с ней раскулачивание и страшный голод 1932—1933 годов, массовые репрессии 1937—1938 годов.

Крутый поворот в судьбе немцев произошел в 1941 г., когда Германия напала на СССР. Используя опыт царских властей, сталинский режим действовал более последовательно и жестоко. Немцы оказались первым (но, как известно, не единственным) народом страны, обвиненным в измене и обреченным на положение внутреннего врага. 28 августа 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР принял указ, в котором утверждалось, что «среди немецкого населения, проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи и десятки тысяч (!) диверсантов и шпионов, которые по сигналу, данному из Германии, должны произвести взрывы в районах, населенных немцами Поволжья»<sup>16</sup>. А поскольку об этих то ли тысячах, то ли десятках тысяч агентов никто не сообщал (!) — имелись лишь некие «достоверные данные» — следовал вывод, что «немецкое население районов Поволжья скрывает в своей среде врагов Советского Народа и Советской Власти». Далее следовал вывод вполне в духе сталинской идеологии: в случае диверсий «Советское Правительство по законам военного времени будет вынуждено принять карательные меры против всего (курсив автора) немецкого населения Поволжья». И чтобы

<sup>15</sup> Kronewald J. Für die Sowjetmacht. Kurzer Abriss der Geschichte der Sowjetdeutschen 1917—1920//Heimatliche Weiten. 1988. N 2. S. 232.

<sup>16</sup> Ведомости Верховного Совета СССР. № 38 (153). 2 сентября 1941. С 4.

этого не делать, указом предписывалось, так сказать из гуманных соображений, переселить поволжских немцев «в обильные пахотной землей районы Новосибирской и Омской областей, Казахстана, Алтайского края и соседних местностей. До конца года немцы были вывезены за Урал — целыми эшелонами, под конвоем воинских команд — также из других областей европейской части страны и из Закавказья. Военнослужащих-немцев, за немногими исключениями, уволили из армии.

Нередко и сегодня высказывается мнение, что все эти меры были вынужденными, что среди советских немцев действительно нашлись предатели, что немецкое население было благодатной средой для деятельности германской агентуры. Трудно утверждать, что такое мнение вовсе лишено оснований и указ от 28 августа не имел никакой иной логики, кроме логики тотальной подозрительности. Ссылаются и на зарубежный опыт. Так, в 1942 г. власти США выселили с Тихоокеанского побережья во внутренние штаты страны десятки тысяч американцев японского происхождения, поместив их в концентрационные лагеря. Имущество японцев конфисковали, а их самих в принудительном порядке использовали в качестве рабочей силы на рудниках<sup>17</sup>. Однако американский опыт едва ли может служить примером для Советского государства, тем более, что видные юристы США задним числом признавали антияпонские репрессии неконституционными и неоправданными. Проводить аналогию было бы неверно и потому, что в августе 1941 г. Поволжье в районе Саратова отнюдь не входило в прифронтовую зону.

Среди немцев были, вероятно, и предатели, как были они среди представителей других национальностей. Но чтобы обвинить в измене ценные народы, надо было разделять идеологию сталинизма, которая, кажется, допускала возможность видеть во врагах народа сам народ. А если уж говорить о предательстве, то на этот счет хорошо высказались в своей статье историки Л. Гордон и Э. Клопов. Репрессии 30-х годов «...не предотвратили и появления пятой колонны, на что, по-видимому, искренне рассчитывал И. В. Сталин. Во время войны нашлись десятки тысяч полицаев, карателей, провокаторов, так или иначе оказавшихся на стороне врага. Иначе, собственно, и не могло быть. В ситуации произвола и нарушения законности как раз бесприципиальные и неустойчивые люди легче, чем в иных условиях, выходят сухими из воды»<sup>18</sup>.

Во время войны всем было трудно, полстраны снялось с обжитых мест. А положение немцев усугублялось сильнейшим психологическим шоком, дискриминационным ограничением прав, особым положением поднадзорных, нередко — враждебным отношением окружающего населения. Большинству советских немцев было отказано в праве защищать родину с оружием в руках. Вместо этого их, мужчин и женщин, мобилизовали в так называемую трудовую армию. Советские немцы вместе со всем народом приближали победу над агрессорами, но история об этом хранит молчание, как и о том, что представляла собой трудармия.

На объектах трудармии — в шахтах, на строительстве оборонных предприятий, на лесоповале — немцы содержались фактически, как заключенные в лагерях. Условия зачастую были настолько тяжелыми, что изнуренные каторжным трудом люди массами гибли от болезней и голода, становились инвалидами. Гибли не на фронте или в блокадном Ленинграде, а в глубоком тылу.

Семьям мобилизованных тоже досталось сполна. Выпавшие на их долю испытания немного облегчились разве что добрым участием и помощью соседей и односельчан — русских, казахов, представителей других национальностей, не утративших человечности вопреки тяготам войны и естественному предубеждению против всего немецкого. Было немало случаев, когда местные жители принимали в свои семьи оставшихся без родителей немецких детей. Нередко председатели колхозов «выкрадывали» немцев из-под надзора властей, устраивая их с семьями

<sup>17</sup> См., например; *Weglyn M. Years of Infamy. The Untold Story of America's Concentration Camps.* N. Y., 1976.

<sup>18</sup> Гордон Л., Клопов Э. Тридцатые — сороковые //Знание — сила. 1988. № 5. С. 52

в своих хозяйствах: колхозы нуждались в рабочей силе, особенно в специалистах и механизаторах.

Из-за стремительного наступления германских войск летом 1941 г. не всех немцев удалось вывезти из западных областей страны. Оставшиеся оказались в лучшем положении, чем прочее население оккупированных территорий, поскольку они были причислены к «фольксдойче». Но это благоволение рейха в дальнейшем обернулось новыми испытаниями. В 1943—1944 годах в связи с наступлением Красной Армии советские «фольксдойче» были эвакуированы в Польшу и Германию, где они батрачили у местных немецких землевладельцев-бауэрнов. Здесь к ним относились с отчужденностью и подозрительностью — хоть и немцы, но советские. В 1945 г. большая их часть была депатрирована в СССР и отправлена «в места не столь отдаленные» — на лесозаготовки.

Окончание войны не повлекло за собой немедленного восстановления немецкого народа СССР в правах. Это произошло только в 1955 г., да и то не в полной мере: немцам не было разрешено вернуться туда, откуда они были выселены в 1941 г. Вплоть до конца 1950-х годов во многих местах немцы продолжали жить «под комендатурой». Лишь в 1964 г. Президиум Верховного Совета СССР восстановил указ от 28 августа 1941 г. «в части, содержащей огульные обвинения в отношении немецкого населения, проживавшего в районах Поволжья, отменить»<sup>19</sup>, а в в начале 1970-х гг. были сняты последние ограничения в выборе места жительства. Юридическая реабилитация немцев не сопровождалась, однако, или сопровождалась в недостаточной степени реабилитацией моральной.

До последнего времени советские немцы оставались фактически «засекреченным» народом. О них не упоминается ни в одном учебнике истории, средства массовой информации старательно обходили их стороной. Почти невозможно было вести научные исследования по истории и культуре немецкого населения. Не считая специальных публикаций филологов по диалектам советских немцев, в послевоенные десятилетия вышли лишь одна небольшая монография А. Н. Ипатова «Меннониты»<sup>20</sup>, посвященная к тому же преимущественно дореволюционному периоду, и несколько научных статей<sup>21</sup>. Правда, издаются газеты на немецком языке — «Neues Leben» (в Москве), «Freundschaft» (в Казахстане), «Rote Fahne» (в Алтайском крае), — издается альманах советской немецкой литературы «Heimatliche Weiten». В них периодически публикуются соответствующие материалы. Однако эти издания известны сравнительно узкому кругу читателей, даже не всем немцам СССР, владеющим родным языком. Не удивительно, что, например, острые и актуальные статьи В. Чернышева и Г. Бельгера<sup>22</sup> не имели резонанса в среде широкой общественности.

Положение постепенно меняется, но информационный вакuum все же остается настолько глубоким, что одни наши сограждане просто не знают о существовании в СССР столь многочисленного народа; другие полагают, что немцы, проживающие в нашей стране, — это военнопленные и их потомки, третья, и с этим приходится сталкиваться, к сожалению, довольно часто, допускают в их отношении шовинистические выпады.

Последствия всего этого таковы, что у части немецкого населения сохраняется порожденный войной психологический дискомфорт и нет

<sup>19</sup> Ведомости Верховного Совета СССР. № 52 (1243). 28 декабря 1964. С. 931.

<sup>20</sup> Ипатов А. Н. Меннониты. Вопросы формирования и эволюции этно-конфессиональной общности. М., 1978.

<sup>21</sup> См., например: Малиновский Л. В. Жилище немцев-колонистов в Сибири; Филимонова Т. Д., Шин М. Ф. К вопросу об этно-культурном развитии немцев Закарпатья//Карпатский сборник. М., 1972; ее же. Сб этнокультурном развитии немцев СССР; Соколовский С. В. Брачные круги и эндогамные барьера. К методике анализа брачной миграции//Сов. этнография. 1986. № 4; Наумова О. Б. Национально-смешанные семьи у немцев Казахстана (по материалам экспедиции 1986 г.)//Сов. этнография. 1987. № 6.

<sup>22</sup> Tschernyschew W. Einige Gedanken zur Geschichte der Sowjetdeutschen//Neues Leben. N 6. 3. Februar 1988; Begler H. Zeit zum Überlegen und Handeln. Gedanken zu einem freien Thema//Neues Leben. N 13. 23. März 1988.

иммунитета против различных слухов и западной пропаганды. Только в 1970-е годы эмигрировало, преимущественно в ФРГ, около 60 тыс. человек<sup>23</sup>, т. е. 3% немецкого населения СССР.

Актуальным, болезненным остается вопрос о восстановлении немецкой автономии, который поднимался еще в 1960-е годы. Правда, однажды он чуть было не получил своего «разрешения», когда в 1979 г. прежнее руководство Казахстана сделало достоянием гласности намерение создать немецкую автономию на территории Целиноградской области. Однако, как показали события, это, видимо, была сознательная провокация с целью похоронить саму идею. В Целинограде инспирировали масштабное антнемецкое выступление «представителей» казахского народа.

Проблема немецкой автономии сложней, чем она может показаться на первый взгляд. Причем, на любой «первый взгляд» — имеются ведь диаметрально противоположные точки зрения. Есть приверженцы охранительной идеологии, смысл которой хорошо известен — «не пушь». Высказываются и такие опасения. Если дать немцам автономию, то вдруг и другие захотят того же, что тогда? Сегодня сторонники этой точки зрения чувствуют себя, наверное, еще более уверенно в связи с крымскотатарским и карабахским вопросами.

Те, кто выступает за автономию, аргументируют свою позицию необходимостью исправить историческую несправедливость, обеспечить немецкому народу, который, кстати, по численности занимает четырнадцатое место среди более, чем ста народов СССР, оптимальные возможности для удовлетворения национальных потребностей. Это — веские аргументы, и их нельзя игнорировать. Есть еще один, довольно любопытный нюанс. Принято считать, что в 1941 г. АССР Немцев Поволжья была упразднена упоминавшимся указом от 28 августа. Физически она действительно была ликвидирована, но — не юридически, поскольку в указе говорилось лишь о выселении поволжских немцев. Получился юридический казус, на который до сих пор никто не считал нужным обратить внимание. Республики как таковой нет, но в законодательном порядке ее никто и никогда не «отменял». Для своего времени, когда законность зачастую пасовала перед властью предержащими, это не представляло существенного значения. Но это имеет значение для правового государства, коль скоро мы намерены его строить. Таким образом, проблема переходит в несколько иную плоскость. Строго говоря, надо ставить вопрос не о восстановлении автономии немцев, а о том, чтобы вспомнить о ее существовании.

Сложности на этом не кончаются. Восстановить или создать автономию заново — значит предложить возможность переселения сотен тысяч людей и обезлюдения районов, в которых сегодня концентрируется и играет важную роль в экономике немецкое население. Необходимо также соотнести решение вопроса с суверенитетом соответствующих союзных республик, с интересами населения соответствующих местностей.

Оказывается также, что среди немецкого населения страны нет единодушия в вопросе об автономии. Можно понять писателя Г. Бельгера который с достойным уважения пафосом требует восстановления ее на Волге и не допускает иных вариантов<sup>24</sup>. Можно понять и тех, для кого Поволжье никогда не было «маленькой родиной»: в 1926 г. здесь проживала лишь треть немецкого населения СССР<sup>25</sup>. Заслуживают сочувствия и те пожилые люди, которых судьба чересчур много заставляла путешествовать по необыкнанным просторам страны и которые теперь хотят только одного — чтобы их на закате жизни оставили в покое. Вообще для советских немцев довольно характерно представление о том, что в случае

<sup>23</sup> Eisfeld A. Deutsche in der Sowjetunion — zwei Jahrzehnte nach der Rehabilitierung//Osteuropa. Stuttgart, 1985. Jg. 35. Hf. 9. S. 655.

<sup>24</sup> Belger H. Zeit zum Überlegen und Handeln.

<sup>25</sup> Включая АССР Немцев Поволжья и другие районы//Народность и родной язык населения СССР. (Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 года. Краткие сводки. Вып. IV). М., 1928. С. 70 и др. Табл. III.

создания автономии им придется ехать за тридевять земель чуть ли не в приказном порядке. Сказывается, конечно, печальный опыт прошлого.

Как правильно считает экономист Р. Хайнц, необходимо тщательное изучение всех точек зрения, всех вариантов решения вопроса, сопутствующих этим вариантам проблем<sup>26</sup>. Но прежде всего важно определить идеологическую концепцию, которая должна послужить основой для выработки технологии принятия решения. В сфере национальных отношений авторитарные способы действия особенно отрицательно сказываются на эффективности политики.

Мне представляется, что вопрос можно решить следующим образом. Ученые — этнографы, демографы, юристы, экономисты, социологи, политологи — должны досконально изучить вопрос и представить научные рекомендации на рассмотрение широкой общественности. Средства массовой информации могли бы обеспечить свободный обмен мнениями, возможность всем желающим высказаться. После этого — и только после этого — провести референдум, в котором участвовали бы не только немцы, но и все население районов, где будет предполагаться создание немецкой автономии. Результаты референдума послужили бы основой для принятия соответствующих решений Верховными Советами СССР и соответствующими союзными республик.

Варианты могут быть действительно разные. Например — такой. Учитывая существование проблемы, следует, видимо, рассматривать вопрос не о восстановлении АССР Немцев Поволжья, а о создании автономии немцев СССР. При выборе территории целесообразно иметь в виду особенности расселения немцев в настоящее время. Немецкое население концентрируется преимущественно в Северном Казахстане (всего в республике — около 900 тыс. немцев), в Киргизии (100 тыс.), в Алтайском крае (124 тыс.), в Омской (120 тыс.), Новосибирской (64 тыс.), Оренбургской (43 тыс.), Кемеровской (17 тыс.) областях и в Красноярском крае (54 тыс.) РСФСР<sup>27</sup>. Подавляющая часть немецкого населения сосредоточена в Зауралье, логично именно где-то здесь искать место для создания автономии, например, на стыке Павлодарской области, Алтайского края и Новосибирской области. В этом случае соответствующие районы могли бы быть выведены из состава Казахской ССР и РСФСР, а немецкая автономия получила бы статус союзной самоуправляющейся территории. В отечественных конституционном праве и политической практике ничего подобного еще не было. Но почему почти за 70 лет существования СССР нельзя придумать ничего нового, если это пойдет на пользу делу? Такой статус немецкой автономии, по моему мнению, наиболее адекватно соответствовал бы тому месту, которое занимают советские немцы среди других народов СССР. Кроме того, это позволило бы избежать необходимости решать пограничный вопрос, который вполне может возникнуть, если автономия будет создана в рамках РСФСР или Казахской ССР.

Можно думать также о создании, наряду с основной автономией, нескольких, допустим, двух-трех мелких автономных образований немцев (типа национальных районов или сельсоветов) в других местностях. Это будет способствовать наиболее полному удовлетворению национально-культурных потребностей немецкого населения и предотвратит излишне интенсивные миграционные потоки.

Как бы там ни было, решение немецкого вопроса во всем комплексе его аспектов нельзя больше откладывать. Хвосты «белых пятен» прошлого не должны мешать преобразованию нашего общества.

<sup>26</sup> Heinz R. Eine Reise an die Wolga mit der Exkursion in die Geschichte//Neues Leben. N 20. 11 Mai 1988. S. 13.

<sup>27</sup> Численность и состав населения СССР. С. 90—101. Табл. 16; С. 116. Табл. 22.

# С Т А Т Ъ И

А. Я. Гуревич

## ИЗУЧЕНИЕ МЕНТАЛЬНОСТЕЙ: СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ И ПОИСКИ ИСТОРИЧЕСКОГО СИНТЕЗА

Изучение ментальностей — установок сознания, присущих людям определенной эпохи и культуры и, естественно, дифференцирующихся в зависимости от их социальной принадлежности, образования, возраста и т. д., — отнюдь не новая проблема исторической науки. Ее инициаторами выступили Марк Блок и Люсъен Февр, интенсивное изучение ментальностей людей средневековья и начала Нового времени началось в 1960-е годы. Ныне накоплен уже солидный фонд наблюдений и выводов, существенно обогативших историческое знание<sup>1</sup>.

Продуктивность изучения ментальностей доказана опытом мировой историографии. Именно на этих путях историки ищут возможности существенного обновления истории как науки.

Между тем в советской историографии в этом направлении пока сделано немногое. Наши историки традиционно сводят явления духовной жизни к идеологии и общественной мысли, изображая их в виде более или менее прямых отражений расстановки классовых сил. Они, как правило, не склонны принимать во внимание то, что духовная жизнь любого общества несравненно богаче и отнюдь не исчерпывается политическими или философскими доктринаами и вообще логически завершенными и ясно сформулированными учениями, будь то официальная религия или ересь, эстетическая теория или поэтика. Вся кипучая магма человеческих эмоций и повседневных жизненных установок, особенности морального сознания, присущие людям определенного исторического периода и общества, способы осознания ими самих себя и природного и социального окружения оставались вне поля зрения историков. Это вело к неоправданному сужению нашего взгляда на историю и препятствовало постижению социального поведения человека в изучаемую эпоху.

Ныне, в свете событий в нашей стране и за ее пределами, еще более очевидна та поистине колоссальная роль, которую играют в жизни человека и общества социально-психологические установки и стереотипы, настроения и иные формы психической жизни, не укладывающиеся в прокрустово ложе идеологий. Практический опыт наших дней убеждает в том, что без внимания к этнической психологии, психологии религиозной, профессиональной и всякой иной, к традициям и унаследованным способам интеллектуального и эмоционального освоения действительности невозможно разобраться в современной жизни и строить осмысленную политику. Обособленная история идей существует лишь в головах историков — в реальной жизни развивается социальная история идей, оп-

<sup>1</sup> Dictionnaire des sciences historiques/Sous la dir. de A. Burguière. P., 1986. P. 450—456.

ределенным образом воспринимаемая обществом или отдельными группами, трансформирующими эти идеи в процессе их усвоения нередко до неизнаваемости. В этих преобразованиях активнейшую и решающую роль играет иной уровень сознания — не теоретический, а обыденный.

К такому заключению подводит нас и практика мировой исторической науки. Эта практика должна быть самым внимательным образом изучена и творчески освоена. Ее игнорирование уже принесло свои горькие плоды, в частности распад старых научных школ, на смену которым не создались новые, и глубокий провинциализм нашей историографии. Она утратила то место в мировой науке, которое занимала во времена Ключевского, Виноградова, Карапеева, Ковалевского, Луцицкого, Ростовцева, Савина, Косминского. Этот провинциализм — плод научного сектантства, отораживания от магистральных линий развития мировой науки. И странно ныне слышать ссылки на какие-то внешние обстоятельства — вина лежит прежде всего на самих историках. Ведь каждый совершает свой личный выбор и ведет себя в соответствии с ним. Сколько бы свобод у нас ни отнимали, свобода воли остается неотчуждаемой.

Историческая наука поставлена перед необходимостью выработки нового исторического синтеза, который отвечал бы коренным запросам современного общества и объединил бы социальное и духовное, материальную жизнь и культуру в концептуально объемлемую целостность. Тем самым и социальное получило бы новое и более глубокое объяснение, и человек перестал бы быть «бесконечно малой величиной» исторического процесса. На путях этого синтеза проблема ментальностей приобретает все свое значение — и теоретическое и эвристическое. Повторяю: здесь пролегает магистраль нового поиска в современной исторической науке.

Складывается, пока преимущественно стихийно, эмпирически, без должного методологического обоснования, новое, более емкое разностороннее понимание социальной истории как антропологически ориентированного исследования. Назовем ли мы это направление «социально-исторической антропологией», или «этнологической историей», или «исторической психологией», вероятно, не так уж существенно. Важно то, что этот новый угол рассмотрения исторического процесса, новый подход к решению кардинальных проблем истории уже наметился и доказал в процессе исследовательской практики свою перспективность.

Мне уже приходилось об этом писать<sup>2</sup>, но нужно вновь повторить: независимо от того, чем конкретно занимается историк — историей экономики, социальных движений, искусства или философии, этнографией, — он имеет дело с сознанием людей. На историческом памятнике, будь то фискальный кадастр, правовая запись, хроника, книжная миниатюра или современное техническое устройство, не мог не отложиться способ мировосприятия его создателя. И вместе с тем, очевидно, это мировосприятие в той или иной мере присуще и определенной группе людей, злоу общества либо обществу и цивилизации в целом, от имени которых этот творец выступает или к которым он обращается.

Первое, с чем встречается исследователь, — это специфическая структура сознания автора источника. Поэтому без тщательной расшифровки особенностей этого сознания невозможно проникновение в источник. В противном случае историк невольно будет подставлять в источник свое собственное сознание, руководствуясь «здравым смыслом» и самыми общими домыслами о том, как мыслили люди другого времени. Осида неизбежна модернизация истории — самый опасный наш враг.

Следовательно, изучение ментальностей есть не «хобби» приверженцев «школы „Анналов“», а элементарное требование исторического замесла. Не существует какой-либо специфической категории источников для изучения ментальностей: любой текст или предмет, возникший

<sup>2</sup> Гуревич А. Я. Историческая наука и историческая антропология//Вопр. философии. 1988. № 1. С. 57.

в другую эпоху, который создан человеком или к которому он прикоснулся, которым он пользовался, есть свидетельство, и оно может пролить свет на его сознание, но до тех пор, пока мы не уяснили себе особенностей этого сознания или хотя бы не поставили вопрос о них, этот текст или предмет еще не является источником наших знаний.

Повторяю, недостаточно знать теоретические построения мыслителей изучаемой эпохи, чтобы понять содержание духовной жизни и мыслей самих и их современников. От уровня теоретического необходим переход и на уровень социально-психологический. Ни одной эпохе нельзя верить на слово, нужно вскрыть те представления ее людей о мире и о самих себе, которые, возможно, не были выражены прямо и всеми словами. Этими представлениями, при всей их смутности и непрорефлектированности, прежде всего руководствуется человек в своей повседневной жизни.

Человек, разумное и эмоциональное существо, не ведет себя автоматически, и все его поступки, от элементарных бытовых до тончайших выражений в сфере творчества, от участия в социальных движениях до размышлений наедине с собой, в огромной степени обусловливаются той системой мировиденья, которая присуща данной культуре и стадии общественного развития. Социально-культурная среда создает определенные возможности, в рамках которых мыслят и чувствуют себя люди. Разумеется, в любом обществе индивиды разные и по-разному себя проявляют, вместе с тем независимо от личных качеств и особенностей они находятся в некоем незримом и неэксплицированном кругу возможностей обнаружения собственной индивидуальности, и выйти за пределы этого «магического круга», делающего их людьми своего времени, им не дано.

Мир, в котором живет человек, всегда и неизбежно субъективно окрашен, однако вместе с тем эта субъективная реальность есть неотъемлемый компонент материальной реальности. Индивидуальное самосознание человека, так же как и самосознание класса, социальной группы, преобразующее объективную данность общества и природы, может быть квалифицировано как «ложное сознание», но все дело в том, что это «ложное сознание», представляющееся таковым постороннему наблюдателю, обладает истинностью для его носителей. Не есть ли эта «вторая природа» человека — истинная его природа?

Как же проникнуть в потаенные зоны сознания людей давно минувших эпох? Собственно, главная задача историка, поскольку он выступает в качестве исследователя ментальностей, заключается не в поиске источников, а прежде всего в выработке вопросника. Нужно знать, что именно он в источниках ищет. Чем богаче его анкета, чем больше адекватных вопросов сумеет он поставить, тем больше скажет ему изучаемый памятник. Все зависит от исследовательской пытливости историка. В зависимости от разработанной им анкеты историк и обращается к тем или иным категориям источников и побуждает их ответить на его вопросы.

Каковы же эти вопросы? Никто не может выработать универсальный рецепт. Нормальный путь к построению подобной анкеты — это внимательное изучение уже имеющегося в науке опыта, выявление той проблематики, выдвижение которой историографией оправдало себя и дало новые интересные результаты. А опыт, повторяю, накоплен уже немалый.

Будучи лишен возможности раскрыть в рамках небольшой статьи реальное содержание новых проблем, которые разрабатываются современной исторической наукой, я вынужден ограничиться лишь беглым и заведомо неполным перечнем тем современного историко-антропологического исследования, почерпнутых преимущественно в медиевистике:

образ социального целого и оценка разных групп, классов и сословий, присутствующая в сознании членов общества;

понимание ими существа права и обычая, значимости права как социального регулятора;

их отношение к свободе, соотношение свободы и несвободы;

отношение членов данного общества и входивших в него классов к труду, собственности, богатству и бедности;

понимание места человека в общей структуре мироздания;

трактовка пространства, времени и истории:

образ природы и способы воздействия на нее, от трудовых до магических;

оценка возрастов жизни, в частности детства и старости, восприятие смерти, болезни, отношения к женщине, роль брака и семьи, сексуальная мораль и практика, т. е. все субъективные аспекты исторической демографии;

отношение мира земного и мира трансцендентного, связь между ними и понимание роли потусторонних сил в жизни индивидов и коллективов;

разные уровни культуры и религиозности, их взаимодействие и конфликты, в особенности соотношение официальной и интеллектуальной культуры с народной или фольклорной культурой, равно как и соотношение культуры письменной с культурой устной;

праздник в народной жизни и его социальная функция;

социальные фобии, коллективные психозы и иные напряженные социально-психологические состояния.

Я назвал некоторые из тем, обсуждаемых в специальных исследованиях последнего времени. Они могут показаться в высшей степени фрагментарными и, по видимости, никак между собой не связанными. Но если от частностей возвыситься до рассмотрения всей панорамы подобных исследований, то в них нетрудно найти общую основу. Во всех этих темах явственно виден единый подход. Позиция внешнего наблюдателя, который рассматривает изучаемый им объект извне и включает выявленные им «параметры» в свою собственную систему понятий, сменяется здесь, или, точнее, сочетается, обогащается иной позицией — позицией изучения исторического предмета изнутри, исходя из его собственной логики, из той системы понятий, которая была присуща людям другой эпохи.

Более столетия назад было установлено: методы наук о природе и методы наук о культуре глубоко различны, и первые не могут быть механически применены к сфере человеческих дел. Это утверждение, обоснованное в трудах Дильтея, Виндельбанда, Риккерта, едва ли следует отвергать. А между тем в практике историков все еще доминирует именно естественнонаучный подход, который я бы назвал «энтомологическим», ибо он по сути дела игнорирует психологическое состояние общества и его членов, не принимает в расчет такой неотъемлемой составляющей социальной жизни, как ментальность.

Бегло перечисленные выше новые темы исторического исследования охватывают сферу социально-культурных представлений. Из них складывается картина мира, латентно существующая в сознании каждого члена общества. Эта картина мира наследуется из поколения в поколение, неприметно трансформируясь в процессе жизненной практики и дифференцируясь в зависимости от социальной, возрастной и образовательной принадлежности тех или иных индивидов.

Но едва ли можно задать человеку вопрос: «какова твоя картина мира?» Он, скорее всего, затруднился бы дать ответ, ибо по большей части даже и не подозревает о ее существовании. Ученый еще может солаться на научную картину мира, охватывающую как вселенную, так и атомное ядро, и ген, и мироздание, но относительно социально-культурных, этнопсихологических и религиозных аспектов картины мира и в его голове, боюсь, не всегда существует ясность. Однако неосознанность, несформулированность картины мира отнюдь не мешает ей присутствовать в сознании и в подсознании человека, группы, общества, в «памяти культуры» и во многом определять весь образ жизни индивида и социума.

Впрочем, противопоставление естественнонаучной и социально-культурной картин мира вряд ли правомерно. Они имеют больше общего —

опять-таки на уровне скрытых аналогий, общих соответствий и корреляций, чем на уровне ясно выраженных понятий<sup>3</sup>.

Картина мира — неотъемлемое содержание человеческого сознания. Восстановление ее — условие понимания социального поведения людей, поскольку последнее в огромной мере складывается в зависимости от того, как они воспринимают действительность, каков ее субъективный образ, заложенный в их сознание. Тем самым мировиденье есть органическое слагаемое социальной жизни, без которого она непонятна.

Перечень вопросов, которые историк может задать своим источникам для реконструкции картины мира, в принципе открыт и постоянно пополняется. Я позволю себе остановиться лишь на отдельных аспектах картины мира, ограничиваясь собственным исследовательским опытом медиевиста.

Начну с рассмотрения нескольких попыток применить анализ категорий времени — пространства (того, что М. М. Бахтин называл «хронотопом») к разным категориям средневековых памятников: не открывает ли такой подход каких-либо новых сторон средневекового сознания?

Если подойти с этой точки зрения к анализу средневекового эпоса, то, например, в «Песни о Нibelунгах», знаменитой рыцарской эпопее начала XIII в., мы обнаружим несколько пространственно-временных пластов. Один уровень — это современность поэта, феодальный двор бургундских королей со всеми реалиями штауфеновской поры. Здесь действуют король Гунтер, его старший вассал Хаген, королевна Кримхильда. Другой уровень — отдаленное прошлое, память об эпохе Великих переселений народов, когда возникали и рушились варварские королевства. В «Песни» этот пласт истории воплощен прежде всего в фигуре короля Этцеля, историческим прототипом которого был вождь гуннской державы Аттила. Но в «Песни» обнаруживается и еще один уровень — сказочное, мифическое время, в котором действуют такие персонажи эпopeи, как Зигфрид и Брюнхильда; в этом времени возможны богатырские подвиги героев, связанные с их поединками, со сменой облика Зигфрида, сватающимся к Брюнхильде по поручению Гунтера, с шапкой-невидимкой и кладом чудесных Нibelунгов. Действие на этом уровне происходит в сказочных странах — Нидерландах и Исландии.

Переход героя из своего пространственно-временного «континуума», с которым он теснейшим образом внутренне связан, в другой пласт пространства и времени, ему чуждый, влечет за собой его неминуемую гибель. Так, Зигфрид погибает при дворе в Вормсе с чуждым ему рыцарским этикетом, а бургундские короли и рыцари гибнут после того, как уезжают из Вормса в гуннскую державу. Каждому из рисующихся в «Песни о Нibelунгах» «хронотопов» соответствуют своя этическая система, особое поведение героев, их судьбы.

Пространство — время оказываются поистине конструктивными силами эпоса. Традиционное литературоведение, олицетворяемое крупнейшим его представителем А. Хойслером, усматривало в противоречии «Песни о Нibelунгах» факт «застревания» в эпопее XIII в. старых «не переваренных» мотивов героического эпоса, место которым скорее в эдических песнях о Сигурде и Гудрун. Но ведь почему-то эти мотивы со хранились в ткани рыцарской эпopeи! Следовательно, их едва ли можно рассматривать просто как «остатки» старого эпоса — они неизбежно приобретали в «Песни о Нibelунгах» новый смысл и выполняли в ней особую функцию. Главное же — они как-то воспринимались немецкой аудиторией XIII в. Частичное сохранение этих унаследованных мотивов придавало «Песни о Нibelунгах» своего рода «стереоскопичность», которая выразилась в существовании и взаимодействии в ее структуре всех трех «хронотопов»<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> См.: Nitschke A. Naturerkennnis und politisches Handeln im Mittelalter. Stuttgart 1967.

<sup>4</sup> См.: Гуревич А. Я. Пространственно-временной «континуум» «Песни о Нibelунгах»//Традиция в истории культуры. М., 1978. С. 112—127.

Перед нами явно не просто поэтический прием некоего австрийского поэта начала XIII в., который вновь возвратился к традиционному сюжету германо-скандинавского героического эпоса. В усложненной пространственно-временной структуре «Песни о Нibelунгах» приходится видеть отражение установок средневекового сознания на том этапе его эволюции, когда категории времени и пространства стали приобретать возрастающее значение при оценке человека и его поведения. Смена мифа и древней героической песни рыцарской эпopeей была, как выясняется, тесно связана с новой оценкой этих коренных «параметров» человеческого сознания.

Но с этими же основополагающими категориями мы встречаемся и при изучении других отраслей средневековой словесности, в том числе и таких, которые весьма далеки от эпоса. Здесь мы найдем иные аспекты интерпретации времени и пространства средневековым сознанием.

В таком своеобразном жанре дидактической литературы, созданной церковью для воздействия на верующих, как рассказы о посещениях того света душами временно умерших, изображены разные «отсеки» загробного царства. Из этих «видений» яствует, что посмертная расплата за грехи ожидает душу умершего не «в конце времен», на Страшном суде, но в момент кончины каждого отдельного человека. «Малая эсхатология», индивидуальный суд над душой умирающего, явно оттеснила на задний план — но не отменила, разумеется, — «великую эсхатологию», суд, который Христос учinit, согласно обетованию, после своего Второго пришествия. Но эта концепция, противоречащая официальной теологии, выявляет определенную оценку индивидуальной биографии и человеческой личности.

Биография индивида, включая в себя его окончательную нравственную оценку, завершается вместе с концом его жизни, а не откладывается на неопределенное и неопределимое будущее; все ее моменты спиваются воедино, и на смертном одре выносится приговор человеческой личности. Это наблюдение проливает свет на понимание личности в средневековом христианстве, причем — и это особенно важно — не на уровне теоретических рассуждений схоластов и теологов, а на уровне обыденного сознания верующего. Вместе с тем двоящийся образ суда над душой умершего раскрывает нам и другую тайну средневекового обыденного религиозного сознания, а именно — стирание противоположности между временем и вечностью и игнорирование противоречия, что является одним из характернейших признаков коллективного бессознательного.

Наконец, изучение «примеров» — другого жанра назидательной словесности, коротких повествований, которые включались в проповедь, с тем чтобы сделать ее более эффективной и привлекательной для паствы, опять-таки убеждает исследователя в важности постановки вопроса о восприятии времени и пространства для понимания особенностей средневекового религиозного сознания. Дело в том, что значительная часть «примеров» рассказывает о чудесах, а именно: в мир, населенный людьми, внезапно вторгаются силы потустороннего мира: Христос, Богоматерь, святые или бесы и сам Сатана, что порождает драматичную коллизию, завершающуюся смертью или душевным потрясением и обращением грешника. Здесь происходит на мгновенье встреча мира земного с миром иным, время жизни человека на момент совмещается с вечностью, а на земное пространство — крестьянскую хижину, монашескую келью, рыцарский замок — как бы накладывается пространство потустороннее. Чудесное событие, казалось бы, происходящее здесь и ныне, вместе с тем совершается в вечности и в потустороннем мире и, следовательно, ни там, ни здесь, но во вновь образовавшемся «хронотопе», обладающем мифологической глубиной.

Предельным выражением этой коллизии кажутся те сцены в «примерах», в которых грешник лежит на одре смерти, окруженный свидетелями его кончины, и одновременно уже предстоит в высшем трибунале перед грозным Судией, отвечая на его обвинения и выслушивая приговор; окружающие слышат его ответы, хотя и не видят самого суда. Этот

«эффект присутствия» оказывается возможным вследствие совмещения совершенно разных «хронотопов» — этого мира и мира иного.

Во всех приведенных мною случаях в источниках речь не идет о четко формулируемых понятиях времени и пространства. Эти категории здесь заложены имплицитно, и потребна исследовательская мысль, чтобы их обнаружить и выявить их созидательную мировоззренческую силу. В упомянутых сейчас жанрах словесности пространственно-временной «континуум» средневекового сознания выступает в роли формо- и смыслообразующего начала. Но это начало не свободно выбрано авторами, оно как бы навязано им их собственным мировиденьем и мировиденьем их аудитории, читателей и слушателей. Перед нами, следовательно, не просто риторические приемы или категории поэтики, но формы человеческого сознания, в них нашла свое выражение стихия средневековой мысли и религиозности.

Как мы убеждаемся, при изучении ментальностей средневековых людей внимание исследователя не может не привлечь прежде всего их религиозность, те специфические формы, которые она приобретала при распространении истин христианства в среде широких слоев верующих, обладавших помимо него еще и иными, фольклорными представлениями о потусторонних силах, о взаимоотношении души и тела; в поведении народа постоянно обнаруживаются магические навыки — короче говоря, перед исследователем вырисовывается иной облик средневекового христианства, нежели тот, который официально утверждается теологией.

Без пристального изучения религии изучение духовной жизни средневековья попросту невозможно. Продолжая придерживаться тех недепутых запретов, которые были наложены в нашей науке на изучение этой стороны средневековой жизни, поистине важнейшей и определяющей, медиевистика способна только уродовать картину мира людей феодальной эпохи. Остается подчеркнуть: эти запреты не столько налагались на мысль историков «сверху», сколько суть симптомы нашей собственной рабости.

Между тем изучение указанных сторон средневековой действительности открывает новые перспективы. Мы несколько ближе подходим к уяснению той структуры человеческой личности, которая была возможна в Западной Европе в период, когда сложились названные мною жанры. Эти наблюдения сделаны при анализе текстов, обращенных к широким слоям населения, возникших в той сфере, в которой авторское сознание теснейшим образом соприкасалось и взаимодействовало с коллективным сознанием. Перед нами — «хронотопы» расхожей картины мира, обыденной религиозности. «Немотствующее большинство» феодального общества раскрывает перед историком некоторые тайны своего вида.

Памятникам, которые были сейчас упомянуты, можно задать и другие вопросы из анкеты исследователя ментальностей. Реконструкция картины мира — операция, в высшей степени сложная и трудоемкая. Каждый раз надобны иные «реактивы», на которые будут реагировать наши источники. Напомню: общего «рецепта» нет и быть не может. Но только располагая хотя бы предварительным, эскизным наброском картины мира человека изучаемой эпохи, историк вправе рассчитывать на то, что он в какой-то мере приблизится к пониманию сознания этого человека и смысла совершаемых им поступков.

Игнорирование мировосприятия людей прошлого изуродовало всю картину истории и превратило ее в поле игры социологических абстраций. Человек в обществе и общество как сложная система человеческой организации в их развитии во времени — вот предмет современной исторической науки. Но совершенно недостаточно постулировать эти очевидные тезисы — необходимо разрабатывать методологию такого исторического исследования, которое было бы нацелено на сущностный синтез субъективного и объективного. Необходимо преодолеть созданный поколениями историков и теоретиков разрыв между социальным и культурным и найти, наконец, способы увидеть их сложное единство, замыкающееся в человеке. Именно изучение ментальностей открывает путь к пре-

одолению этого неоправданного разрыва и тем самым путь из кризиса, который наша наука ныне переживает.

Настоятельна потребность в пересмотре и существенном расширении, обогащении самого понятия «социальная история». Ее изучение не может не сосредоточиваться на вопросе о месте человека в группе, классе, обществе в целом и вместе с тем на проблеме общества как системы межличностных отношений. Для историков феодального общества, в котором отношения между людьми еще не были фетишизированы товарным обращением и носили более непосредственный и неанонимный характер, изучение межличностных связей имеет особую значимость. Отношения родственные, общинные, цеховые, гильдейские, отношения господства и подчинения на всех этажах социальной иерархии строились на основах, глубоко отличных от тех, какие утверждаются в Европе Нового времени.

Но в таком случае опять-таки во весь рост встает проблема социально-психологического уровня человеческого общения. Возможно ли этот уровень выявить в наших источниках? Несомненно. В хрониках и записях права, в цеховых статутах и повествовательной литературе, в поэзии и проповеди на этот счет разбросана масса указаний. Они должны быть собраны, систематизированы и, главное, объяснены. Эта проблема многоаспектна. Упомяну лишь, что изучение символики, ритуалов, традиций и правовых обычаяев позволило бы историку увидеть такие механизмы включения индивида в коллектив, которые присущи были тем или иным социальным группам и налагали отпечаток и на его поведение, и на его самосознание.

Речь идет о том уровне анализа, который проникает внутрь социальной группы и выявляет взаимные отношения ее членов, формирующие личность, одновременно создавая для нее определенное поле активности и ограничивая эту активность, ставя для нее известные исторически обусловленные рамки.

Взять хотя бы такую сторону человеческого поведения, как обмен дарами. Значение этого института в доклассовых обществах давно раскрыто М. Моссом в его классическом «Этюде о даре». Мосс убедительно продемонстрировал, что в этих обществах обмен дарами представлял собой «тотальный социальный факт», систему отношений, которая пронизывала всю социальную структуру и обеспечивала ее функционирование<sup>5</sup>. В этом же направлении идут и исследования тех этнологов, которые еще более раздвинули пределы института обмена, включив в него наряду с циркуляцией материальных предметов брачные отношения и мифологические образы, — все это специфические символические формы, представлявшие собой коренные условия жизнедеятельности общества.

Но постепенно стало выясняться, что эти формы обмена суть универсальные аспекты того, что можно было бы назвать «экономической антропологией». Изучение этих форм проливает новый свет и на функционирование раннеклассовых обществ. В частности, по существу вся система социальных отношений у древних германцев и скандинавов периода раннего средневековья строилась вокруг обмена дарами<sup>6</sup>. Максима, запечатленная в «Старшей Эдде» («Речи Высокого»), гласит: «Дар ждет ответного дара». В этой системе объединялись материальный интерес, стремление завязать или упрочить социальные связи и дружеские отношения, убеждение в том, что в определенных предметах, в особенности в драгоценных металлах, которые воплощали в себе в соответствии с верованиями германцев «удачу» и «везенье» человека, таятся магические силы; эти убеждения проистекали из определенных мифологических и религиозных представлений, в том числе из образа потустороннего мира. Все эти аспекты были неразрывно связаны в сознании скандинавов.

Но в том или ином виде этот же комплекс идей, верований, социально-психологических установок определял поведение и средневекового европейца вообще. Даже дарения земельных владений и иного имущества

<sup>5</sup> Mauss M. Sociologie et anthropologie. P., 1950.

<sup>6</sup> Grönbech W. Kultur und Religion der Germanen. Bd 2. Darmstadt, 1961. S. 55 ff.

ва в пользу церкви, широко распространенные в феодальной Европе имели в своей основе принцип обмена: жертвы божеству были распределены на получение с его стороны ответных благодеяний и милостей. Поклонение святым и заботы о спасении души опирались на все тот же круг верований и практических действий, сколь бы трансформированы они ни были в системе христианской религии. Мощи святых, которые не спешили ответить чудесами на настояния верующих, подвергались поисанию, а святым, не прославленным чудесами, отказывали в поклонении.

Религия, магия, хозяйственная практика, идеальные нормы, нравственные идеалы, специфическое отношение к миру предметов — все оказывается увязанным в сознании средневековых людей в единый социальный культурный комплекс.

Социальная антропология — понятие, выработанное современной наукой. На теоретическом и конкретно-историческом уровне она рассматривает общественное поведение человека, его мотивы и движущие пружины. Но я полагаю, что «социальная антропология» существовала задолго до того, как появилось соответствующее научное направление. Разумеется, в разные эпохи «социальная антропология» принимала различные обличья и получала специфическую интерпретацию и мотивировку. Такую социальную антропологию *avant la lettre* я склонен, в частности, видеть и в средневековой проповеди.

Вот один пример.

Францисканский проповедник XIII в. Бертолльд Регенсбургский развивает учение о человеке. В качестве авторитета, от которого он отправляется в своих рассуждениях, Бертолльд, как водится в средние века, берет евангельский текст — в данном случае притчу о талантах. Но ее интерпретация немецким проповедником — в высшей степени оригинальная. Человек получил от Господа, говорит он, пять даров. Первый дар — это его личность, «персона». Но тотчас следуют уточнения природы личности, ибо другие божьи дары суть служба или должность человека, его имущество, время его жизни; пятый дар — любовь к ближнему. Человек в понимании Бертолльда, не некая абстракция или родовое существо, он социально определен и должен пребывать в том социальном статусе, в каком рожден, ибо каждый член социального целого, от аристократа до простолюдина, необходим для его нормального функционирования. На языке религиозной проповеди немецкий монах весьма близко к действительности выразил сущность личности в феодальном обществе, связанной с социально-правовым статусом.

Все дары, полученные от Господа, рассматриваются Бертолльдом в качестве единства, достояния, которое вверено человеку Творцом и которое он должен будет Ему возвратить.

Выдвижение в числе главных даров Господа времени и собственности, несомненно, отвечало потребностям укреплявшегося в XIII в. бюргерства, к которому Бертолльд Регенсбургский в первую очередь и обращался со своими поучениями и от которого он воспринимал новые импульсы. Не случайно то, что, характеризуя сословный строй Германии, который он сопоставляет с девятью хорами ангельскими, Бертолльд сосредоточивает внимание преимущественно на городских профессиях — купцах и ремесленниках. Вместе с тем понимание им службы или профессии как божьего предназначения-призыва придавало сословному сознанию средневековья особую прочность и нерушимость: социальные постулаты получали высшую санкцию.

То, что приведенные выше примеры историко-антропологического подхода взяты из медиевистики, объясняется не только моей профессией, но и тем, что именно в этой отрасли исторического знания указанный подход получил наибольшее применение и дал наиболее позитивные результаты. Это не означает, однако, что аналогичные методы исследования неприменимы к другим разделам истории, в частности современной. Я убежден в том, что применимы. Но нужна углубленная методологическая рефлексия для того, чтобы социально-антропологическая ориентация исторического исследования завоевала необходимый плацдарм.

В Новое время хозяйственная, политическая, идеологическая, религиозная функции человека все более стали выступать в облике одна от другой обособленных. Межличностная природа социальных связей была фетишизована отношениями типа «товар — деньги — товар». Наука отозвалась на эту дифференциацию, и на смену всеобъемлющего подхода к человеку пришел парцелярный подход, изолирующий *homo oecopomicus*, *homo religiosus*, *homo ludens...* То, что в свое время было закономерным результатом развития и расчленения знаний о человеке, ныне превратилось в препятствие для постижения его универсальной природы и внутреннего единства человеческого поведения.

Конечно, речь идет не о возврате знаний о человеке к какой-то предшествующей стадии. На повестку дня поставлена проблема построения синтетической науки о человеке как социальном существе и об обществе как системе мыслящих и чувствующих людей, а не бесплотных абстракций или статистических единиц. Как охватить единой концептуальной конструкцией социальное и культурное, объективное и субъективное? От этого вопроса не уйти, ибо «развод», давно проишедший между этими в действительности внутренне связанными и едиными началами, оказался серьезнейшим препятствием для развития всего обществоведения, которое не может не быть целостным комплексом наук о человеке.

Выход из положения — в междисциплинарном подходе к изучению человека и общества, человека в обществе. Не пора ли перейти от деклараций о необходимости такого подхода к его практической исследовательской реализации? Дело непростое! Этот междисциплинарный, или, лучше сказать, полидисциплинарный подход нуждается в ученых нового типа — в ученых, которые не замыкаются на ограниченных и изолированных участках знания, но мыслят широко и глубоко, поверх традиционных барьеров мысли и профессии.

**И. Я. Фроянов, А. Ю. Дворниченко,  
Ю. В. Кривошеев**

## **ВВЕДЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА НА РУСИ И ЯЗЫЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ**

Значение языческих традиций в процессе христианизации Руси остается в исторической науке во многом не изученным. Да и сам вопрос так, собственно, не ставится, поскольку принято думать, что христианство, сменившее язычество, не могло утверждаться с помощью языческих методов и средств, которые оно якобы отвергало. Православные богословы проводят резкую грань между восточнославянским язычеством и христианством. Однако внимательный анализ источников позволяет отчетливо выявить языческие элементы в процессе учреждения христианства в древнерусском обществе.

Обращает на себя внимание уже то обстоятельство, что «крещение Руси» произошло всего лишь через 8 лет после так называемой языческой реформы князя Владимира (980 г.). Столь малый срок между проведением этой реформы и принятием христианства не может быть объяснен ни смещением мировоззренческих акцентов в сознании Владимира и киевской знати, ни внешними причинами, ибо подобного рода объяснения никак не вяжутся с наблюдениями исследователей, которые показали необоснованность утверждений о глубоком воздействии христианства на формирование идеологии, культуры и социальной психологии архаических обществ<sup>1</sup>. Что касается Киевской Руси, то мы с уве-

<sup>1</sup> Стеблин-Каменский М. И. Мир саги. Становление литературы. Л., 1984. С. 93; Wilinbachow W. B. Społeczno-psychologiczny aspekt chrystianizacji Rusi. Kijowskiej// Kultura i społeczeństwo. Warszawa, 1974. V. XVIII. N 2. S. 14.

ренностью можем сказать, что введенное в 988 г. христианство, не име под собой достаточно твердой социальной и политической почвы, и всем протяжении древнерусской истории не произвело коренного пер лома в сознании общества<sup>2</sup>.

Рассказы о принятии Русью христианской веры попали на страницы летописей по крайней мере полустолетием позже; они к тому же записывались церковным писателем, воспринимавшим их в значительной степени сквозь призму христианского мышления. Однако и прошедшие такую «цензуру», они сохранили сведения, дающие нам возможность представить «крещение Руси» несколько иначе, чем оно виделось летописцу-христианину, да и изображается до сих пор большинство ученых, занимавшихся этой проблематикой.

Введению христианства в Киеве предшествовал ряд языческих реформ. Все они были направлены на то, чтобы сохранить сложившийся на просторах Восточной Европы грандиозный союз племен, подвластный киевским князьям<sup>3</sup>. Для нас сейчас важна не социальная направленность этих реформ, а их языческий характер. В частности, была предпринята попытка превратить Киев в религиозное средоточие восточного славянства. С этой целью языческое капище с изваянием Перуна, размещавшееся первоначально в черте киевского древнейшего городища, выносится на новое место<sup>4</sup>, доступное всем прибывающим в столицу полян. Источники позволяют установить примерное время, когда это произошло.

При заключении договора 907 г. с греками Олег и «мужи его» клялись «оружьем своим, и Перуном, богом своим, и Волосом, скотьем богом»<sup>5</sup>. Как показывают разыскания специалистов, культ Перуна был распространен преимущественно в южных областях восточнославянской территории, а Волоса (Велеса) — в северных<sup>6</sup>. Наличие в присяге двух божеств (Перуна и Волоса) вполне естественно, поскольку в походе Олега на Царьград принимали участие как южные восточнославянские племена, так и северные<sup>7</sup>. Состав участников похода на Константинополь 944 г. преемника Олега князя Игоря почти не изменился<sup>8</sup>. Но в тексте присяги нового соглашения назван лишь Перун, тогда как Волос не упомянут. Более того, летопись достаточно определенно говорит, что киевские язычники (во главе с Игорем) при «ратификации» договора приносили клятву перед капищем одного Перуна: «Заутра призыва Игорь слы, и приде на холм, где стояше Перун и покладоша оружье свое, и щиты и золото, и ходи Игорь роте и люди его, елико поганых Руси...»<sup>9</sup>. Случайно ли это? Похоже, что нет. Здесь проглядывает желание киевских властителей утвердить приоритет Перуна над остальными богами восточных славян.

Следовательно, в княжение Игоря, но до заключения его договора с Византией полянский бог Перун был провозглашен верховным общеславянским богом. Это понадобилось для того, чтобы идеологически укрепить и обосновать господствующее положение Киева над остальными восточнославянскими племенами. Но в середине X в. отношения Киева с подвластными племенами резко обострились. Гибель Игоря в древлянских лесах послужила началом активного сопротивления «приムченных» Киевом племен. Киевские лидеры вынуждены были перейти

<sup>2</sup> Фроянов И. Я. Об историческом значении «крещения Руси»//Генезис и развитие феодализма в России. Л., 1987. С. 57; *его же*. Начало христианства на Руси//Христианство: Античность. Византия. Древняя Русь. Л., 1988. С. 253—254.

<sup>3</sup> Фроянов И. Я. Об историческом значении «крещения Руси». С. 48.

<sup>4</sup> Толочко П. П. Древний Киев. Киев, 1983. С. 29—30, 39—41. П. П. Толочко полагает, что это произошло «уже ко времени княжения Игоря» (там же. С. 39—40).

<sup>5</sup> Повесть временных лет (далее — ПВЛ). Ч. 1. М.; Л., 1950. С. 25.

<sup>6</sup> Иванов В. В., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей. М., 1974. С. 55, 62; Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей. М., 1982. С. 32—33.

<sup>7</sup> ПВЛ. Ч. 1. С. 23.

<sup>8</sup> Там же. С. 33.

<sup>9</sup> Там же. С. 39; см. также Толочко П. П. Указ. раб. С. 39.

к умиротворению «заратившихся» племен<sup>10</sup>. Вместе с этим киевские правители отступили и в вопросе религиозном. И вот в договоре 971 г. Святослава с византийским императором Цимисхием вновь встречаются с Русью, которая клянется Перуном и Велесом<sup>11</sup>. Таким образом, попытка Киева придать Перуну статус бога всех восточных славян потерпела неудачу.

Однако вскоре предпринимается новая религиозная реформа. В 980 г. Владимир «постави кумиры на холму вне двора теремного: Перуна древяна; а главу его сребряну, а ус злат, и Хърса, Даждьбога, и Стрибога, и Симаръгла, и Мокошь. И жряху им, наричюще я богы»<sup>12</sup>. Это была еще одна попытка возвеличить Перуна, но более осторожная и гибкая.

«Поставление кумиров» — идеологическая акция, с помощью которой киевская община надеялась удержать власть над покоренными племенами, остановить начавшийся распад грандиозного межплеменного союза во главе с Киевом. Поэтому Перун и предстал в окружении богов других племен, символизируя их единство. Столица полян снова была объявлена религиозным центром восточного славянства.

Однако языческая реформа Владимира, хотя и была более гибкой, все-таки оказалась неудачной, как и предшествующие ей. Основной просчет ее заключался в стремлении утвердить верховенство Перуна над остальными богами. В результате его кульп пришлось опять навязывать силой союзным племенам. В некоторых случаях Перун вообще вытеснял местных кумиров. Так случилось в Новгороде, где Добрыня, посланный из Киева, «постави Перуна кумир над рекою Волховом, и жряху ему людие новгородстей акы богу»<sup>13</sup>.

Неудача этой реформы предопределила необходимость новых преобразований. И вот апофеозом реформационной деятельности Владимира становится принятие христианства. Сама хронологическая близость и логическая связь с предшествующими языческими реформами позволяет поставить вопрос: а не воспринималось ли «введение» христианства жителями Приднепровья той поры в языческом ключе?

«Языческое» восприятие христианства уже имело precedents. Интересен в этой связи эпизод с варягами-христианами. Летописец сообщает о человеческих жертвоприношениях у киевлян. Жребий, который метали киевляне, пал на сына некоего варяга. «Бе же варяг той пришел из Грек и держаше веру хрестяньскую», — говорит летописец. Насколько варяг усвоил христианские догмы, узнаем из последующей его филиппики, обращенной против русских богов. «Не суть то бози, но древо, днесъ есть, а утро изъгнеет; не ядять бо, ни пьють, ни мольять, но суть делані руками в дереве»<sup>14</sup>. Значит, по представлению варяга, боги должны есть, пить, говорить, непосредственно общаться с верующими. Такое очеловечивание богов характерно именно для языческой религии. По представлениям язычников, божество, как и любое живое существо, нуждается в жилище, питании, одежде и т. д.<sup>15</sup>

Процедура «выбора вер» насквозь пронизана языческими мотивами. На каком основании Владимир отрицает ту или иную веру? Что служит ему критерием при выборе? Сначала, как известно, Владимир выслушал проповедников мусульманства. «Но се ему бе не любо, обрезанье удов и о неяденыи мяс свиных, а о питьи отнудь, ръка: „Руси есть веселье питье, не можем бес того быти“». Шутливое отношение к этому изречению князя часто не позволяет увидеть за словами Владимира

<sup>10</sup> Подробнее см.: Фроянов И. Я. Об историческом значении «крещения Руси». С. 49; *его же*. Начало христианства на Руси. С. 288.

<sup>11</sup> ПВЛ. Ч. 1. С. 52.

<sup>12</sup> Там же. С. 56.

<sup>13</sup> Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950. С. 128.

<sup>14</sup> ПВЛ. С. 58.

<sup>15</sup> Крывелев И. А. История религий. Т. 1. М., 1975. С. 91—92.

реалии того времени. Ведь речь в завуалированном виде идет о языческих пирах, которые являлись важным социальным институтом в жизни Киевской Руси, формой общения княжеской власти с дружиной и народом<sup>16</sup>. Исследователи подчеркивают также обрядовое, ритуально-магическое происхождение пира и общего праздничного застолья<sup>17</sup>. Общая трапеза с народом позволяла сокращать тот отрыв княжеской власти от народных масс, который едва намечался в обществе. Ведь родственники по пище и питью наряду с родством по крови известно разным народам<sup>18</sup>. Естественно, что Владимир не хотел отказываться от пиров. И то же время бросается в глаза настойчивость князя в поисках новых богов. Причем новых богов искал не только Владимир, но и «люди», т. е. массы городского и сельского населения<sup>19</sup>. Когда Владимир изложил результаты бесед с представителями разных вер, «реша бояре и старцы: „Веси, княже, яко своего никто же не хулить, но хвалить. Аще хощеши испытати гораздо, то имаши у собе мужи: послав испытай кого ж до их службу, и кто како служить богу“». И бысть люба речь князю и всем людем»<sup>20</sup>. Этот летописный текст не только свидетельствует о всеобщем характере «языческихисканий», но и сообщает о том, что хотели узнать жители Приднепровья о тех религиях, которые исповедовали соседние с ними народы. Это — «служба», т. е. обрядовая сторона религии. Ритуал, обряды играют в язычестве особую роль. «Поэтому в культ (языческий. — Авт.) наряду с действиями, обеспечивавшими божеству физическое благополучие и комфорт, входили торжественные процесии, театрализованные действия, различные зрелища»<sup>21</sup>. Все эти представления подогревали эмоции язычников, доводили их до состояния экстаза. Естественно, что чем ярче, красочнее была религия, вернее «служба», тем большее впечатление должна была она производить на религиозное сознание язычников. Данный мотив и звучит в знаменитом «выборе веры». Веселье и красота — вот главное, что привлекает в религиозном обряде язычников-славян. Религия болгар (имеются в виду волжские болгары-мусульмане) не понравилась потому, что «несть веселья в них, но печаль и смрад велик». Западноевропейский вариант христианства отвергнут потому, что «видехом в храмех многи службы творяща, а красоты не видехом никоєяже». Иное дело греческая религия. Когда русские послы пришли в Константинополь, «патреарх, повеле созвати крилос, по обычаю створиша праздник, и кадила вожьгоша, пенья и лики съставиша. И иде с ними в церковь, и поставиша я на пространные места, показающе красоту церковную, пенья и службы архиерейски, престоянье дьякон...»<sup>22</sup>. Тут, как видим, все элементы столь излюбленного язычниками богатого праздничного ритуала. Отсюда и их впечатления о византийском богослужении: «И придохом же в Греки, и ведоша мы, и идеже служить богу своему, и не свемы, на небе ли есмы были, ли на земли: несть бо на земли такого вида ли красоты такој, и не доумеем бо сказать; токмо то вемы, яко онъде бог с человеки пребывает, и есть служба их паче всех стран. Мы убо не можем забыти красоты тоя, всяк бо человек, аще вкусить сладка, последи горести не принимает, тако и мы не имам сде быти»<sup>23</sup>.

Итак, уже в летописной ситуации «выбора веры» ярко проявились языческие мотивы, свидетельствующие о том, что в Киеве князем, дружиной и «людьем» все связанное с новой верой воспринималось сквозь

<sup>16</sup> Фроянов И. Я. Киевская Русь. Очерки социально-политической истории. Л., 1980 С. 141—142.

<sup>17</sup> Аничков Е. В. Язычество и Древняя Русь. СПб., 1914. С. 178; Ветловская В. Е. Летописное осмысление пиров и дарений в свете фольклорных и этнографических данных//Генезис и развитие феодализма в России. Л., 1987.

<sup>18</sup> Там же.

<sup>19</sup> Фроянов И. Я. Киевская Русь. Очерки социально-политической истории. С. 129

<sup>20</sup> ПВЛ. С. 74.

<sup>21</sup> Крымцев И. А. Указ. раб. Т. 1. С. 99.

<sup>22</sup> ПВЛ. С. 75.

<sup>23</sup> Там же.

призму языческих переживаний и традиций<sup>24</sup>. То же самое можно проследить в последующих событиях.

Обращает на себя внимание в связи с этим следующее известие летописи. После успешного похода на Корсунь и крещения там Владимира и его дружины киевский князь, уходя оттуда, «поем царицу, и Настаса, и попы корсуньски, с мощми святаго Клиmentа и Фифа, ученика его, понма съсуды церковныя и иконы на благословене себе... Взя же ида медяне две капищи, и четыре кони медяны, иже и ныне стоять за святою Богородицею, якоже неведуще мнятъ я мрамаряны суща»<sup>25</sup>. Как видим, среди прочего здесь «медяне две капищи». Что это за капища?

В этимологических словарях русского языка под таким термином понимается прежде всего языческий храм<sup>26</sup>. Однако в данном случае эта версия исключается: конечно, не храм, да еще языческий захватил с собой Владимир из Корсуня. Другое основное значение этого термина — изображение, статуя<sup>27</sup>. Вряд ли можно говорить о медном изображении. Более правдоподобен вариант, отождествляющий «капище» со статуей. Однако один из немногих исследователей данного сюжета Л. А. Динцес отвергал такое объяснение. Он полагал, что «местное архитектурное наименование — капище — было в данном случае перенесено „по сходству“ на привезенные „бронзовые кивории“<sup>28</sup>, под которыми совершалось таинство Евхаристии (но никак не языческие, в частности античные, жертвенные)»<sup>29</sup>. В качестве доказательства он привел ряд аргументов.

Во-первых, Л. А. Динцес указал на миниатюру Радзивилловской летописи, изображающую сцену крещения князя Владимира. На ней Владимир сидит внутри большой купели, над которой возвышается киворий. В такой же купели крестится и его дружина. Во-вторых, пишет он, «для антропоморфных статуй у летописца есть два неизменных термина: „кумир“ и „идол“». И в-третьих, по мнению Л. А. Динцеса, «непонятно, почему летописец, неоднократно выражавший осуждение по поводу идолов, не высказал такового, рассказывая о привозе Владимиром, полным решимости искоренить в своей земле язычество, статуй языческих богинь (? — Авт.) „эллинская“ сущность которых ревнителям древнего православия была хорошо ведома»<sup>30</sup>. Думаем, что все эти суждения не являются бесспорными.

<sup>24</sup> Интересен в этой связи сам «выбор веры». Исторические параллели, имеющиеся в нашем распоряжении, свидетельствуют о том, что явление это было довольно частым в традиционных обществах. Известно, что в подобных ситуациях оказывались болгары, хазары, скандинавы и другие народы (Введение христианства на Руси. М., 1987. С. 15—17). Это не расхожий фольклорный сюжет, а исторические реалии. В условиях неравномерного экономического и политического развития и разноэтничного окружения в тот момент, когда собственные боги были скомпрометированы, правящая верхушка или община в целом могли обращаться к идеологическому багажу соседних народов с тем, чтобы попытаться выбрать что-либо приемлемое для себя.

<sup>25</sup> ПВЛ. С. 80.

<sup>26</sup> Преображенский А. Г. Этимологический словарь русского языка. Т. I. М., 1959. С. 294; Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. II. М., 1986. С. 185; Этимологический словарь русского языка. Т. II. Вып. 8. М., 1982. С. 55. Более расширительно — как места языческих отправлений — толковал «капище» И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. I. М., 1958. Стб. 1192—1193. См. также: Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. Т. I. Харьков, 1916. С. 9; Аничков Е. В. Язычество и Древняя Русь... С. 323.

<sup>27</sup> Срезневский И. И. Указ. раб. Т. I. Стб. 1193; Преображенский А. Г. Указ. раб. Т. I. С. 294; Фасмер М. Указ. раб. Т. II. С. 185. См. также: Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу. Т. II. М., 1868; Иловайский Д. И. История России. Т. I. М., 1876. С. 299; Фаминцын А. С. Божества древних славян. СПб., 1884. С. 38; Голубинский Е. Е. История русской церкви. М., 1901. Т. I, перв. пол. тома. С. 231. Прим. 2; Леже Л. Славянская мифология. Воронеж, 1908. С. 34.

<sup>28</sup> Киворий: 1 — ковчег, в котором находится освященный хлеб, дарохранительница; 2 — сень, под которой на престоле осеняются дары (см. Словарь церковно-славянского и русского языка. Т. II. СПб., 1867. Стб. 355).

<sup>29</sup> Динцес Л. А. Дохристианские храмы Руси в свете памятников народного искусства//Сов. этнография. 1947. № 2. С. 69.

<sup>30</sup> Там же. Второй и третий аргументы автора являются повторением и развитием положений, высказанных ранее Д. В. Айналовым (Айналов Д. В. Летопись о началь-

Что касается миниатюры то известно, что иллюстрации Радзивилловской летописи создавались в начале XIII в.<sup>31</sup>, т. е. более чем через два столетия после крещения. Поэтому вряд ли можно говорить об отражении в них каких-либо деталей этого события. Скорее изображение на них было ближе к действительности XIII в. Относительно значения термина можно сказать, что еще И. И. Срезневский в случае с Владимиром толковал «капище» как статую (изображение) — и только<sup>32</sup>, хотя, как мы видели, это слово у него имело и другие значения. Кроме того, он приводит еще ряд примеров из письменных источников, где под «капищем» разумеется статуя<sup>33</sup> или изображение. Следовательно, не только «кумиром» и «идолом» ограничивалось обозначение статуй, а и «капищем» как родственным им понятием.

Третье положение Л. А. Динцеса сводится к диахотомии «языческое—язычникам, христианское — христианам». Причем это относится и к летописателям, и к князю Владимиру. Нам видится здесь несколько упрощенный подход к событиям X в. и нескольких следующих веков, когда над обществом, включая и его верхи, еще довлело языческое мировоззрение<sup>34</sup>. Здесь мы должны рассмотреть вопрос, какие и для какой цели статуи были привезены в Киев.

В свое время Н. М. Карамзин высказал мнение, что это, возможно, были «изящные произведения древнего искусства», которые «стояли в несторово время на площади старого Киева близ известной Андреевской и Десятинной церкви»<sup>35</sup>. Эту мысль впоследствии развил знаток древнерусского искусства Д. В. Айналов. Он полагал, что Владимир хотел украсить площадь в Киеве по образцу и подобию византийских и других городов, «подражая в этом отношении украшениям площаде столичных городов тогдашнего мира... Корсунь в это время также представлял собой богатый византийский город, украшенный различным статуями императоров и знаменитых граждан, поставленными в разное время. Из числа именно этих статуй взял Владимир „две капищи медны“, под которыми надо подразумевать, по-видимому, „две медные человеческие статуи“». «Таким образом, — делает он вывод, — древняя Русь, выносившая свое знакомство с античными статуями из своих сношений с Царьградом и Корсунем, могла теперь близко ознакомиться с ними через посредство статуй, привезенных Владимиром»<sup>36</sup>.

Несмотря на изящество этой идеи, полагаем, что в приобретении привозе Владимиром и коней<sup>37</sup>, и статуй<sup>38</sup> скрывается более глубокий

ной поре русского искусства//Отчет о состоянии и деятельности Санкт-Петербургского университета за 1903 год. СПб., 1904. С. 19—20). В своей работе Д. В. Айналов пришел к однозначному выводу: капища — это «два алтаря или две статуи» (С. 21). Впоследствии, однако, он предпочел статуи.

<sup>31</sup> Древнерусские летописи и хроники//Труды Отдела древнерусской литературы Т. 39. Л., 1985. С. 141, 143.

<sup>32</sup> Срезневский И. И. Указ. раб. Т. I. Стб. 1193.

<sup>33</sup> Именно так истолковано данное слово в Никоновской летописи, где «две к пищи» заменены на два «болвана» — Поли. собр. русских летописей. Т. IX. С. 57.

<sup>34</sup> Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. М., 1987; Фроянов И. Я. Об историческом значении «крещения Руси». С. 55—57.

<sup>35</sup> Карамзин Н. М. История Государства Российского. Т. I. СПб., 1892. С. 1:

<sup>36</sup> Айналов Д. В. Летопись о начальной поре русского искусства... с. 21; его же Искусство Киевской Руси//Русская история/Под ред. Довнар-Запольского М. В. Т. Б. м., б. г. С. 496—497. См. также: Иловайский Д. И. Указ. раб. С. 73; Шероцкий К. Киев, 1917. С. 98.

<sup>37</sup> Л. А. Динцес вообще не учитывает того факта, что вместе с «капищами» были и четыре «коня» (по-видимому, это «квадрига античных коней» — Айналов Д. В. Летопись... С. 21). Полагаем, что коней и капища-статуи следует рассматривать в едином смысловом контексте, не отрывая их друг от друга. В некоторых списках летописи вместо «4 коне» стоит «4 иконе». Эту версию обстоятельно разобрал и отверг Д. В. Айналов (там же. С. 19—20).

<sup>38</sup> Трудно сказать, кого изображали эти статуи. Античных или языческих богов (а только богинь, как пишет Л. А. Динцес)? А может быть, это были изваяния каких- великих людей. И. С. Свенцицкая отмечает существование в Римской империи в начале нашей эры культов богор-императоров, обожествленного Демоса, Совета, Римского сената. Всем им устанавливались статуи и рельефы для поклонения (Свенцицкая И. От общины к церкви. М., 1985. С. 38—40). Впрочем, для нас это не так важно. Но:

смысл, нежели страсть к украшательству или же желание приобщить киевлян к античному искусству. По нашему мнению, это связано с языческими традициями. С язычеством соединял «несомненно языческие» капища и Д. В. Айналов. Он считал, что они могли быть взяты Владимиром только «для нужд языческого культа». Поэтому они появляются в приднепровской столице «еще в то время, когда Владимир был язычником». Оснований «отодвигать их к эпохе до Владимира, равно как и предполагать, что Владимир привез их, уже будучи христианином», нет<sup>39</sup>.

Действительно, исходя из вышеприведенных соображений ученого оснований для признания того, что капища доставлены Владимиром-христианином отсутствуют. Однако равно нет данных и для того, чтобы отодвигать это событие ко временам Владимира-язычника.

Полагаем, что Владимир, уже приняв крещение в Корсуне, вполне мог совершить эту акцию. Более того, представляется, что это было закономерным явлением. Факт привоза коней и капищ-статуй, на наш взгляд, неразрывно связан с предыдущими событиями, относящимися еще к языческим временам. Ведь, как мы видели, одним из важнейших моментов языческих реформ, предшествовавших введению христианства, был «своз» богов. Первым, возможно, в Киеве «обосновался» Велес — как результат объединения Новгородской и Приднепровской Руси. Во всяком случае, известно, что князь Олег и «мужи его» клялись «оружьем своим, и Перуном, богом своим, и Волосом, скотьем богом». «Переселением» Велеса было положено начало «собиранию разноплеменных божеств под эгидой Перуна. Такое пополнение пантеона имело место у многих народов. Как правило, оно было результатом завоеваний. Иногда у покоренных племен крупные божества покупались. Третьим каналом были браки вождей с чужеземками<sup>40</sup>. В Древней Греции в случае поражения общину статую побежденного бога переносили в храм бога-победителя. В Древнем Риме «новые боги как бы принимались в общину римских богов, как перегранины принимались, получая римское гражданство, в римскую гражданскую общину на условии подчинения обязательным для граждан законам и установлениям»<sup>41</sup>.

Полагаем, что в Древней Руси очередную реформу, выразившуюся в принятии новой веры — христианства, можно поставить в этот ряд. В глазах язычников факт привоза в Киев в 988 г. из покоренного Корсуня новых трофеев: коней (а в языческом пантеоне Владимира, как мы знаем, имелось зооморфное существо — крылатый пес Симаргл) и каких-то статуй — идолов как бы продолжал смену божеств, олицетворяя новые победы киевской общины. С точки зрения христиан эта акция вряд ли имела какой-либо смысл или значение. Но для вчерашних язычников она символизировала своеобразную преемственность традиций, освященных веками, а следовательно, и более безболезненное восприятие новой веры, являющейся хотя бы по внешним признакам как бы продолжением прежней языческой. Корсунские «кумиры», так же как и их предшественники — языческие боги, устанавливаются на одном из центральных мест города, чем, видимо, подчеркивается их доступность. И лишь в результате постройки церкви св. Богородицы они оказались впоследствии за ней.

Кстати, в факте постройки церквей на местах языческих культовых сооружений, что прослеживается во многих регионах, по нашему мне-

---

важен сам факт, что в Киев из побежденного Владимиром Корсуня были привезены статуи.

<sup>39</sup> Айналов Д. В. Летопись... С. 21—22.

<sup>40</sup> Иорданский В. Б. Хаос и гармония. М., 1982. С. 131; Харузин Н. Н. Этнография. Ч. IV. Верования. СПб., 1905. С. 171, 172 и др. («При тесной связи, признаваемой между духом божества и его внешней оболочкой, естественно возникает обычай уносить идолы побежденных племен в местожительства победителей», — писал Н. Н. Харузин).

<sup>41</sup> Культура Древнего Рима. Т. I. М., 1985. С. 149.

нию, также наблюдается известная перманентность религиозных представлений. В литературе утвердился взгляд, что низвержение капищ и требищ и сооружение на этих местах храмов означало борьбу церкви с язычеством<sup>42</sup>. Нам видится здесь не столько разрыв, сколько связь, преемственность христианства и язычества<sup>43</sup>. Такое восприятие давало себя знать и позже, когда церковное сооружение (как прежде языческое) являлось для древнерусского горожанина символом всей общины, ее общим достоянием.

Таким образом, внешнее введение христианства на Руси как бы продолжало цепь религиозных реформ X в.<sup>44</sup> Но если в рамках язычества к богам старым прибавляются новые и пантеон, как правило, увеличивается, то с принятием христианства в 988 г. пантеон уменьшился — прежние боги были низвержены. Е. В. Аничков сводил этот акт исключительно к христианскому «возмездию» по «бibleйским традициям»<sup>45</sup>. Но он же обратил внимание и на то, как воспринимались отжившие свое языческие боги даже христианами- книжниками. Ученый полагал, что «рассказы о Перуне как о живом существе были неизбежны». «Но иначе книжник того времени, и именно книжник русский, не мог понимать великого события приятия новой, истинной веры. Верования легче приобретаются, чем исчезают из сознания». Первым шагом к этому было уничтожение статуй языческих богов. «Поверженный кумир,— писал Е. В. Аничков,— уже тем самым перестает быть богом, вера в него гибнет вместе с поруганием»<sup>46</sup>. Надо сразу оговориться, что уничтожение Перуна отнюдь не означало полного разрыва с языческой традицией. Боги в архаических обществах вовсе не обладали статусом неприкосновенности. Только в обществах с развитой классовой дифференциацией, антагонистической государственностью, монотеистической религией они стали «персоной грата». Люди же «архаичного общества иной раз не останавливались и перед сбрасыванием кумиров с пьедесталов»,— пишет В. Б. Иорданский<sup>47</sup> и приводит соответствующие примеры из истории африканских обществ. Для нас в данном случае является интересным вопрос, каким образом были уничтожены восточнославянские божества. При этом если прочих богов ломают и жгут, то процедура с Перуном особенная. В Киеве «Перуна же повеле (Владимир.—Авт.) привязати коневи к хвосту и влечи с горы по Боричеву на Ручай, 12 мужа пристави тети жезльем. Се же не яко древу чююющю, но на поругание бесу, иже прелщаще симъ образом человека, да възмездье прииметь от человек... Влекому же ему по Ручаю к Днепру, плакахуся его неверни людье, еще бо не бяху прияли святаго крещенья. И привлекше, вринуша, и в Днепр. И пристави Володимер, рек: „Аще кде пристанеть, вы отревайте его от берега; дондеже пороги проидеть, то тогда охабитеся его“». Они же повелена створиша. Яко пустиша и проиде сквозе порогы, изверже и ветр на рень, и оттоле прослу Перуня Рень, якоже и до сего дне словетъ<sup>48</sup>. Аналогичной экзекуции подвергся Перун и в Новгороде: «И прииде

<sup>42</sup> Рыбаков Б. А. Языческое мировоззрение русского средневековья//Вопр. истории. 1974. № 1. С. 20.

<sup>43</sup> И во внутреннем делении объема христианского храма ученые видят сохранение языческих представлений (Вагнер Г. К. Канон и стиль в древнерусском искусстве. М., 1987. С. 98–99).

<sup>44</sup> Сама «корсунская экспедиция» помимо отмеченных языческих мотивов показывает и другие. Образец языческого поведения демонстрирует Владимир. Даже сквозь христианскую призму проглядывает его языческое «потребительское» отношение к христианству. Он все время ставит какие-либо условия. И само крещение — результат выполнения этих условий, а отнюдь не «просветления». Одно из таких условий — взятие города, другое — женитьба на византийской царевне. Сама его «глазная болезнь» и исцеление от нее есть своеобразное условие и в то же время оселок, на котором проверяется могущество нового божества. «Чудо» подействовало и на дружину «Се же видевши дружина его, мнози крестищася» (ПВЛ. Т. I. С. 77).

<sup>45</sup> Аничков Е. В. Язычество и Древняя Русь. С. 106—107.

<sup>46</sup> Там же. С. 109—110.

<sup>47</sup> Иорданский В. Б. Хаос и гармония. С. 177—178.

<sup>48</sup> ПВЛ. С. 80.

к Новуграду архиепископ Аким Корсунянин, и требища разруши, и Перуна посече, и повеле влещи в Волхово, и поверзъше ужи, влечаху его по калу, биюще жезлеем; и заповеда никому же нигде же не приятии»<sup>49</sup>.

Недавно была высказана точка зрения, что низвержение Перуна — это вообще «не понятое летописцем описание ежегодных проводов бога, языческий праздник „умирающего и воскресающего бога“». «Большой частью,— говорит Л. С. Клейн,— проводы-похороны бога реализовывались как его утопление или сплавление по реке, с делением участников праздника на две группы — убивающих и оплакивающих». Объясняя случай с Перуном, он отталкивается от обрядов, имевших место на позднейших языческих празднествах (Масленица, Купала и т. д.). «Примечательно,— в связи с этим полагает он,— повторение летописного призыва „Выдыбай боже!“ в песне при похоронах Костромы»<sup>50</sup>. Эти наблюдения интересны. Однако ритуал низвержения Перуна можно связать и с другими языческими традициями. Волочение, битье жезлом и особенно «водные процедуры» — все это признаки языческих действ. Все здесь направлено на то, чтобы унизить Перуна и осудить его. Свергнутого бога привязывают к хвосту лошади (что само по себе унизительно) и волокут «по Боричеву на Ручай». Обряд волочения, судя по ряду данных, был в представлении восточных славян весьма унизительным. Не случайно во время известных событий 1146—1147 гг. в Киеве князя Игоря, уже убитого, волокли «сквозе бабин торжек до святое Богородицы»<sup>51</sup>. К Перуну приставлено 12 мужей, избивающих его «жезлем». Эти мужи — скорее всего какой-то языческий суд, который фигурирует и в Русской Правде. Вспомним: «извод пред 12 человека»<sup>52</sup>. Для архаического сознания характерны «сакральные цифры», будь то количество послухов или общинный суд. Но чем же истязают несчастного Перуна? Обычно «жезлие» переводят как «прутъя». Но возможно и другое прочтение. Перуна могли бить его собственным жезлом, т. е. палицей, о значении которой еще скажем ниже. Бросание в воду необходимо трактовать как своеобразную дань язычески обожествленной водной стихии. Вода же выступала и «судьей». Вспомним, что еще в XIX в. подозреваемых в колдовстве (как правило, женщин) бросали в реку. Если они выплывали, то были уличены и подвергались наказанию, если же тонули, то считались невиновными, оправданными<sup>53</sup>. По сути дела Перуна подвергли похожему суду. Его пытаются дискредитировать перед лицом языческого населения Киева и Новгорода. И он не выдерживает испытания — то, что он не тонет, — свидетельство его виновности, а следовательно, и необходимости нового бога. По летописным записям, эти цели были достигнуты. Новгородская летопись содержит ценное подтверждение этому. Мы имеем в виду эпизод с жителем новгородского пригорода — пидьбланином. «И иде пидьбланин рано на реку, хотя горынци вести в город; сице Перун приплы к берви, и отрину и шистом: „ты, рече, Перушице, досыти еси пил и ял, а ныне поплови прочь“; и плы с света окошьное»<sup>54</sup>. Помимо отношения к Перуну в этом сообщении интересно и представление о нем. Оно сугубо языческое. Ведь язычники верили, что их боги едят и пьют (вспомним упоминавшихся выше варягов). Интересно, что летописец рисует уже несколько иной пласт архаиче-

<sup>49</sup> Новгородская первая летопись (далее — НПЛ). С. 159—160.

<sup>50</sup> Клейн Л. С. Похороны бога и святочные игры с умруном//Конференция «Балто-славянские этнокультурные и археологические древности. Погребальный обряд». Тез. докл. М., 1985. Еще в 1937 г. А. Краппе отмечал, что предание о низвержении Перуна и купание его в Днепре основывается на описании ежегодно совершающегося в Киеве обряда купания идола в Днепре, чтобы вызвать дождь,— обряда, известного многим народам. Летописец принял этот ритуал за низвержение Перуна (*Krappe A. A. La culte du paganisme à Kiev//Revue des études slaves*, 1937, Т. 17. № 3. Р. 217).

<sup>51</sup> Полн. собр. русских летописей. Т. I. Стб. 318.

<sup>52</sup> Правда Русская. Т. I. М.; Л., 1940. С. 71, 398.

<sup>53</sup> Афанасьев А. Н. Древо жизни. Избранные статьи. М., 1983. С. 395.

<sup>54</sup> НПЛ. С. 160.

ского сознания. Повествуя о событиях в Новгороде, он приписывает слова, сказанные в момент экзекуции, не Перуну, а бесу: «и в то время вшел бяше в Перуна бес, и кричаще: ох, ох мне, достахся немилость вым сим рукам». Любопытна и другая деталь, с палицей Перун: «Плови сквозе великий мост, верже палицу свою на мост, его же нынешний безумний убивающиеся утехи творят бесом»<sup>55</sup>. Здесь отразились очень интересные сведения, связывающие с палицей Перуна целый комплекс языческих представлений. Во всяком случае, палица эта областет, как видим, сверхъестественной силой.

Вслед за расправой над Перуном последовала процедура крещения. Не будем гадать о том, что думали киевляне, когда стояли в днепровской воде, но не будет натяжкой предположить, что и этот ряд не воспринимался ими болезненно, а лежал в русле языческих обрядностей. Известно, что в славянском язычестве вода играла большую роль. Купание применялось и в качестве средства, вызывающего дождь, широко был распространен культ воды<sup>56</sup>.

Приведенные факты позволяют прийти к выводу о том, что христианская религия принималась на Руси как бы в языческой оболочке, язычеством были проникнуты действия Владимира и в целом киевской общины. Введение христианства было лишь звеном процесса развития религиозных реформ на Руси X в. и рассматривалось как очередная смена божества в духе существующих языческих представлений.

<sup>55</sup> Псковские летописи. Вып. 1. М.; Л., 1941. С. 9.

<sup>56</sup> Фрэзер Д. Д. Золотая ветвь. М., 1980. С. 84—85; Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси... С. 681.

**В. И. Козлов, О. Д. Комарова,  
В. В. Степанов, А. Н. Ямков**

## **ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ РУССКИХ СТАРОЖИЛОВ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ**

**[середина XIX—XX в.]**

Процессы, происходившие и происходящие в этнических группах, которые в результате миграций попадали в непривычные для них природные условия и вступали в контакты с этносами, существенно отличающимися от них в социально-экономическом и культурном отношениях, давно уже привлекают внимание этнографов, антропологов и специалистов многих других общественных и естественных наук. Каждая из научных дисциплин преследует при этом свои интересы, но все они так или иначе смотрят на объект исследования как на своего рода эксперимент, поставленный самой историей, относительно возможности физического выживания и сохранения социо-культурного единства таких групп в новых для них средовых или экологических условиях путем приспособления или адаптации к этим условиям.

В нашей стране с ее огромной территорией, разнообразной в природном и этнокультурном отношениях, а также значительным развитием миграционных процессов как в прошлом, так и в настоящем, исследования такого рода имеют существенное научно-теоретическое и практическое значение. Одним из наиболее перспективных объектов изучения закономерностей процессов адаптации, несомненно, являются многочисленные локальные группы русских, возникшие в результате разновременных переселений в самых различных районах: от Закавказья и Средней Азии до побережий полярных морей и Тихого океана.

До недавнего времени исследования адаптации переселенческих групп к новой среде обитания проводились спорадически, их проблема-

тика не была определена достаточно четко. Прогрессу научных разработок в этой области должно способствовать формирование в СССР новой научной дисциплины — этнической экологии, одна из важнейших задач которой — изучение традиционных систем жизнеобеспечения и воспроизводства этнических групп, а также способов их адаптации к новой среде обитания<sup>1</sup>. Многие относящиеся к этой тематике вопросы разработаны пока еще слабо. В частности, это касается узловой проблемы определения степени адаптированности той или иной этнической группы к природной среде. Поскольку основным средством небиологической адаптации является культура, представляется логичным оценить полезность каждого ее элемента, прежде всего хозяйства и материальной культуры, в том числе сезонной одежды и обуви, поселений и жилищ, пищи и др. применительно к природным условиям (высоте местности, температуре и влажности воздуха и т. д.). При этом так или иначе приходится «выходить» на биологию человека, учитывая не только удобство или комфортность конкретных элементов культуры, но и их позитивное или негативное воздействие на здоровье, различные виды заболеваний (простудные, инфекционные и др.) и в конечном счете на смертность как в среднем по всей популяции, так и в различных поло-возрастных группах.

Вообще процессы этнокультурной адаптации к новой среде обитания имеют комплексный и многоуровневый характер. Затрагивая по существу все сферы культуры и быта поселенцев, они проявляются также в психологических, демографических и медико-биологических особенностях, но с различной интенсивностью и неодновременно; более того, процессы приспособления в отдельных сферах жизни отличаются известной автономностью. Поэтому мы считаем нецелесообразным оценивать адаптированность культуры переселенцев и их потомков каким-то единым сводным показателем. Напротив, к изучению указанного аспекта надо подходить дифференцированно и точно определять ту область, на которую распространяются полученные выводы о характере адаптации.

Наши материалы относятся к русским старожилам Закавказья, исследование которых было начато нами в 1986 г.<sup>2</sup> С учетом обширности и разнообразия собранных сведений имеет смысл разделить их анализ на две части (статьи), первая из которых посвящена адаптации в расселении, хозяйстве и демографических процессах у названных групп русского населения в Азербайджане, с территории которого и начались наши исследования.

Следует отметить, что в формировании русских переселенческих групп Закавказья очень важную роль сыграл религиозный фактор. Первую массовую волну поселенцев составили сектанты, большей частью молокане и духоборы. Эти секты, возникшие и распространившиеся на юге Европейской России в конце XVII — середине XVIII в., в чем-то напоминали ранние протестантские общины. Подобно им, духоборы и молокане выступали против засилия официального духовенства и церковных форм общения верующих с богом, считали, что каждый самостоятельно может понимать Священное писание, не прибегая к посредничеству священнослужителей. К этому присоединилось первоначальное отрицание духоборами и молоканами светской власти, активное восприятие (особенно духоборами) христианской заповеди «не убий!» и связанный с этим отказ от службы в армии<sup>3</sup>.

Самодержавие и православная церковь предприняли против этих сект ряд репрессивных мер, в частности — высыпали сектантов в отдаленные районы страны, главным образом в Закавказье. Тем самым царское

<sup>1</sup> См. Козлов Б. И. Основные проблемы этнической экологии//Сов. этнография. 1983. № 1.

<sup>2</sup> См.: Полевые материалы авторов (Архив Ин-та этнографии АН СССР: Материалы Азербайджанского этноэкологического отряда. 1986 г.; Материалы Комплексной межинститутской этноэкологической экспедиции по изучению русских поселенцев на Кавказе. 1987 г.).

<sup>3</sup> См. Федоренко Ф. Секты, их вера и дела. М., 1965.

правительство решало не только задачу территориального разобщения нежелательных элементов с более «послушными» крестьянами, но и старалось хотя бы частично укрепить свои позиции в недавно присоединенных к империи районах, освоить их в хозяйственном отношении.

Таким образом, сектанты появились в Закавказье намного раньше других русских крестьян. На территории нынешней Азербайджанской ССР число сектантов стало быстро увеличиваться. Так, уже в 1844 г. в Каспийской обл. существовало 19 селений русских сектантов (8,4 тыс. чел.)<sup>4</sup>, а в 1866 г. в Бакинской и Елисаветпольской губерниях было уже 32 селения (23,4 тыс. чел.)<sup>5</sup>. В последующий период, когда усилился приток русских православных переселенцев в Закавказье, удельный вес сектантов на территории Азербайджана оставался значительным. Так в 1897 году из 49,7 тыс. чел. русского населения сектанты составляли более 60%<sup>6</sup>, а в начале XX в. (когда Закавказье перестало быть местом поселения ссыльных и, в соответствии с новой политикой царского правительства, стало объектом планомерной земледельческой колонизации русскими, украинскими и белорусскими крестьянами) старожилов-сектантов насчитывалось около 45 тыс. или 41% всего пришлого сельского населения<sup>7</sup>.

Однако тяжелые события, последовавшие за революцией 1917 г., особенно начавшиеся в регионе межнациональные столкновения, привели к упадку большинства поселков недавних переселенцев и к их бегству обратно в Россию. Вместе с тем селения сектантов в основном сохранились (этому способствовало их расположение преимущественно в горных местности и лучшая социо-культурная адаптированность к местным условиям). К 1921 г. в Азербайджане из 119 православных сел осталось 55 (около 12,5 тыс. чел.), а из 34 старых сектантских сохранилось 30 (30 тыс. чел.). О судьбе еще восьми православных селений и одного сектантского сведений нет<sup>8</sup>. Кроме того, в результате земельной реформы к 1921 г. возникли новые небольшие сектантские селения — отселки (Ганджийский Чистый Ключ, Левонарх, Беюксюдлю, а несколько позже — Родниковка, Новоастраханка).

Из приведенного беглого обзора этапов заселения русскими территории Восточного Закавказья следует, что для изучения путей и способов этнокультурной адаптации русских переселенцев логично рассматривать материалы именно о русских сектантах, охватывающие более чем столетие — десятилетний период.

Первым поселением сектантов на территории Азербайджана был Кызылшиляк, основанный в 1830 г. духоборами из донских казаков<sup>9</sup>. В 1830—1840-е годы происходил основной приток ссыльнопоселенцев, а в конце 1830-х — начале 1850-х годов число сектантов увеличилось благодаря добровольному переселению молокан и субботников. Однако законодательными актами 1853 г. въезд сектантов в Закавказье был почти полностью прекращен, а в 1890-е годы в связи с поощрением православных переселенцев и совсем запрещен<sup>10</sup>.

Насколько гладко происходила адаптация сектантов на первых этапах освоения края? В конце 1830-х годов на территории Азербайджан-

<sup>4</sup> Рассчитано по: Записка о русских переселенцах-сектантах в Каспийской области. Акты, собранные Кавказской археографической комиссией. Т. 10. Тифлис, 1885. С. 28.

<sup>5</sup> Рассчитано по: Свод статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных из посемейных списков 1886 г. Тифлис, 1893.

<sup>6</sup> Рассчитано по: Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Вып. 61, 63. СПб., 1905.

<sup>7</sup> Рассчитано по: Пространство и население Кавказского края к 1.1.1915 г. //Кавказский календарь на 1916 г. Тифлис, 1915. С. 38—45.

<sup>8</sup> Рассчитано по: Азербайджанская сельскохозяйственная перепись 1921 г. Итог. Т. I. Вып. 1—12. Баку, 1922 (Коммуны и артели за самостоятельные селения не засчитывались).

<sup>9</sup> Записка о русских переселенцах-сектантах... С. 281.

<sup>10</sup> Долженко И. В. Хозяйственный и общественный быт русских крестьян Восточной Армении (конец XIX — начало XX в.). Ереван, 1985. С. 24, 37—38; Исмаил-заде Д. И. Русское крестьянство в Закавказье. 30-е годы XIX — начало XX в. М., 1985. С. 112.

было 11 сектантских сел. К 1844 г. четыре из них перестали существовать, зато возникли другие, и общее число их достигло 20. К 1886 г. оказались заброшенными еще шесть селений (в том числе и такое крупное как Топчу, где в 1844 г. проживало 1268 чел.<sup>11</sup>), на месте которых впоследствии обосновались армяне и азербайджанцы. Причина запустения ряда русских селений состояла в основном в неудачном выборе места их расположения. Руководствуясь соображениями удобства для развития земледелия и скотоводства, местные власти стремились размещать русские села на равнинных и предгорных территориях — бывших зимних пастбищах кочевников, не учитывая при этом, что традиционная русская санитарно-бытовая культура, не в пример культуре армян и оседлых азербайджанцев, мало соответствовала условиям жизни в этих субтропических районах. Так, в брошенных поселенцами селах Топчу, Кызылкишляк, Талыш, Аладин, Дудукчи люди страдали от жаркого климата и загрязненной питьевой воды, смертность от малярии и желудочно-кишечных заболеваний была очень высока<sup>12</sup>.

Столкнувшись с этими трудностями, переселенцы через своих ходоков стали выбирать из участков, предлагавшихся правительством, территории, преимущественно в среднегорной, наименее заселенной полосе (от 800 до 1600 м над уровнем моря). Это были казенные земли — леса или горные луга, используемые местным населением как весенне-осенние пастбища. Ходоки стремились найти благоприятную среду обитания (нежаркое лето, чистая питьевая вода, отсутствие малярии)<sup>13</sup> с привычными условиями хозяйствования (возможность неорошающего полеводства, наличие летних выпасов у села, близость леса — источника топлива и строительных материалов). Новые переселенцы, прибывавшие непосредственно из России, учитывали такой опыт и оседали поблизости от благополучных русских сел. Впрочем, ошибки случались и на этом этапе, и тогда поселенцы спустя некоторое время переносили свое село на выбранное ими самими более удобное место. Такова, например, история сектантских селений Хильмилли, Новосаратовки, Новогореловки, Ивановки.

Таким образом, формирование схемы размещения русских старожилов в Азербайджане прошло два этапа: 1) период «проб и ошибок», когда преобладало поселение ссыльных сектантов в местах, определенных администрацией края (1830-е — начало 1840-х годов); 2) время основания большинства современных селений в местах, выбранных ходоками из крестьян (1840—1850-е годы). В середине 1880-х годов уже сложилась основа нынешней схемы размещения селений русских сектантов, причем многие из ранних поселений к этому времени были давно покинуты. Возникли три хорошо выраженных ареала, которые по названиям соответствующих уездов можно именовать ленкоранским (8 селений), шемахинским (8 сел и тяготеющие к ним Ивановка, Карамарьям и Кулулу) и елисаветпольским (6 сел и расположенные поблизости Михайловка и Борисы) (рис. 1). Однако это явно противоречило указу 1832 г., предписывавшему селить русских ссыльнопоселенцев в отдаленных друг от друга местах Закавказья и малыми партиями, «не составляя из них... особой области, дабы они со временем не могли стать вредными»<sup>14</sup>. То, что русские старожильческие селения расположены в местах, удобных для ведения хозяйства, а не там, где желало бы правительство, и то, что они локализованы компактными ареалами, несомненно, свидетельствует об активной адаптации самих поселенцев к природным и

<sup>11</sup> Рассчитано по источникам, приведенным в примечаниях 6 и 10. С. 57, 59.

<sup>12</sup> Записка о русских переселенцах-сектантах... С. 284, 286; Калашев Н. Селение Ивановка//Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Т. 13. Тифлис, 1892. С. 238.

<sup>13</sup> В Закавказье малярия фактически не встречалась на высотах 900 м и полностью отсутствовала выше 1200 м; на высоте же менее 300 м над уровнем моря опасность заражения была практически повсеместной. См. Пантиюхов И. И. Влияние малярии на колонизацию Кавказа//Кавказский календарь на 1899 г. Тифлис, 1898. С. 37.

<sup>14</sup> Цит. по: Долженко И. В. Указ. раб. С. 23.

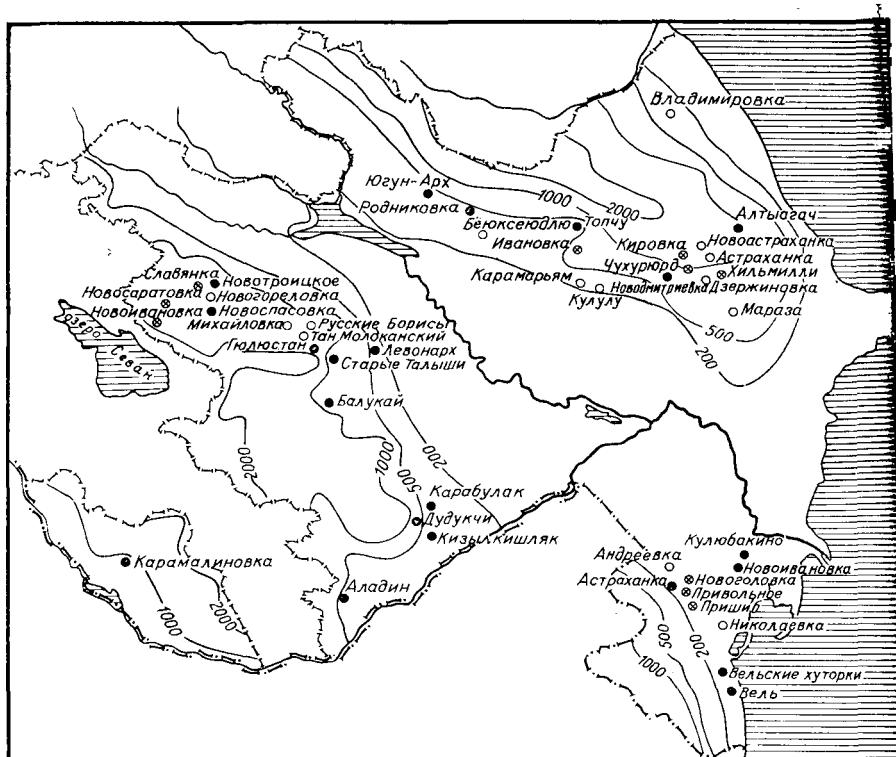


Рис. 1. Размещение селений русских старожилов-сектантов на территории Азербайджанской ССР

Условные обозначения: светлый кружок — села, в которых проживает русское население; перекрещенный кружок — в том числе обследованные селения; темный кружок — села, из которых выбыло русское население

Кроме того, не удалось локализовать селения Гиряки (1834—1844 гг.) и Чистый Клы (1920—1970-е гг.)

социо-культурным условиям Азербайджана, а не является итогом колониционной политики властей.

В природно-экологическом отношении большинство русских сектантских сел, как уже указывалось, располагались в горной местности. Так, все елисаветпольские селения (в последней четверти XIX в. 5,2 тыс. чел.) относятся к среднегорным (1150—1550 м над уровнем моря). В шемахинском ареале преобладали селения, расположенные в верхней части низкогорной полосы (800—950 м — пять сел; 5,7 тыс. чел.) и в среднегорной полосе (1000—1350 м — четыре села; 4,6 тыс. чел.); лишь два селения (215 чел.) находились в равнинной зоне. Только ленкоранские селения (6,6 тыс. чел.) располагались на предгорной равнине — одной из немногих в Азербайджане, сравнимой по степени увлажненности горной зоной<sup>15</sup>. С ландшафтной точки зрения горные села разместились в поясе широколиственных лесов с достаточно плодородными горными бурыми и коричневыми, а на месте послелесных степей — черноземными почвами. Несмотря на довольно значительную высоту над уровнем моря, почти все эти русские селения расположены в платообразной холмистой местности. Равнинные же села находятся в сухо-степных слегка всходимых ландшафтах. Всего, по нашим подсчетам, русские старожилы освоили около 20 различных типов ландшафтов Восточного Закавказья, многие из которых совершенно не характерны для мест прежнего обитания первых поселенцев.

В выбранной поселенцами местности определение конкретного места положения села зависело в первую очередь от обеспеченности питьево-

<sup>15</sup> Карта типов ландшафтов АзССР. 1 : 600 000. М., 1978.

водой и, в горах,— от ориентации склона по сторонам света. Для русских селений в горах Азербайджана характерно расположение на юго-восточных «солнечных» склонах. Этот факт на первый взгляд трудно объяснить, поскольку условия теплообеспечения на пологих склонах разной экспозиции различаются слабо. Более раннее начало вегетации на таких «пригревах» также не объясняет их первоочередного заселения, так как до коллективизации поселенцы использовали усадебные участки в основном как хозяйственныe дворы. Поэтому данный факт скорее связан с устойчивой традицией располагать передние или боковые фасады домов в юго-восточном направлении, не нарушая уличного плана в условиях пересеченного рельефа. В зависимости от того, какой из фасадов должен быть ориентирован «на солнце», улицы или ряды домов располагаются в субширотном, либо субмеридиональном направлении. Конкретный рисунок планировки развивался уже с учетом местных экологических условий. Первоначально застраивались лучшие участки. В связи с этим оптимально ориентированная улица с наиболее благоприятным сочетанием рельефа, качества земли и условий водообеспечения — чаще всего наиболее старая в селе и одна из самых длинных, широких и плотно застроенных. Обычно она имеет соответствующее название: Большая, Длинная, Красная и протяженность ее не менее километра. Если ее рост по какой-либо причине был ограничен, то развивалась вторая линия застройки, чаще всего параллельная первой, а также более короткие — перпендикулярные линии. В итоге русские селения Азербайджана имеют в основном вытянутую и редко — квартальную планировку.

Ныне разнообразие экологических условий селитебных территорий оказывается и на этнических аспектах размещения населения в старожильческих русских селениях. Иноэтническое большинство в них составляют азербайджанцы, стремление которых поселиться в более благоустроенных русских селениях усилилось в 1960-е годы. Об этом процессе речь пойдет далее; отметим лишь, что азербайджанцы, поселившись здесь недавно, в основном живут в новостройках по окраинам сел и занимают несколько худшие территории. В исторических центрах таких селений пока преобладают русские, хотя процесс замещения их азербайджанцами неуклонно усиливается.

Адаптация русских переселенцев к новой среде проявилась и в способах водообеспечения. Традиционные методы (колодцы, запруды, отводные канавы) сочетались с новыми заимствованными приемами. Ярким примером последних служит распространившееся среди поселенцев строительство водоводов (*кюрябянд* — узкая канава глубиной до 0,5 м с выложенными камнем стенками и перекрытием, засыпанная сверху землей), доставлявших в села воду из родников с окружающих возвышенностей. Несовершенство конструкции таких устройств, однако, обусловливала значительные потери воды и ограничивало протяженность этих водоводов 1—1,5 километрами. Поэтому для снабжения селения одного, даже высокодебитного источника было недостаточно; обычно строили несколько водоводов, протянутых к селу с разных сторон. Вода выходила из *фонтала* (каменной вертикальной стенки) и накапливалась в служившем для водопоя скота каменном «корыте»; их обычно покупали у коренного населения. Водоводы-кюрябянды, кстати сказать, были заменены трубопроводами лишь в последние 10—15 лет. При этом контроль за водоснабжением со стороны жителей резко снизился, что привело к ухудшению качества питьевой воды.

Среди неблагоприятных экологических последствий традиционного уклада жизни можно отметить состояние сельских улиц. Старинные улицы, как правило, широкие (до 20 м и более), что было необходимо для разъезда фургонов и провоза громоздких плугов, прогона многочисленного скота, из соображений пожарной безопасности и т. д. В горах такая утрамбованная поверхность быстро размывается и обычная улица средних размеров вскоре превращалась в эрозионную поверхность площадью в несколько гектаров. Если учесть, что общая площадь всех

улиц селения была примерно равна площади усадеб, то становятся ясны каким источником пыли и грязи являются улицы.

Сельское кладбище устраивалось всегда отдельно от жилой зоны по возможности на возвышенном месте, обращенном, как и все село, на юго-восток. В дальнейшем с ослаблением роли общины в социальной жизни поселенцев неконтролируемый рост застройки привел почти к полному включению кладбищ в территорию жилой зоны. Если принять во внимание, что возвышенности, на которых расположены кладбища, имеют неглубоко залегающий глинистый водоупорный слой, до которого углубляются и сельские колодцы, то станет очевидным, что пренебрежение традиционными нормами взаиморасположения жилья и кладбищ также приводило к неблагополучной санитарной обстановке.

Формы жилых построек в большинстве русских старожильческих сел Азербайджана во многом близки и отражают традиции южнорусских губерний. Первоначально поселенцы возводили деревянные срубы из распиленных вдоль дубовых бревен. Выборочное использование древесных пород повлекло за собой замену состава близлежащих лесов (дубовых на буковые или грабовые), а затем и полное сведение окружающих высокоствольных лесов, граница которых на сегодняшний день отодвинулась от русских селений в среднем на 10—15 км. К концу XIX — началу XX в. в малолесных местах на смену срубным постройкам пришли *турлучные* — каркасные, с применением опорных столбов, жердей, глины и самана, а также (в редких случаях) постройки из сырцового кирпича. Камень не стал основным строительным материалом. И этому есть свои причины: в сейсмоопасном районе рубленые каркасные постройки более надежны, кроме того при выборе строительного материала определенную роль играют и сложившиеся стереотипы — представления русских о том, что в каменных домах азербайджанцев зимой более сыро и холодно. Но в действительности различия микроклимата связаны с особенностями системы отопления и планировки.

Русские Азербайджана в основном возводили дома на фундаменте (угловые тесаные камни — под срубами, окатанные речные камни с песком и глиной — под всей площадью каркасных построек). Это было связано с необходимостью защиты дома от влаги и движения поверхностных вод при обильных осадках. Кроме того, фундамент был необходим и для строительства подвалов. В связи с этим приемы домостроительства дополнили установка опорных столбов, поддерживающих свод подвала, которая удивительно напоминает системы опор в архичном жилище азербайджанцев — *карадаме*, и настил двойного пола для защиты от подвального холода. Пол по традиции делали «земляным» — глинобитным, подмешивая в глину саман и лошадиный навоз; его регулярно посыпали речным песком и подметали. Такой пол и теперь еще не редкость, особенно в селах, где дома турлучные. В холодное время года даже в протопленной комнате от глинобитного пола веет холодом.

Крыши домов в подавляющем большинстве делались двускатными (в начале XX века — mestами даже на самцах, а чаще — стропильными) с соломенным, позже — черепичным покрытием. Производство черепицы было наложено практически во всех крупных русских селах. С 1930-х годов широко распространяется строительство «галерей» — балконов и навесов. Происхождение таких галерей в домах старожилов сложно: по своим конструктивным особенностям они самобытны, а по внешнему виду — похожи на веранды кавказских жилищ. Однако по микроклиматическим показателям они уступают традиционным *эйванам* в жилищах азербайджанцев.

Внутренняя планировка и устройство жилья мало чем отличались от южнорусских. Дом состоял из передней — жилой комнаты, соединенной с задним хозяйственным помещением сенями. В прошлом русская печь располагалась в жилой комнате по диагонали от переднего (красного) угла, устремленного ко входу. Окон обычно бывало четыре: два с торцов

вой стороны, выходящей на улицу, и два по боковому фасаду. В дальнейшем происходила не столько перепланировка жилья, сколько смена функциональных назначений его отдельных частей. В частности, заднее помещение стало жилым, сени — кухонным и, частично, жилым помещением. Соответственно по иному располагают и печь — в сенях, в задней комнате, либо ставят две печи — и в передней, и в задней комнатах. Переднее помещение, таким образом, становится «чистым» — парадной половиной, сохраняемой для гостей (как в общекавказской традиции).

Особенно четко адаптивные процессы проявились в хозяйстве русских поселенцев. Из-за тягот долгого пути мигрантов (а они двигались на подводах) доставить свой скот и семена из России в большинстве случаев им не удавалось (исключением были лишь некоторые сорта семян гречихи). Поэтому в Закавказье местные власти выдавали им рабочий скот, орудия и семена или деньги на их приобретение. С самого начала поселенцы в достатке наделялись землей, а с 1849 г. действовал указ о предоставлении каждой русской семье 30—60 десятин, что превышало норму землеобеспечения коренного населения<sup>16</sup>.

Сложный религиозный состав большей части сектантских селений, явившийся следствием специальной политики властей<sup>17</sup>, почти не скрывался на хозяйственной жизни. На рубеже XIX—XX в. сельская община имела выборного старосту (обычно из последователей численно преобладавшей конфессии) с помощниками и повсеместно функционировала как единое целое; нигде не было жесткого разделения селений на улицы или концы по признаку вероисповедания. Даже кладбище, как правило, было одно, хотя внутри него и выделялись участки для захоронения родственников-единоверцев.

Землепользование вплоть до коллективизации сохраняло традиционные черты: лесокустарниковые и пастищные участки были общими, сенокосы делили ежегодно, пахотные земли поступали в передел регулярно (в соответствии с севооборотом), огородные же участки перераспределялись раз в 10—15 лет. Уже со второй половины XIX в. во многих селах стала ощущаться нехватка земель, из-за чего участились случаи аренды или покупки угодий общиной либо отдельными зажиточными хозяйствами у местных беков или в соседних селах.

Попав в новые для них условия, русские поселенцы вначале пытались воссоздать традиционную модель хозяйства, отличавшуюся значительной экстенсивностью из-за обилия земель. В 1844 г. отмечалось, что «сельское хозяйство у переселенцев-раскольников в Каспийской области ведется по принятым их праотцами правилам, ... кроме того, закоснелость их старинных обычаяев, непредприимчивость и отвращение от всякого нововведения овладели ими до невероятной степени»<sup>18</sup>. Но вскоре пришло, видимо, осознание того, что хотя подобная хозяйственная практика позволила экономически «встать на ноги», она все же мало эффективна и уступает некоторым приемам коренного населения. Поэтому через одно — два десятилетия начался период активных нововведений и заимствований. Так, если в конце 1850-х годов в русских селах «земледелие не могло еще установиться и почти каждый год подвергалось переменам»<sup>19</sup>, то в середине 1880-х годов хозяйство русских поселенцев уже отличалось устойчивостью при определенных локальных вариациях<sup>20</sup>.

<sup>16</sup> Исмаил-заде Д. И. Указ. раб. С. 64.

<sup>17</sup> В 1886 г. из 32 русских селений только 14 были моноконфессиональными: стояорядческое Бель, субботническое Привольное (в котором, кстати, 1% населения составляли евреи, вступавшие в браки с сектантами), четыре духоборческих и восемь юлканских; еще в 18 селах жили молокане, в том числе в четырех — с субботниками и баптистами, в девяти — с субботниками, в трех — с баптистами, в двух — с другими ектантами и православными (см. Свод статистических данных...).

<sup>18</sup> Записка о русских переселенцах-сектантах... С. 287.

<sup>19</sup> Серебряков И. Сельское хозяйство в Елизаветпольском уезде//Зап. Кавказского вида сельского хозяйства. № 5—6. Тифлис, 1861. С. 156.

<sup>20</sup> Богатейшие сведения такого рода содержат «Материалы для изучения экономического быта государственных крестьян Закавказского края». Т. 1—7. Тифлис, 1885—889.

Со второй половины XIX в. хозяйство горных русских селений имело комплексный характер: при ведущем положении земледелия, прежде всего неорошающего полеводства, существенно возросла роль скотоводства, ремесел и извоза. Основу земледелия составляли посевы озимой пшеницы; в значительных размерах выращивали ячмень и просо, сеяли рожь, овес, гречиху, горох и полбю. Преобладали местные сорта хлебов. Посевы ржи и гречихи сократились в 1850-е годы и исчезли после коллективизации. Причиной, видимо, были трудности с обновлением семенного фонда, неудачные условия для выращивания и отсутствие спроса на эти культуры на местном рынке. Высевали также русский лен (на масло и холсты) и подсолнечник («грызовой», т. е. пшеничной) для продажи. Однако в целом хозяйство было практически натуральным.

Система земледелия, в зависимости от обилия и качества пашни, была единообразной, а в некоторых селах с течением времени стала неупорядоченной. В многоземельных селах вроде Ивановки практиковалось выделение половины пашни в залежь — *толоку*, служившую пастью бищем 4—5 лет, а севооборот охватывал оставшуюся часть. Однаком в целом преобладала ориентация на трехполье, принесенное из России Землю поселенцы пахали только плугом, запрягая по 3—4 пары вождей или соединяя пару лошадей и 2—3 пары быков. Обычно старались пахать поперек склона, сохраняя тем почву от эрозии. Важным нововведением стал «майский» пар — замена осенней вспашки на весеннюю давала ряд преимуществ: запахивание молодой травы удобряло землю ее корни, оказавшись сверху, уменьшали смыв почвы от весенных дождей. Кроме того, зимой в морозные, бесснежные и ветреные дни стерня и выросшая к осени трава препятствовали дефляции и они же позволяли избегать сильной эрозии при весеннем таянии снегов. Тем не менее полностью исключить эрозию не удавалось, а она грозила бы странным падением плодородия полей из-за малой мощности горных почв.

Русские поселенцы принесли намного более производительные пы плуга, борон и косы. Местные аналоги уступали им, ибо коса действовала скорее как серп; борона только ровняла землю, не разбивая комьев; тяжелый азербайджанский плуг был сложнее в управлении требовал почти в два раза больше тяглового усилия, чем южнорусский. В то же время и сами сектанты уже в конце 1850-х годов заимствовали некоторые орудия у коренного населения. В частности, они перешли с молотьбе пшеницы и ячменя кавказскими молотильными досками-вэль<sup>21</sup>. По сравнению с использованием цепов это резко снижало трудозатраты (подросток с лошадью мог заменить нескольких мужчин) и к тому же доска, перетирая на мелкие кусочки жесткую и малосъедобную солому, превращала ее в хороший корм для скота. Просо, овес, имеющие мягкую солому, молотили ребристыми катками, в струину — деревянными, а позднее — каменными.

Огородничество также играло важную роль в жизнеобеспечении селенцев. Особое положение занял картофель, прочно вошедший в начале XX в. в полеводство селений, расположенных в горах. Огорода размещались частью у села в поймах речек и орошались канавами и занимали наиболее увлажненные места балок и полей. Однако до коллективизации и связанного с ней превращения усадебных территорий из хозяйственных дворов в огородные и садовые участки поселенцы выращивали все же мало зелени и овощей. Главными огородными культурами были картофель, капуста, огурцы, арбузы, тыква, в то время как репа, свекла и, по религиозным мотивам, лук и чеснок отсутствовали. Впрочем, теперь на приусадебных участках произрастают почти все садовые и огородные растения, типичные для южных групп русских

<sup>21</sup> Серебряков И. Указ. раб. С. 137—139, 162.

<sup>22</sup> Подробнее см.: Grigulevich N. J. Cultural and Ecological Peculiarities of the Traditional Diet of the Russians in Azerbaijan//XII JCAES. Zagreb. July 24—31, 1998. Moscow, 1998.

Садоводство у русских старожилов вплоть до 1920—1930-х годов практически отсутствовало; иногда на усадьбе сажали отдельные плодовые или ореховые деревья. Исключая субботническое Привольное, виноград и виноделие в равнинных и низкогорных селениях появились в 1920—1930-е годы (выше в горах виноград не вызревает). Но окрестные леса, богатые дикорастущими плодовыми деревьями и кустарниками (груши, яблоки, кизил, терн, ежевика, мушмула и т. п.), вполне компенсировали отсутствие у поселенцев садов. В русских селах общиной определялся день начала и участки сбора лесных дикорастущих. Обычен был также обмен русскими поселенцами зерна или картофеля на сухофрукты в некоторых селениях азербайджанцев-садоводов.

В хозяйственной жизни русских поселенцев большую роль играло ремесло: кузнецы, плотники, шорники, кожевники и также мельники и изготовители черепицы работали на местный рынок; одежду и обувь крестьяне делали себе сами. Вплоть до коллективизации большое значение повсеместно имел извоз в крытых конных фургонах.

Однако самые сильные адаптивные изменения произошли в скотоводстве русских старожилов, поскольку в связи со спецификой местных условий значение этой отрасли хозяйства существенно возросло. Так, в ряде селений возникли формы отгонного скотоводства, при которых крупный рогатый скот отгоняли на отдаленные сезонные пастбища: зимой — на равнинные (Чухурюрд, Ивановка), летом — выше в горы (Ивановка). Возникли и временные поселения русских пастухов на зимних пастбищах — «хутора» на отдаленных (30—100 км от села) равнинах и «хоторки» на близлежащих землях (4—6 км от села)<sup>23</sup>. В основе этих глубоких изменений лежало заимствование опыта зимнего выпаса скота у некоторых соседних групп полукочевых овцеводов-азербайджанцев. Однако русские поселенцы сохранили оседлый образ жизни (со скотом уходили только немногочисленные пастухи) и преобладание в стаде крупного рогатого скота.

После Октябрьской революции прежде арендовавшиеся у казны отдаленные зимние пастбища на равнинах перешли в распоряжение сельских общин, и часть их стала делиться между хозяйствами под пашню. Таким образом, в 1920—1930-е годы в ряде селений сложились, в дополнение к присельским, и вторые отдаленные равнинные скотоводческо-земледельческие хозяйственные базы, используемые до сих пор.

Успешность хозяйственной адаптации русских старожилов в Азербайджане находит отражение в увеличении их численности, хотя такая связь не всегда была прямой. Например, уже упомянутое селение Топчу, расположенное на предгорной равнине, еще в 1844 г. считалось одним из экономически наиболее состоятельных, а уже в конце 1840-х годов было полностью заброшено из-за высокой заболеваемости и смертности жителей; высокая заболеваемость была также характерна для зажиточных равнинных ленкоранских селений<sup>24</sup>. Вообще население равнинных русских селений росло медленнее, чем горных. Так, численность жителей шести равнинных русских селений, существовавших в 1844 г., к 1886 г. увеличилась до 4,7 тыс. чел., или на 140%, тогда как население шести горных сектантских сел за то же время возросло до 7,9 тыс. чел., или почти на 315%<sup>25</sup>. По мере приспособления старожилов к условиям жизни на равнинах Закавказья это различие в темпах прироста населения сглаживалось. Однако и к концу XIX в. оно еще было существенным: в 1886—1897 гг. русское сектантское население равнинного ленкоранского ареала выросло только на 8%, а в горных Шемахинском и Елисаветпольском — соответственно на 12% и

<sup>23</sup> Подробнее см.: Yamskov A. N. Environmental Conditions and Ethno-Cultural Traditions of Stock-Breeding (the Russians in Azerbaijan in the 19th and Early 20th Centuries)//XII JCAES. Zagreb, July 24—31, 1988. Moscow, 1988.

<sup>24</sup> Записка о русских переселенцах-сектантах... С. 287; Кофорд А. А. Сельскохозяйственные очерки Закавказья. СПб., 1904. С. 83.

<sup>25</sup> Рассчитано по источникам, приведенным в примечаниях 6 и 7.

18%<sup>26</sup>. Региональное соотношение темпов прироста населения изменилось в пользу равнинных сел только в начале XX в. К 1915 г. прирост русских в ленкоранском ареале составил уже почти 190%, тогда как шемахинском — 130% и в елисаветпольском — около 150%<sup>27</sup>. Прибывающий к 5% среднегодовой рост числа жителей равнинных селений в этот период, при незначительной миграции из России, свидетельствует о большой роли миграции из горных районов. Старожильческие ленкоранские села стали полюсом притяжения для закавказских сектантов более полувека спустя после своего основания. Вероятно, в это сказались как приспособление ленкоранских старожилов к местным природным условиям, так и результаты правительственной программы строительства оросительных каналов, дорог и налаживания снабжения питьевой водой равнинных селений, в связи с государственной потребностью развития здесь хлопководства.

К сожалению, материалы по XIX — началу XX в. позволяют судить лишь о некоторых чертах демографической ситуации того времени, в частности о половом структуре населения. Как следует из статистических источников прошлого века, уже на начальном этапе своего существования, подавляющее большинство русских селений (12 из 19, имеющих к этому времени) характеризовалось нормальным соотношением между полами (в разных селах на 100 мужчин приходилось от 93 до 108 женщин)<sup>28</sup>. Данное явление в целом нетипично для переселенческих групп вообще, в составе которых обычно преобладают мужчины молодого и среднего возраста (яркий пример тому — миграции из Центральной России в период освоения Сибири). Однако особенность русских старожильческих поселений в Закавказье заключалась именно в том, что они формировались в результате перемещения сразу нескольких семей в полном составе, а то и уже сложившихся общин<sup>29</sup>. Достаточно пропорциональная половая структура популяций русских старожилов способствовала быстрой нормализации процесса естественного воспроизводства населения, а наряду с этим являлась своего рода гарантией от необходимости смешанных браков с местным населением, недопустимых прежде по конфессиональным соображениям.

Сведения, имеющиеся в литературе, а также те, что собраны нами в ходе полевых исследований, дают возможность достаточно полно охарактеризовать демографическую ситуацию только в отдельных русских селах. К примеру, известно, что в селе Ивановка нынешнего Исмаиллинского р-на среднегодовой коэффициент рождаемости в период с 1879 по 1888 годы составлял 46,4 родившихся на 1 тыс. чел., т. е. был почти таким же высоким, как у азербайджанцев. При этом коэффициент смертности русского населения, равный 16,4%, был намного ниже аналогичного показателя в азербайджанских селениях и, что особенно важно, — более чем вдвое ниже средней смертности в российских губерниях<sup>30</sup> (что можно расценивать как свидетельство хорошей адаптированности русских переселенцев). По-видимому, такая оценка справедлива и в отношении большинства других сектантских селений. Во всяком случае во второй половине XIX — начале XX в. почти все они (за исключением оставленных из-за явно нездорового климата) характеризовались довольно устойчивым ростом общего числа жителей. По нашим расчетам, среднегодовой темп прироста численности населения до начала 1920-х годов составлял примерно 2—3%.

Общая линия расширенного воспроизводства русского старожильческого населения была прервана событиями, связанными с первой мировой войной и Октябрьской революцией, но уже с середины 1920-х годов

<sup>26</sup> Рассчитано по источникам, приведенным в примечаниях 7 и 9.

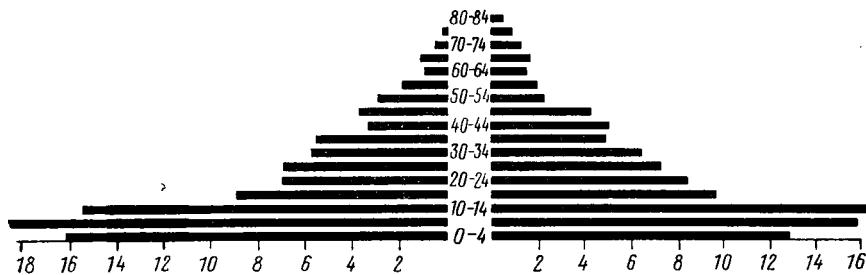
<sup>27</sup> Рассчитано по источнику, приведенному в примечании 8.

<sup>28</sup> Подсчитано по: Записка о русских переселенцах-сектантах... С. 284—285.

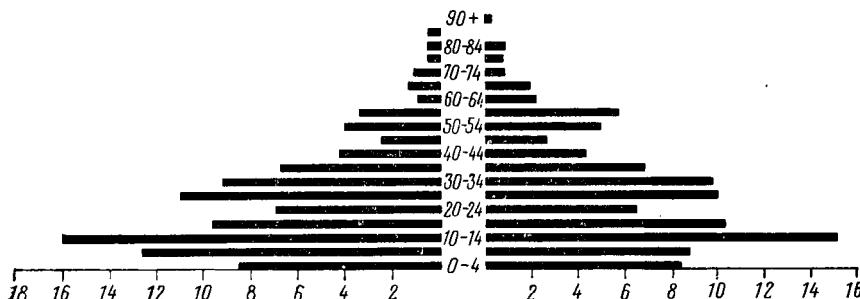
<sup>29</sup> Статистические сводки за 1830—1844-е годы свидетельствуют о примерном разновесии между полами в составе мигрантов из России. См. Записка о русских переселенцах-сектантах... С. 285.

<sup>30</sup> Подсчитано по: Калашев Н. Указ. раб. С. 254—255.

Чухурюрд, 1935



Славянка, 1938



Новоивановка, 1938

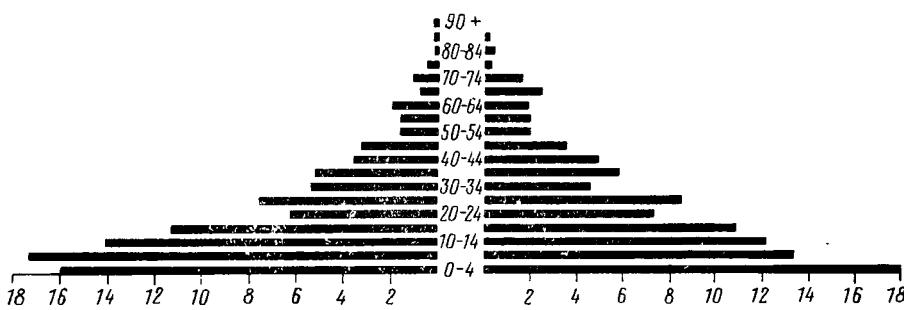


Рис. 2. Возрастно-половая структура населения некоторых русских старожильческих сел Азербайджана (1930-е гг.)

возобновилась. Отсутствие материалов по хозяйственному учету не позволяет детально проследить закономерности демографических изменений в первые годы советской власти и в период коллективизации. Однако в целом можно констатировать, что темпы прироста населения в этот период даже несколько возросли, что, очевидно, связано с существенным сокращением смертности, особенно в детском и среднем возрасте. В середине 1930-х годов для русских сел данного региона типичной была демографически молодая возрастно-половая структура населения, графически изображаемая в виде правильной пирамиды с широким основанием и относительно равномерным сужением кверху (рис. 2). Доля детей до 14 лет составляла 35—45%, а удельный вес населения старше 60 лет не превышал 6%. Кстати сказать, подобные пропорции были свойственны и популяциям азербайджанцев.

Первые серьезные демографические потрясения в русских селениях, непосредственно отразившиеся на современной демографической ситуации, связаны с Великой Отечественной войной. В результате гибели на фронтах значительной части мужского населения во всех селах образовался заметный дефицит мужчин молодого и среднего возраста, и часть женщин лишилась имевшихся или потенциальных супружеских. Кроме того, поколение родившихся в эти годы оказалось очень малочислен-

ным, что впоследствии привело к сужению трудоспособного контингента, а также к образованию когортной волны пониженной рождаемости.

Вместе с тем, неблагоприятные последствия войны накладывались на все более ощутимые сдвиги так называемого демографического поведения. Имеется в виду постепенный переход от традиционного к современному типу воспроизводства населения, характеризующемуся по следовательным снижением смертности и несколько более замедленным снижением рождаемости за счет сознательного регулирования ее на уровне семьи. В русских селах этот процесс начался раньше и проявился отчетливее, чем в азербайджанских. Как показал опрос, еще до войны многие русские женщины прибегали к тем или иным способам ограничения рождаемости, а в послевоенный период подобная практика заметно участилась. Само по себе это не могло представлять особой опасности для русских популяций, но в совокупности с другими фактами серьезно осложнило демографическую ситуацию в старожильческих селениях. Главной же причиной ее ухудшения стал начавшийся в 1950-е годы отъезд русского населения из Азербайджана, совпавший по времени с периодом ускоренной урбанизации (но обусловленный远远 не только ею).

Русское население гораздо активнее азербайджанского включилось в послевоенный процесс урбанизации. Для русских решение о переезде в города с их сложной социальной и национальной структурой облегчалось не только отсутствием языкового и отчасти психологического барьера (поскольку прежняя религиозная обособленность уже утратила силу), но и более высоким, чем у азербайджанцев, уровнем образования и профессиональной квалификации. Вместе с тем анализ миграции показывает, что многие из покинувших русские села в дальнейшем обосновывались не в городах, а в сельской же местности, но на территории РСФСР, в основном в Ставропольском и Краснодарском краях. Таким образом, есть все основания считать, что усиленный отток русского населения вызван не столько притяжением городов, сколько обострением негативных тенденций в экономической и социальной жизни переселенческих сел Азербайджана.

Некоторые из этих тенденций были связаны с упадком сельского хозяйства в годы войны и послевоенный период. Кроме того, с 1950-х годов в обследованных нами селах (и, видимо, в других) русское население стало чувствовать этнокультурную «ущемленность» в результате массового приселения азербайджанцев. В большинстве случаев произошло также объединение русских и азербайджанских селений (как правило, менее развитых в экономическом отношении) в рамках единых сельсоветов, колхозов и совхозов. Вслед за этим при поддержке районного начальства азербайджанцы стали постепенно занимать важнейшие административные и хозяйственные посты, тем самым существенно ограничив возможное социальное продвижение русских. Сформировавшееся в период застоя и нередкое для азербайджанской (как и для среднеазиатской) администрации пренебрежение демократическими методами руководства, а порой и явные нарушения советской законности (система поборов, взяток и т. п.) воспринимаются русским населением не столько как социальное, сколько как национальное ущемление, от которого можно найти избавление лишь в переселении.

В целом неблагоприятное влияние оказал также развернувшийся в 1970-х годах перевод колхозов в совхозы и соответственно замена оплаты по трудодням фиксированными ставками, что с одной стороны, ослабило связь оплаты труда с его результатами, а с другой,—лишив сельчан натуральных видов оплаты, выявило недостаточность доходов при усадебного хозяйства. Вызванный всеми этими процессами растущий отток значительной части русского населения в свою очередь психологически усугубляет и делает еще более неустойчивым положение оставшихся односельчан.

К сожалению, не всегда удается получить точные сведения о количестве выехавших русских из тех или иных районов и отдельных сел

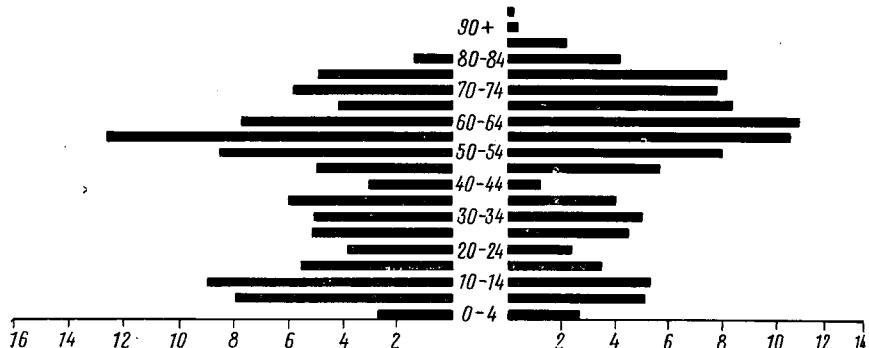
Но думается, помещенные ниже цифры дают представление о том, какой размах приобрела миграция. В настоящее время от некогда полноценной популяции русского села Владимировка Кубинского р-на осталось лишь около сотни жителей, что в три раза меньше даже по сравнению с 1921 годом. В Джалилабадском р-не относительно многочисленные группы русских (приблизительно 500—600 чел.) остались только в селах Привольное и Новоголовка, тогда как еще в 1945 г. в обоих селениях популяции русских превышали 1000 чел. Ныне русские составляют в Привольном примерно половину жителей, а в Новоголовке — лишь менее трети. Столь же велико абсолютное и относительное сокращение русского населения в селах Кедабекского р-на: Новоивановке, Новосаратовке и Славянке. Еще в 1959 г. в каждом из них насчитывалось по 1100—1200 русских (около 60% всего населения), а сейчас их число сократилось до 300—400 и не достигает даже трети всех жителей. Более устойчивыми оказались популяции русских в Исмаиллинском р-не, где нами было обследовано с. Ивановка, и в Шемахинском р-не, где обследовались с. Хильмилли и Чухурюрд. По данным на начало 1987 г. русских насчитывалось в Ивановке 2877 чел. (79,4% всех жителей), в Чухурюрде — 1064 (92,1%), в Хильмилли — 1242 чел. (59,8%). Но эти села являются исключениями в ряду прочих. В целом же численность русского сельского населения по всему Азербайджану сократилась с 61,8 тыс. чел. в 1959 г. до 40,8 тыс. в 1970 г. (со среднегодовым темпом убыли 3,7%) и 27,1 тыс. чел. в 1979 г. (среднегодовой темп убыли ускорился до 4,4%)<sup>31</sup>.

Неуклонное падение численности русского населения сопровождается не менее болезненными структурными изменениями демографической ситуации. Во-первых, в последние 30 лет в результате миграции лиц молодого и среднего возраста произошло резкое сужение репродуктивного контингента. Этот фактор в сочетании с распространившейся практикой внутрисемейного регулирования рождаемости ведет к дальнейшему сокращению числа родившихся. Во-вторых, благодаря сочетанию чрезмерного оттока молодежи и сокращения рождаемости ускорился темп постарения населения, так что уже к 1975 г. доля лиц старше 60 лет в большинстве сел превысила 20%, т. е. почти вдвое превзошла нижний порог известного критерия демографически старого населения. В 1986 г. данный показатель превышает уже 30% даже в наиболее крупных селах. Например, в Чухурюрде он равен 34,9%, в Хильмилли — 35,0, в Славянке — 31,2, в Новоивановке — 37,0 (см. рис. 3). В-третьих, параллельно с общим процессом постарения населения в русских селах усилилось постарение трудовых ресурсов. Если в середине 1930-х годов средний возраст трудоспособного контингента (20—59 лет) составлял около 35 лет, то в настоящее время во всех русских популяциях он уже превышает 45 лет (ср. рис. 2, 3).

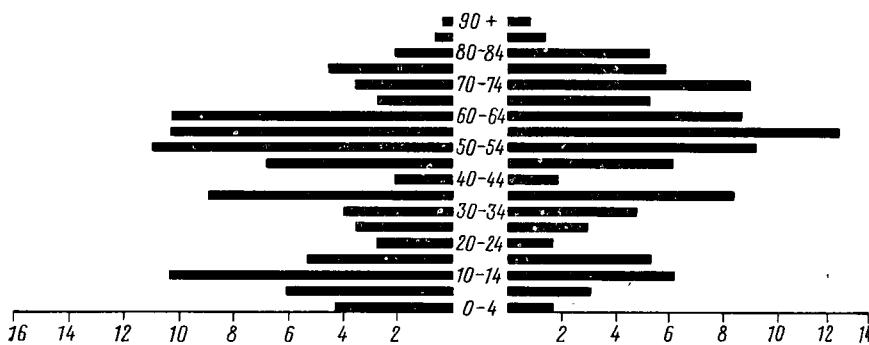
К этому стоит добавить, что сокращение числа молодых людей сочетается с ослаблением у оставшихся чувства хозяйствской ответственности за результаты сельского труда, а следовательно, и чувства привязанности к земле, составляющего немаловажный элемент адаптации. Уже сегодня молодежь стремится занимать вспомогательные участки работ (в сельсоветах, конторах, домах быта, почтовых отделениях, детских садах и на других объектах социально-бытового назначения), которые, в отличие от собственно сельскохозяйственного труда, обеспечивают регулярную круглогодичную занятость и фиксированный заработок, но при этом оторваны от исконно крестьянских забот. В итоге молодое поколение все больше и больше теряет стимулы оставаться в родном селе. Характерно, что на определенном этапе вступает в силу обратная связь. С одной стороны, миграция молодежи из сел и вызванное ею постарение населения отрицательно оказывается на развитии экономики и инфраструктуры, ведет к сужению спектра культурной

<sup>31</sup> Данные переписей соответствующих лет см.: Мамедов К. В. Население Азербайджанской ССР за 60 лет. Баку, 1982. С. 58.

Чухурюрд, 1986



Славянка, 1986



Новоивановка, 1986

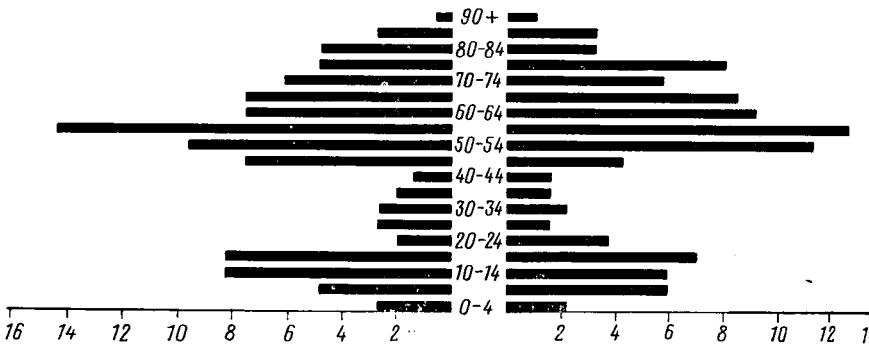


Рис. 3. Возрастно-половая структура населения некоторых русских старожильческих сел Азербайджана (1986 г.)

жизни. Но с другой стороны, сама по себе замедленность социально-экономических преобразований становится причиной неудовлетворенности уровнем жизни и тем самым способствует дальнейшему оттоку населения, — круг замыкается.

Остается только сожалеть, что в подавляющем большинстве русских сел Азербайджана негативные изменения демографической ситуации в настоящее время набрали полную силу и, вероятнее всего, уже необратимы. Во всяком случае, в ряде селений ломка нормальной возрастной структуры населения уже привела к депопуляции, а в остальных селениях угроза депопуляции при сохранении современных тенденций демографического развития может стать реальностью в не столь уж отдаленном будущем. Например, даже в одном из наиболее «благополучных» в демографическом отношении сел, каким является Чухурюрд брутто-коэффициент воспроизводства населения, стандартизованный по возрастной структуре 1935 г., уже многие годы меньше единицы.

Исходя из сказанного, нынешнюю демографическую ситуацию в русских селах Азербайджана приходится расценивать как проявление своего рода «вторичной» дезадаптации русских популяций к социальной среде. Вместе с тем пример развития с. Ивановки Исмаиллинского р-на дает основания полагать, что подобный исход не является фатально предопределенным. В 1953 г. на пост председателя колхоза в Ивановке был выбран сравнительно молодой и энергичный фронтовик Н. В. Никитин, которому удалось наладить разваливающееся хозяйство, сплотить колхозников, повысить их благосостояние. В 1970-х годах ивановский колхоз им. М. И. Калинина выдвинулся в число образцовых хозяйств республики. Думается, оздоровление создавшейся ситуации возможно в Чухурюрде и некоторых других местах. Немалый эффект могли бы принести, скажем, такие меры, как: возврат к прежней системе обеспечения сельчан сеном и кормами для содержания домашнего скота и птицы; организация продажи мясо-молочных продуктов хотя бы по кооперативным ценам; контроль за строгим соблюдением финансовой дисциплины и налаживание демократических принципов управления; усиление внимания и материальной помощи молодым семьям, имеющим детей; более рациональное использование трудовых ресурсов, особенно работников молодых возрастов, в течение года. По-видимому, решению вопроса о трудоустройстве молодежи и закреплении ее в селе способствовало бы строительство там, где это окажется экономически рентабельным, местных промышленных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. В тех случаях, когда русские села расположены поблизости от районных центров (как, например, Славянка, удаленная на 12 км от Кедабека, или Чухурюрд, расположенный на таком же расстоянии от Шемахи), возможно, оказалось бы полезным развитие промышленной и социальной базы самих центров, которые служили бы сферой приложения труда для жителей окрестных сел. Подобные примеры можно обнаружить в соседней Армении, где русские села Лермонтово и Фиолетово являются, по существу, спутниками районного центра Кировакала, что заметно сдерживает отток из них трудовых ресурсов.

При любых обстоятельствах решение демографических проблем русских поселений необходимо увязывать с общим оздоровлением нынешней социально-экономической ситуации в Азербайджане, а также с учетом национальных интересов всех проживающих там народов.

Завершая краткое рассмотрение этапов адаптации сравнительно небольших групп русского населения на территории Азербайджана и связанных с этим наиболее важных, с точки зрения жизнеобеспечения, изменений в их материальной культуре и воспроизведстве населения, отметим, что в своей публикации мы сознательно стремились избегать скороспелых теоретических обобщений. По мере столкновения со многими трудностями конкретных исследований в области этнической экологии мы еще и еще раз убеждались, что распознать принципы, механизм того или иного явления куда более сложно, чем предположить, к чему это явление может привести. Для вскрытия механизма этноэкологической адаптации необходимы систематические комплексные исследования, включающие помимо представленных читателю материалов, данные об изменениях социальной и конфессиональной структуры групп русского населения и перемены в их социальной, этнической и религиозной психологии, а также и многое другое, о чем будет сказано в последующих публикациях. Только тогда будет возможно представить целостную модель адаптации русского населения в условиях Кавказа, в которой каждый из параметров будет не только достаточно исследован, но и соотнесен со всеми остальными.

**ОБРЯДЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА  
И СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ.  
СЕМЬЯ И ДЕТСТВО \***

Главная тема этого конгресса — «Жизненный цикл» — сначала очень затруднила меня, даже вызвала какое-то чувство неловкости: уж слишком она напоминает «добрые старые времена» «фольксунде», когда материал подразделялся на «обряды и обычай годичного цикла» и «обряды и обычай жизненного цикла». Тогда исследователю приходилось ощупью пробираться от одного классического жизненного этапа к другому — от колыбели до гроба: беременность, рождение и крестины, детские игры и поступление в школу, первое причастие и конфирмация, юношеские объединения — буршнешафты, девичество, любовь, обручение и свадьба; наконец, последний этап — на много страниц, а вслед за тем длинный перерыв до болезни, смерти и похорон.

Почему формула «Обряды и обычай жизненного цикла» так безнадежно устарела? Сначала кирпичикам, объединенным этим названием, не хватало точной временной шкалы, т. е. исторического измерения. Имеется в виду не точная датировка, а скорее — связь обычая и обрядового поведения с определенной, ограниченной социально-историческими рамками системой правил.

Старая «фольксунде» исходила из представления о стабильном, стандартизованном «жизненном пути», не рассматривая его ни в диахронном разрезе, ни в свете синхронной социальной дифференциации. Мы обязательно должны будем ставить эти вопросы, так как, описывая жизненный цикл, мы выявляем информацию, переданную определенной системой знаков. Обычно эти знаки соответствовали доиндустриальной эпохе, в которой жизнь индивидуума была сориентирована на нормы семьи и группы и зафиксирована обрядовыми санкциями. Средоточием таких представлений был постоянно повторяющийся в народной графике знак — лестница жизни. Отдельные ее фазы представлены в виде ступеней и твердо определены, так что не спутаешь — внешность и поведение 20, 30, 40-летних и т. п.<sup>1</sup> На лубках XIX в. эти фигуры, как видно по одежде и манерам, изображают людей буржуазного сословия, что должно усилить впечатление о прочности общественной системы, хотя подобные притязания становились все менее реальными, поскольку новые формы индустрии и сельского хозяйства влекли за собой непрерывное социальное движение и региональную мобильность. Повышение престижности понятия «бюргер», образованного от слова «горожанин», «буржуа», объяснялось тем, что эти термины означали имущих; снижение понятия «неимущий» до «пролетария», изобретение некоего четвертого сословия — все это показало, сколь обветшала уже сословная лестница. В мире современности выросло значение отдельной личности, чаще всего стремящейся уйти от стабильных правил своей локальной общности и считать их устаревшими.

Процессы социальных изменений в разных слоях общества происходят не одновременно<sup>2</sup>. Так, например, в городской семье уже в XIX в., начиная с так называемой индустриальной революции, постепенно утверждается и вместе с тем освобождается индивидуальность; в деревне же система патриархальной семьи, ведущей совместное хозяйство, где один зависит от другого, существовала еще очень долго и в нашем веке. Это означало жесткую зависимость от норм поведения, но вместе с тем и надежность густой сети связей и ментальностей.

\* Доклад на III конгрессе Международного общества этнологии и фольклористики Европы, проходившем 8—12 апреля 1987 г. в Цюрихе.

<sup>1</sup> Die Lebensstreppe. Bilder der menschlichen Lebensalter. Eine Ausstellung des Landschaftsverbandes Rheinland. Bonn, 1983.

<sup>2</sup> Weber-Kellermann I. Landleben im XIX. Jahrhundert München, 1987.

Мы подчеркиваем историчность феноменов, сопровождающих различные стадии жизненного цикла, и не столько ради выяснения их культурно-исторического генезиса, что, разумеется, тоже важно, сколько ради исследования их социальной обусловленности, социального контекста, в котором они функционируют. И тем самым мы подошли еще к одному пробелу в прошлом науки: я имею в виду пренебрежение к смыслу и значению поведения, определяемого ментальностями лиц, участвующих в управлении обряда, с характером механизма их функциональной самоидентификации<sup>3</sup>. Это означает исторический подход, выходящий за рамки отдельных феноменов, понимание культурных ценностей как ценностей символических, составных элементов кода, механизма которого воспринимается на уровне ментальности. Одновременно это что-то говорит нам и о механизме действия самой традиции.

Когда я перехожу к рассмотрению источников, имеющихся в распоряжении исследователя культуры, приступающего к интерпретации этапов маркировки жизненного цикла, то поначалу кажется, что им нет конца. Тут и этнографические атласы — немецкий, швейцарский и австрийский; есть, конечно, множество опубликованных и неопубликованных местных архивов, которые дают сведения прежде всего о поведении сельского населения. Но наряду с этими традиционными материалами, в качестве источников выступают и устные воспоминания, мемораты (*oral history*), а также опубликованные автобиографии и воспоминания, в которых можно найти сведения, типичные для какого-то времени или какой-то социальной или возрастной группы.

Обширный материал о жизненных этапах дает и этнографическая иконография. Имеются в виде портреты, причем изображения используются вне зависимости от их художественного качества; важно лишь передаваемое ими сообщение, прочтение и расшифровка которого является важной задачей нашей науки. В рассматриваемом случае, для темы «Жизненные этапы», пригодны как картины, так и фотографии, сопровождающие жизненные этапы<sup>4</sup>. Знаменательна сама традиция фотографирования — посещения фотографа на переломных этапах жизненного пути, а также обычай хранить эти фотографии как памятный документ в семейном альбоме и дарить их родственникам и друзьям. По утверждению Бурдье, речь здесь идет о моментах жизни, выделяющихся своей праздничностью; об этом говорит даже сама поза на фотографии. Так, например, в старину в крестьянской среде эстетическим принципом фотокомпозиции для свадебной пары был застывший анфас<sup>5</sup> (сосредоточенная шаблонная поза со взглядом, направленным прямо в линзу, на фотографа как заместителя всех будущих созерцателей фотографии); это избавляло также от опасения выглядеть неловко перед фотообъективом. Тем самым были соблюдены и нормы приличия. На этих старинных фотографиях действовали эстетические и социальные нормы, противоположные «естественноти» и непринужденности, которых добиваются современные городские фотографы. Несмотря на то что обычай фотографироваться появился в деревне гораздо позже, чем в городе, он держался там гораздо дольше (фиксировались решающие моменты жизненного цикла); именно в сельских условиях сложилась специфическая эстетика фотографий в контексте принятой здесь системы символов: фотографируемый не застигнут врасплох, а становится в позу, глядит прямо в камеру, стоит во весь рост с сознанием своего достоинства в центре фотографии на определенном расстоянии от фотографа<sup>6</sup>.

После этого краткого обзора источников вернемся к нашей теме. Понятие «жизненный цикл» подразумевает, как мне кажется, систему жиз-

<sup>3</sup> Weber-Kellermann I. Saure Wochen — Frohe Feste. Fest und Alltag in der Sprache der Bräuche. München, 1985. S. 10 ff.

<sup>4</sup> Korff G. Kultur//Bausinger H., Jeggle U., Korff G., Scharfe M. Gründzüge der Volkskunde. Darmstadt, 1978. S. 29.

<sup>5</sup> Bringeus N. Volkskundliche Bilderkunde. München, 1982. S. 14 ff.

<sup>6</sup> Bourdieu P. u. a. Eine illegitime Kunst. Die sozialen Gebrauchsweisen der Photographie. Frankfurt, 1983. S. 90 ff.

ненных правил на различных этапах, причем эти правила существовали варьировали в разных исторических и социальных средах и, конечно, они всегда проявляются в индивидуальном поведении. Жизнь современного человека делится обычно, как отметил Коли, на три жизненных этапа, в основе которых лежит отношение к трудовой деятельности: подготовительная фаза (детство и юность), фаза активности (взрослая жизнь) и фаза отдыха (время старости, пенсионное время)<sup>7</sup>. При таком классификации наиболее разрушительным фактором выступает безработица, так как она приводит к насильственному нарушению нормы, чаще всего те, кого она коснулась, преодолевают ее с большим трудом, не говоря уже о материальной нужде.

В городской семье прединдустриального периода, а в сельской местности достаточно долго и в нашем столетии отрезки жизненного цикла были индивидуализированы куда меньше, чем в современном обществе. Выражалось это в большой роли обычных, регулировавших поведение коллектива. Структура ступеней жизненного цикла определялась общечеловеческими возрастными границами, и люди, принадлежавшие к определенной возрастной когорте, двигались все вместе с одной ступеньки на другую, причем для всех наступали похожие или одинаковые изменения. Признаки возрастных ступеней, границы дозволенного и запрещенного твердо установлены, и их отличия проявляются в коллективном, а не индивидуальном сознании. Таким образом, весь ход жизни в таком же индустриальном обществе выглядел как заранее установленная программа, как план, выросший на базе этого общества и почти не оставлявший простора для индивидуальных действий. В современности новые социальные условия открывают возможности свободного развития собственной индивидуальной биографии. Но в силу укоренившихся представлений о привычном делении на ступени жизненного цикла возникло неизменное соответствие между традиционными механизмами и их индивидуальными преодолением<sup>8</sup>. Обширное поле специальных связей, отличающееся разнообразием во многих направлениях структурой, является фоном для всех этапов жизни человека и требует поэтому весьма дифференцированного рассмотрения. Но это еще непочатое поле!

Поэтому мне придется ограничиться одной жизненной ступенью — детства до отрочества. Но так как невозможно коснуться всех сторон даже ограниченного этим периодом поля исследования, я приведу лишь ряд примеров, с помощью которых постараюсь наглядно представить историческую и социальную дифференциованность нашей основной темы. К принятым в науке крупным научным категориям: историческому времени, социальной приуроченности, половой дифференциации — добавлю еще и субъективно-психологический момент: о чем вспоминает отдельно взятая личность, если попросить ее восстановить самые впечатляющие моменты детства? И сразу же в биографии появляются этапы, не совпадающие со ставшими уже традиционными ступенями: крещение — первое причастие — конфирмация. Об этапах, намечающихся при таком подходе, говорил и Мартин Шарфе<sup>9</sup> (этап «мотоциклетный», этап «в ботинках, панталонах и при галстуке», этап «безгалстучный» или этап «построждественский») — отрезках жизни, памятных каждому как сугубо личные в общем течении его социальной жизни. Рассмотренные в таком аспекте знаки перестают быть связанными только с определенным предметом и превращаются в социально-культурные понятия. В данной статье я не буду углубляться в отдельные судьбы, а попытаюсь четкой расстановкой понятных знаков связать индивидуальные воспоминания в типичные, поддающиеся интерпретации жизненные этапы, имеющие коллективное значение.

<sup>7</sup> Kohli M. Die Institutionalisierung des Lebenslaufs//Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. 1985. Hf. 1. S. 1 ff.

<sup>8</sup> Weber-Kellerman I. Saure Wochen — Frohe Feste... S. 18 ff.

<sup>9</sup> Scharfe M. Über «private» und «öffentliche» Zeichen und ihren sozialkulturellen Kontext//Umgang mit Sachen. Volkskunde-Kongress. Regensburg, 1981. S. 284.

Я начну с феномена «опанталонивания» (Behosung) — момента, когда столь вожделенного для мальчика, когда он получал свои первые штаны<sup>10</sup>. Из истории костюма нам известно, что в старое время ввиду отсутствия практичного, стирающегося белья дети носили под верхним платьем одну только рубашечку. Из тех же гигиенических соображений мальчики, как и девочки, носили широкие юбочки до тех пор, пока они не становились грязными. На знаменитых старинных детских портретах нередко можно видеть «мальчика в девичьем платье», как это обычно значится в истории искусства. Этот феномен нередко приводил к ошибкам в толковании картины. Такой стиль одежды был обычным для детей до 4—5 лет, периода, не знаяшего социального различия, который Арье назвал «возрастом баловников»<sup>11</sup>. Так одевали своих детей из сословия, хотя воплощалась эта мода в одежде весьма различного качества: у крестьян это — свободная рубаха или длинная блуза, у «благородных» — тщательно сработанные костюмы из дорогих тканей.

Здесь исследователь культуры встречается с отчетливо знаковым отношением общества к маленьким детям. Я бы не снабжала изображения этих маленьких мальчиков в юбочках подписью «мальчик в девичьей одежде», которая заставляет предположить, что ребенок выполняет отведенную ему роль, чего не было на самом деле. Скорее оба пола в этом возрасте рассматривались как нейтральные, что отчасти связано, конечно, с отношением к маленькому ребенку как к вообще невинному и есполому. Убедительно доказано (особенно — Арье), что дети в первые годы своей жизни были наиболее подвержены разнообразным опасностям<sup>12</sup>. В европейском средневековье и на заре нового времени всем людям кроме обычных опасностей угрожали еще война и чума. У женщин к этому добавлялись опасения за удачный исход беременности и родов, у детей — болезни детского возраста при отсутствии эффективной медицинской помощи. Примерно до 1800 г. любые роды, хоть чем-то отклонявшиеся от нормы, были смертельно опасны. Привычные картины, оставленные нам художниками, уютные комнаты рожениц с ушатами, полными горячей воды, и подогретыми полотенцами, соответствовали столько действительности, сколько утопической мечте<sup>13</sup>. Каждые дачные роды отмечались в состоятельных кругах как праздник, а часто разу за родами — и крещение, так что роженица иногда заболевала только от одних празднеств, сопровождавших эти события<sup>14</sup>. Нормальным считалось очень большое число родов, и ежегодные беременности были редкостью. О том, как часто умирали матери, свидетельствуют гробники, поминальные записи и могильные камни, под которыми похоронены две-три супруги и переживший их муж. Часто и мать, и ребенок умирали во время родов, но, конечно, еще чаще — младенец. Даже не доверяя чересчур сомнительной статистике, можно все-таки поверить презанию, что еще чуть ли не до конца XVII в. шанс младенца выжить оставлял один к трем или четырем. Причинами следует считать большие эпидемии, но, конечно, и плохие гигиенические и зачастую социально-экономические условия, а также распространенную, главным образом в высших слоях общества (особенно во Франции), порочную практику вскармливания детей кормилицами. Чтобы освободиться от ребенка, уход за которым сулит столько хлопот, даже женщины из среднего сословия ремесленников и мастеров ручного промысла отдавали своих детей в деревню кормилицам, а те подчас более заботились о доходе, чем о благе приемных детей. И наряду с грязью и болезнями, неправильным и недостаточным питанием, успокаивающими средствами, содержащими опиум и алкоголь, причиной смерти ребенка часто было полное к нему равнодушие. В сельских условиях, где несмотря на нездоровье, беремен-

<sup>10</sup> Purrucker B. Knaben in «Mädchenkleidern»//Waffen — und Kostümkunde. I (1975). S. 71—89; II (1975). S. 143—161.

<sup>11</sup> Ariès Ph. Geschichte der Kindheit. München; Wien, 1975. S. 209 ff.

<sup>12</sup> Ibid. S. 92 ff.

<sup>13</sup> Zgliniski F., von. Geburt. Eine Kulturgeschichte in Bildern. Braunschweig, 1983.

<sup>14</sup> Theopold W. Das Kind in der Votivmalerei. München, 1981.

ность, необходимость ухода за ребенком, матери было не на кого положить хотя бы часть своей работы в доме и в поле, детям, кроме еще угрожали животные, открытые колодцы и др. Чтобы хоть как физически уберечь их на время пребывания матери на работе, изобрели всевозможные «орудия пыток»: грудных детей привязывали накрко к люльке и успокаивали нажеванным прянником, смоченным в воде втискивали во всевозможные стоялки, ходилки и деревянные колы. Никто и не думал о том, что эти применявшиеся во благо приспособления могут нанести ребенку большой вред<sup>15</sup>.

Все это отвечало всеобщему социальному представлению о младенце. Бесчисленные роды и смерти детей притупляли эмоции у матерей. Поэтому во всех слоях общества (если только речь шла не о единственных продержателях рода и наследниках) ребенок до 4—5 лет как бы пребывал в зоне страшной опасности и его еще не причисляли по-настоящему истинным людям. Когда, например, умирал маленький Иоганнес, родившийся вслед за ним мальчику давали при крещении то же самое в надежде, что по крайней мере этот младенец сыграет свою роль в стеме смены поколений семьи. На маленьких девочек обращали в меньшее внимание, и считалось вообще нежелательным, чтобы их было слишком много.

Дети бедняков и одиноких матерей, чаще всего нежеланные, уже с самого рождения подвергались крайней опасности, особенно при плохой медицинской помощи. Стало быть, до XIX в. начало жизненного цикла младенцев было не очень-то благоприятным. Отношение общества к младенцам выразилось и в одежде. Итак, и мальчиков, и девочек одевали в длинные юбки, и узнать пол детей аристократов и высшего сословия можно было только при помощи символического кода (рис. 1)<sup>16</sup>. На картинах это или специфичный ролевой подбор игрушек: кнутик, барабан, лошадка для мальчиков и куклы для девочек — или детали одежды: перо и розетка слева на чепчике, цепь и косо повязанный через плечо, шарф на манер орденской ленты у мальчиков, розетка посередине чепчика, надо лбом, и ожерелье с кулоном у девочек. Дети бедных людей не удостаивались подобной знаковой системы, они носили обычно одежду, оставшуюся от старших братьев и сестер<sup>17</sup>. А насколько регламентация одежды сопутствовала детскому жизненному циклу вплоть до 50-х годов нашего века, можно увидеть на ряде изображений.

Первым большим этапом в жизни мальчиков было «копанталонование». После преодоления «нейтральной зоны» страхов первых лет жизни оно означало, собственно говоря, включение мальчика в категорию мужчин. Убедительное иконографическое доказательство оставил нам Антонис ван Дейк, писавший в 1635 и в 1636 гг. английских королевских отпрысков,— принц Чарльз в 1636 г., впервые одевший в 5 лет панталоны!<sup>18</sup>.

Когда мальчики получали специфически мужскую одежду, для девочек еще сохранялась более или менее нейтральная одежда «среднего рода»; это отражает в какой-то мере оценку полов, бытовавшую в обществе. Изображения на старинных парадных портретах, а также на ежегодных семейных фотографиях, запечатлевавших сестер и братьев наших родителей и бабушек, свидетельствуют о важном значении, которое придавалось обретению мальчиком первого в жизни взрослого костюма. Первые панталоны были для мальчиков предметом большой гордости. О том, насколько этот предмет туалета определял их жизненные роли, мы читаем у Фридриха фон Бодельшвинга в его воспоминаниях: «Однажды родители отправились со мной в лавку, где продавалась всевозможная одежда. Я чуть не упал от радости, когда моя мама сказала: „Нам нужна пары для нашего малыша“». Когда выбрали нужный размер и цвет

<sup>15</sup> См. у Цглинского (сноска 13) под словом «Säuglingssterblichkeit».

<sup>16</sup> Ibid. S. 281 ff.; Weber-Kellermann I. Die Kindheit. Kleidung und Wohnen, Arbeit und Spiel. Eine Kulturgeschichte. Frankfurt a. M., 1979. S. 33, 44 ff.

<sup>17</sup> Ibid. S. 36 ff.

<sup>18</sup> Ibid. S. 36 ff.



Рис. 1. Фотография детей из одной семьи. Маленький брат в юбочке (1895 г.)

меня посадили на прилавок, сняли с меня ненавистное девичье платье (моей сестры) и надели мне первые настоящие мальчишеские панталоны... На улице мне казалось, что все люди останавливаются, чтобы полюбоваться на чудо моего преображения! Правда, этого не случилось, никто не заметил во мне ничего особенного, но во мне самом что-то изменилось. Теперь уж мои старшие братья никогда не позволят себе насмехаться над моей одеждой! Вместе с тем был чуть ли не начисто уничтожен авторитет сестры Фриды. Что с того, что она на три года старше меня! Она оставалась навсегда девочкой, а я стал мужчиной!»<sup>19</sup>

Обряд «Первые панталоны» часто сопровождался небольшими семейными праздниками с пирожными и шоколадом. Полагалось, чтобы этот славный предмет одежды дарил крестный; он и в данном случае, как и на крестинах, первом причастии, конфирмации и свадьбе, переводил своего крестника через порог новой жизненной ступени; это описано Пиноном на бельгийском материале<sup>20</sup>.

А что же девочки? В чадолюбивую эпоху «бидермейер» появилась детская мода, поколебавшая гордость мальчиков своими панталонами. Ведь девочки в известной мере последовали их примеру, выставив на всеобщее обозрение свое новое белье — ослепительно белые панталончики, которые тем самым как бы возводились в ранг верхней одежды. Кроме того что они были практичны и стирались, они вносили кое-что новое и в знаковый язык одежды. Появление панталончиков связано с модой эпохи ампир — с высокой талией и длинной юбкой. Тогда они иг-

<sup>19</sup> Bodelschwingh F. von. Aus einer hellen Kinderzeit. Bielefeld; Bethel, 1977. S. 15 ff.  
<sup>20</sup> Pinon R. L'enfance en Wallonie. Liège, 1973, p. 69.



Рис. 2. Панталоны «трубочкой» эпохи «бидемайер» (1826 г.)

рали роль белья и их едва было видно. И только когда около 1820 г. талии удлинились, а юбки стали все расширяться и укорачиваться, панталончики обрели качество предмета верхней одежды. Теперь одежду с панталонами носили и мальчики, и девочки, так как около 1820 г. мальчики перестали носить «скелетон» — брючную пару и надели поверх длинных белых полотняных панталон подпоясанную блузу. А к середине XIX в. подобные панталоны для девочек вышли из моды и разве только их обшитый кружевом краешек еще слегка выглядывал из-под подола юбки.

Судя по рассмотренным выше знакам моды, можно сделать вывод, что родители эпохи «бидермайер» тоже искали для своих детей общий знак детства и обрели его в белых стирающихся панталонах для мальчиков и девочек. К тому же длинные панталоны трубочкой стали после Французской революции символом буржуазных убеждений в противоположность коротким шелковым панталонам феодального времени, и этот выразительный модный силуэт мог оказывать воздействие на детскую одежду (рис. 2). Нельзя не придавать значения и тому, что в это время в домах появляются детские — комнаты для детей с особой детской мебелью и все растущим числом игрушек.

Если мы продолжим «панталонную» тему и для второй половины XIX в., то обнаружится, что в кайзеровское время в Германии существовала социальная знаковая семантика, связанная с длиной мальчиковых брюк. Теперь это — более короткие штаны мальчиков из буржуазных семей, уже внешне отличающие их от мальчиков из низших слоев общества и удлиняющие срок их детства и зависимости от родителей.

Сначала из Англии пришли бриджи; они выглядели спортивно и даже в какой-то мере мужественно. Потом их сменили брюки до колен, кото-

ные, становясь все короче, обнажали колени и дополнялись носками-гольфами. Такова была мода для мальчиков в период, включавший обе мировые войны, и во многих воспоминаниях о детстве можно прочитать о тщеславном чувстве, с которым иной мальчик (а позже — и иная девочка) носили вплоть до самой зимы носки-гольфы, что выглядело важным испытанием на мужество как из-за холода, так и потому, что делалось это вопреки запрету матерей.

У рабочего же населения одежда мальчиков, наоборот, демонстрировала ранний переход к взрослой жизни: мальчики носили полудлинные или длинные штаны, чаще всего достававшиеся им по наследству; и только к конфирмации рабочая семья старалась купить сыну конфирмационную одежду — черный костюм. При попытке проанализировать моду на ношение коротких штанов мальчиками старшего возраста всегда обнаруживаешь две основные мотивировки, имевшие значение для родителей-буржуа. Существовала социальная необходимость удерживать как можно дольше на стадии детства сыновей (как, разумеется, и дочерей — но другими средствами), что одновременно означало и защищенность, и зависимость. Начинавшаяся тогда торговля детской одеждой, и прежде всего существовавшая с 1889 г. фирма Блейль с ее трикотажными и вязанными изделиями, способствовала развитию этой тенденции<sup>21</sup>. О ее товарах и услугах по обновлению «просиженных» штанов и продырявленных локтей со страхом и неприязнью вспомнит любой ставший ныне уже пожилым выходец из буржуазной семьи. Но вместе с тем в таких символах одежды, как короткие штаны, сказался растущий классовый дух эпохи грюндерства: 14–15-летний мальчик в коротких штанах был, совершенно очевидно для всех, сыном буржуа, а никак не учеником ремесленника или рабочим. Упомяну лишь, что мода на матроски еще более усугубляла эту знаковость (рис. 3). Во всяком случае не один чиновничий сын мечтал о времени, когда ему уже можно будет в длинных брюках подняться на жизненную ступень мужской юности.

На рубеже веков язык символов мальчиковой одежды изменился: эти знаки маркировали молодежное движение: короткие штаны стали визитной карточкой группы, начертавшей на своих знаменах как раз эмансиацию от буржуазного родительского дома и борьбу против затхлости эпохи грюндерства. Лозунгом молодежи была естественная, простая социальная жизнь и наряду с другими знаками, избранными этой группой для того, чтобы отличаться от других групп, она выступала и за короткие штаны. Но теперь они уже не были символом продления детства, а, напротив, знаком независимости поколения молодежи от поколения родителей и всего мира взрослых. Короткие штаны и голое колено связывались со спортивным, естественным поведением и закалкой. Потом через молодежное движение и союзы «следопытов» короткие штаны попали и к рабочей молодежи. Сначала этого трудно было добиться, и немецкий писатель Л. Турек вспоминает о времени своего пребывания в «Союзе рабочей молодежи» так: «Когда я явился в ближайшее воскресенье в обрезанных штанах, руководитель Союза молодежи прогнал меня, так как „Союз молодежи“ ведь не маскарад!», тем не менее число обрезанных штанов быстро возросло<sup>22</sup>.

Вот какими сложными путями развивалась мода, причем одно и тоже объективное явление могло быть субъективным отражением совершенно разных процессов.

Позже национал-социалистские молодежные организации переняли, как и многое другое, этот элемент одежды и ввели его в свою униформу, и опять короткие штаны стали сигналом, знаком совсем иного содержания. Короткие штаны, как можно более короткие, превратились в опознавательный знак фашистской «народной молодежи» и интерпретировались их вождем Адольфом Гитлером с позиций расовой политики в

<sup>21</sup> Weber-Kellermann I. Das Weihnachtsfest. Luzern; München, 1987.

<sup>22</sup> Turek L. Ein Prolet erzählt. B., 1930. S. 39 ff.



Рис. 3. Матросский костюм

поразительно извращенном народно-эротическом духе: «Мальчик, пребегавший все лето в длинных штанах трубочкой, закутанный до шеи, уже из-за одежды упустил возможность физической закалки своего организма. А надо бы разбудить такие чувства, как честолюбие и даже, прямо скажем, тщеславную гордость красивым сложением, формирование которого зависит от каждого из вас. А это целесообразно и для будущего. Пусть девушка знает своего рыцаря!». Иными словами — короткие штаны для демонстрации красивых прямых ног арийского молодца!

После второй мировой войны мальчики носили то, что было в наличии, только кожаные штаны завоевали успех от Мюнхена до Гамбурга и одинаково нравились как родителям, так и детям своей практичностью и, конечно, тем, что они — «тиปично немецкие». Лишь в конце 1950-х — в 1960-х годах настала «великая перемена», провозгласившая новое в детской и молодежной одежде: появились джинсы.

О джинсах написано так много, что я могу довольно коротко охарактеризовать эту моду<sup>23</sup>. Они пришли из Америки сначала как «брюки с отстроченными швами» рокеров — членов неформальных объединений молодежи — и соответственно осуждались большинством тогдашних родителей. На заре эпохи джинсов иной мальчик страстью сражался за право иметь такие брюки, и первый день в «настоящих» джинсах сохранялся в его памяти может быть прочнее, чем обычные памятные даты юношеского жизненного цикла. Тогда писатель из ГДР Ульрих Пленцдорф устами своего молодого героя Эдгара Вибо горячо и убежденно воспел

<sup>23</sup> Weber-Kellermann I. Brauch — Familie — Arbeitsleben. Marburg, 1978. S. 114 ff.; Jeans. Beiträge zu Mode und Jugendkultur. Tübingen, 1985; см. eadem Die Kindheit Kleidung und Wohnen... S. 247 ff.

«настоящие джинсы», оставив нам поэтическое свидетельство связи жизненного цикла с одеждой: «А говорю я про настоящие джинсы, само собой. Сейчас настроили всякого барахла и все джинсами называют. Гогда уж лучше нагишом ходить. Например, с молнией впереди — это же не джинсы. Вообще настоящие джинсы бывают только одного фасона. Кто носит настоящие джинсы, тот меня поймет. Хотя, конечно, если кто носит настоящие джинсы, это еще не значит, что он и толк в них знает. Джинсы надо с толком носить. А то натянут и сами не понимают, что у них на ляжках. Терпеть не могу, когда какой-нибудь двадцатилетний хрыч втиснет свои окорока в джинсы, да еще на талии стянет. Это уж финиш. Джинсы — набедренные штаны! Это значит, они должны быть узкими и держаться просто за счет трения, иначе они у тебя с бедер сползут. И тут, конечно, нельзя, чтобы бедра были толстые. Уж толстый зад и подавно — тогда они просто в застежке не сойдутся. Двадцать пять лет этого уже не понять. Это все равно что у тебя пиратский значок, а ты дома жену колотишь. Вообще, джинсы — это зесь человек, а не просто штаны. Я даже иногда думал: нельзя жить дольше семнадцати, ну, восемнадцати лет»<sup>24</sup>.

В этом тексте конца 1968 г. джинсы показаны в первую очередь как неотъемлемая часть молодежной культуры, и только потом уже — как торговая мода. Это повлекло за собой различия в цене и престижности «настоящего» и общераспространенного, что уже случалось и раньше с другими предметами молодежной одежды. Так было с «настоящим» кильским матросским костюмом, что отрицательно повлияло на детей, но зато вполне отвечало интересам рекламы и общества потребления. «Настоящее» как знак положения в обществе!

Здесь следует коснуться и другого феномена: джинсы — и вообще брюки — стали теперь детской одеждой, и притом одеждой и для мальчиков, и для девочек. Это начинается уже с первых ползунков грудного ребенка. «Первых панталон», надевание которых когда-то столь четко направляло жизнь мальчиков и девочек по различной «одежной стезе», уже не существует. Все носят панталоны, а за джинсами долго оставалась самая устойчивая за последнее время тенденция моды. Хотя девочкам, отказывавшимся носить изящные платьища, сшитые их материами, и предпочитавшим им джинсы, и приходилось часто вступать в ожесточенную борьбу со старшими, они все-таки победили: теперь кто угодно может носить, что ему угодно, и всем можно носить все.

Следовало бы глубоко проанализировать смысл такого нового отношения к одежде, удерживающегося уже на протяжении десятилетий, — означает ли оно эманципацию, связанную с удобством, тягой к спортивности, теплу, или тягу к моде и т. п.? Но уже несомненно, что эта новая одежда для детей, не связанная с определенным полом и возрастом, предоставляет им большую степень свободы и непринужденности.

Однако довольно о панталонах и их знаковом характере. Мы добрались до другого важного отрезка детской жизни — поступления в школу.

Обычно оно начинается торжественным вручением новому школьнику «школьного кулька». Леопольд Шмидт исследовал историю этого обряда в Вене, куда он распространился из Германии только после второй мировой войны. Считают, что в Баварию он пришел тоже поздно, с севера, а для средней и северной Германии «Атлас немецкой этнографии» документирует его уже в 1930 г. как «старинный». Несомненно, это так и было, ибо родившийся в 1899 г. Эрих Кестнер рассказывает, как о чем-то само собой разумеющемся, о своем поступлении в школу с кульком, полным лакомств: «Господин Бремзер усадил нас всех по росту за парты и записал наши имена. Родители толпились у стен и в проходах, ободряюще кивали сыновьям, охраняли фунтики со сластями. Это было их главной задачей. Они держали в руках маленькие, средние и большие конусообразные кульки со сластями, сравнивали

<sup>24</sup> Пленцдорф У. Новые страдания юного В. //Иностр. лит. 1973. № 12. С. 112—113.

их объемы и, смотря по результатам, завидовали или гордились. Посмотрели бы вы на мой фунтище. Ярко раскрашенный, будто сотня видовых открыток, тяжелый, как ведро с углем и такой большой, что он доходил мне до кончика носа!»<sup>25</sup>.

Происхождение этого «лакомого знака» первоклассников любят связывать с поверью о дереве, увешанном кульками с лакомствами, растущем якобы в подвале школы; учитель срывает их для прилежных детей. Рассказывают, что такой же кулек аист кладет в утешение на кровать тем детям, у которых появляется братик или сестричка.

Однако утешение — не основная функция «школьного кулька». Большинство детей чрезвычайно горды и счастливы перейти от статуса малого ребенка к статусу школьника и подняться на новую жизненную ступеньку. Заставляет задуматься и то, что обряд «школьных кульков» распространен преимущественно в городе. В деревнях, например на Рейне, первоклассникам пекли большие крендели. Но это — совсем не то, что школьные кульки. Попробуем предложить структурный анализ. Вступая в свой первый школьный день, дети пересекают границу от нешкольника к школьнику, от невежды — к ребенку, которому открывается возможность обретения знаний. Потому ребенок и получает в этот день символическую награду — «школьный кулек», официально, публично подтверждающий его новый статус. Начальная концентрация обряда в городах указывает на особое рвение к образованию городских буржуазных слоев, заинтересованных в том, чтобы их дети посещали школу. В 1950 г. в Дрездене вышла рекомендуемая учителями «Книжка о кульках со сластями для всех детей, впервые идущих в школу». Поэтому местом рождения обряда школьного кулька, может быть, следует считать Саксонию. Как бы то ни было, это был важный, одобряемый родителями городской обычай, лишь позднее распространившийся и на сельскую местность. Ведь в традиционном сельском обществе оказание детьми хозяйственной помощи родителям (а дети пасли птицу и скот, работали на сборе урожая и картофеля) ценилось гораздо выше, чем посещение школы.

В городах в обряде школьных кульков со временем сформировалась собственническая иерархия: первоклассники и их родители соревновались за самый большой кулек!

Если школьный кулек маркировал нового школьника, отделяя его от нешкольников, то школьный распорядок, тщеславие учителей и престижное сознание родителей культивировали теперь уже в стенах школы множество знаков различия, четко маркировавших периодизацию школьной жизни. Начнем с женского и мужского в школьном понимании. Не говоря уже о том, что у нас в Германии совместное обучение было введено очень поздно, девочки и мальчики различались, кроме того, и по форме школьных ранцев. На рождество, перед началом второго полугодия, мальчикам дарили кожаный ранец с длинным клапаном и двумя застежками внизу, а девочкам — с клапаном до середины ранца и одной застежкой (рис. 4). Эти тонкие различия считались само собой разумеющимися: девочку с унаследованным мальчиковым ранцем в школе высмеяли бы. Детей радовало это доказательство их перехода на новую возрастную ступень, связанную с идентификацией их личности, — ведь отец выводил обычно на внутренней стороне ранца красивыми печатными буквами имя ребенка. Но еще важнее был день, когда 11-или 12-летние дети получали в подарок портфель, и можно было сменить детский ранец, висевший за спиной, на взрослый, хотя и нарушавший осанку, портфель, который носили под мышкой.

Сегодня, слава богу, стерлись и исчезли эти барьеры и ступени, и школьники носят ранцы ярких цветов в стиле «попарт» в полном соответствии с медицинскими требованиями и правилами уличного движения. Старшие дети не задумываясь и без возражений тоже носят ранцы на спине.

<sup>25</sup> Кестнер Эрих. Летающий класс. Повести. Л., 1988. С. 524.



Рис. 4. Первые символы школьной жизни — «школьный кулек», ранец, сумка

В старом буржуазном обществе в школе ареной беспощадной классовой борьбы в полном смысле этого слова стал еще один символический знак — школьная фуражка (рис. 5). Еще в моем поколении, да и в предыдущих, она сигнализировала о продвижении мальчиков по школьным ступеням и отличала гимназистов от негимназистов. Школьные фуражки были почти всегда обязательны для старших классов мужских школ, а изредка встречались и в женских лицеях. Они изготавливались обычно из сукна, и для двух старших классов — из материи высокого качества, с козырьком из лаковой кожи и разноцветными полосками, указывающими на класс. Цвета менялись в зависимости от школы и края и служили знаком того, что данный юноша приближается к экзаменам на аттестат зрелости и тем самым к студенчеству. Даже самый осторожный анализ этой иерархии фуражек позволяет сравнить ее с системой военных рангов. Каждый последующий класс всегда отличается от предыдущего дополнительным зрительным сигналом. Таким образом, фуражки позволяли распознать не только то, что перед вами гимназист совершенно определенной школы, — они давали возможность судить об успехах, возвышающих ученика от класса к классу, или о позоре оставления на второй год, а стало быть, они поддерживали одновременно стремление к успехам и «сословное» высокомерие. Кроме



Рис. 5. Школьные головные уборы (1897 г.)

того, по фуражкам можно было осуществлять внешкольный контроль учителей за учениками — почти как на военной службе. Когда нацисты заменили эту иерархию собственными правилами ношения униформы и, как, например, в Марбурге, публично сжигали студенческие фуражки на рыночной площади, многие молодые люди приветствовали это псевдосоциалистическое действие, не поняв, что на смену «пресловутому» классовому, как они говорили, придет смертоносное общество, построенное по принципам расизма.

Школа была и остается важнейшим этапом жизни детей, который в свою очередь делится на определенные периоды. Предназначенная для образования, она является также инструментом тренировки и приспособления к современному производительному обществу и тем самым первой поддающейся исчислению системой правил, с которой встречается ребенок. Но вместе с тем она дает и возможность усвоить правила взаимного общения и заключить первые глубокие и незабываемые дружеские связи. Удивительно, что старая традиционная этнография так мало занималась этой важной жизненной средой! Что можно было бы извлечь из одних только ежегодных классных фотографий, расположенных в хронологическом порядке, если признать, что они являются документами долгосрочной фазы ориентирования? На таких фотографиях можно, например, увидеть учеников католической деревни под Марбургом во главе со своим учителем, аккуратно расположенных рядами. Маленькие девочки в 1948 г. почти все еще в деревенской одежде, но обязательно в школьном фартуке, с руками, сложенными на коленях, — в позе, обязательной для церкви, школы и фотографа. Единобразие поз сигнализирует об их сельском статусе, который в данном случае специально подчеркивает, что перед нами не дети, а «маленькие взрослые». Одетые в коротенькие фольклорные костюмы своей деревни, они шаг за шагом подвигались к «повзрослению» по заранее намеченному для них жизненному плану. А можно найти среди этих фотографий совсем иной снимок класса городского лицея 1920-х годов, на котором в разных позах изображены вокруг своего учителя тогдашние девочки-подростки, то робкие, то самоуверенные. Но позы на обеих фотографиях синхронно отражают дух своего времени.

Жизненный цикл, наблюдаемый изнутри, обнаруживает такие рубежи, значения которых для ребенка многие не замечают, особенно если эти рубежи формируются вне семейной жизни. Так, например, в доиндустриальное время был четко определен порядок наследования: сын купца обязательно наследовал дело отца, который с гордостью заказывал художнику двойной портрет — он с сыном в кладовой. На фотографии крестьянской семьи полагалось быть всем тем, кто работал в данной усадьбе: на переднем плане сидят на скамье хозяин в шляпе, его жена и дети. Подрастающий молодой работник в доказательство того, что он находится на пути к зрелости, обязательно держит в руках какое-нибудь орудие сельскохозяйственного труда.

В наше новое время для городского подростка такие важные жизненные этапы отделились от семьи и сконцентрировались скорее в сущем равноправие обществе ровесников. Незабываема первая поездка без родителей, жизнь в молодежном лагере, первая ночь в палатке. К таким же важным этапам относятся и игра в «дочки-матери» с вожделенной игрушечной коляской, и первый выход «на люди», первый велосипед и знакомство со всей относящейся к нему техникой, а потом — взрослый велосипед с девятью скоростями! А сесть впервые на мотоцикл и включать скорости! Сельский же ребенок ощущает, наверное, как жизненный рубеж тот день, когда ему впервые разрешили активно участвовать в старинном обряде и вместе с товарищами на законном основании требовать яйца у крестьянки.

Как чувствует себя ребенок, когда ему позволяют позже ложиться спать, смотреть телевизор или пойти на детский праздник или когда он вместо детской кроватки с сеткой получает большую кровать?

Перечень таких «первых переживаний», важных для детской биографии, можно было бы продолжить. Но задача моя была в том, чтобы прежде всего вскрыть исторические и специфические для каждого класса различия между индивидуализированными буржуа и более приверженными к норме крестьянами, а наряду с ними, среди них — и рабочими. Дети рабочих были желанными товарищами в играх на улице, но их редко приглашали в буржуазные дома. А чаще всего они были уже вовлечены в трудовую жизнь, когда дети буржуа все еще ходили в школу.

Наконец, назовем еще один детский обряд, неизменно сопровождающий ребенка в его продвижении по ступеням жизненной лестницы — день рождения. Берлинский этнографический музей посвятил этой теме весьма оригинальную выставку с эффектным каталогом, составленным Региной Фалькенберг, которая на основе анкетного опроса выяснила, что детские дни рождения или именины в городах стали праздноваться раньше, чем в деревнях (рис. 6). Это полностью соответствовало сельскому взгляду на детство как подготовительную фазу к трудовой жизни взрослого. Как мог 5-6- или 7-летний ребенок считаться чем-то столь важным, чтобы праздновать его день рождения? Поэтому в школьном букваре 1900 г. в издании для города на букву «G» значилось: «Geburtstag» (день рождения), в то время как в издании для сельских школ с буквой «G» знакомились по слову «Getreide» (зерно). Такое сношение к дате рождения вполне соответствовало неиндивидуальной, внеличностной форме мышления доиндустриального общества. Но и для ребенка из буржуазной среды день его рождения раньше был скорее семейным, чем личным праздником. Являлись дедушки и тетушки и, конечно, двоюродные братья и сестры, и все сидели за кофе в лучшей комнате, а детям разве что разрешалось играть в соседней. Только после первой мировой войны детский день рождения стал воистину праздником ребенка. Субъективный характер этот праздник приобретает благодаря обилию таких ритуальных знаков, как свечи, цветы, специально испеченный кекс и прежде всего подарки, которые ценились не только по их рыночной стоимости, но и по символическому языку, понятному всем участникам праздника. Самое важное здесь — детское общество, то, что ребенок сам может пригласить своих гостей заранее

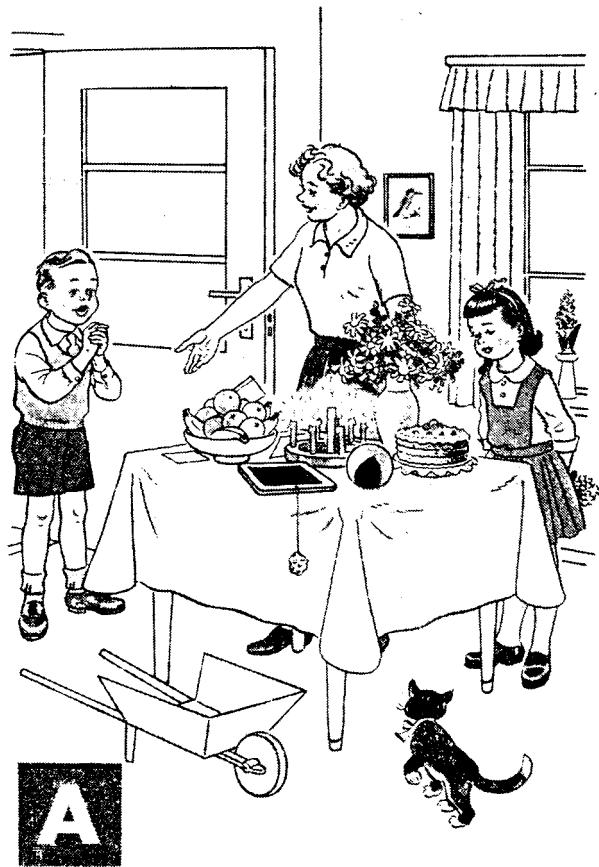


Рис. 6. День рождения

напечатанными билетиками. Ни с чем не сравнима радость, когда ребёнок как истинный хозяин праздника встречает своих друзей.

С социально-исторической точки зрения, можно было бы снабдить эволюцию этого детского праздника этикеткой: «От семейного праздника к празднику детскому» — ведь сегодня дети, начиная уже с 9 лет, избегают присутствия взрослых на «их» празднике. Тем самым культурная символика отражает начинающуюся во все более раннем возрасте индивидуализацию нашего современного общества. Это влечет за собой много свобод, множество возможностей вести себя, одеваться и обставлять квартиру в соответствии с собственными склонностями — коротя говоря, попробовать быть самостоятельным. Это прекрасно, но вместе тем и сложно, особенно когда потом под действием таких жизненных трудностей, как безработица, отсутствие работы по специальности или тяжелая работа, рушится надежная сеть былой стабильной принадлежности к семье и окружающему обществу. Но из путешествия в новом нет обратного билета, и нельзя снова вызвать к жизни ритм старого жизненного цикла. Сегодня требуется много такта и понимания, чтобы освободиться от старых препятствий социального расслоения и разграничения поколений и использовать нетрадиционные, но полезные формы коммуникации людей. Вместе с тем это — конец когда-то действовавших норм, которые сегодня кажутся уже устаревшими.

При этом важной задачей европейской этнографии является изучение обрядов и особенностей поведения, сопровождающих жизненный путь еще и сегодня, с целью установления заложенного в них социального смысла.

*Перевод Б. Е. Чистова*

# ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

## ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ В. В. ПИМЕНОВА «ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭТНОГРАФА: ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕСТРОЙКИ» \*

Статья В. В. Пименова, посвященная проблемам подготовки этнографов на кафедре этнографии МГУ, логически построена несколько своеобразно. Вначале изложены мысли автора о том, как готовить «профессиональных этнографов», и только к концу автор задается вопросом, кого мы должны готовить, для кого готовить, кто будет реальным «потребителем» подготовленных нами кадров молодых специалистов. Проблемы, так взволновавшие В. В. Пименова, перед преподавателями кафедры этнографии МГУ, работающими здесь не один десяток лет, встают и ежегодно при обсуждении учебных планов кафедры, и ежедневно в процессе будничной педагогической работы со студентами. Опираясь на опыт этой тяжелой, но необходимой и увлекательной работы по воспитанию будущего нашей науки, наших преемников и продолжателей нашего дела, можно высказать несколько самых общих положений, учитывая ограниченные возможности данной публикации.

Кафедра этнографии исторического факультета МГУ профессиональных этнографов не готовит и не готовила со времени своего основания. Как и остальные кафедры нашего факультета, она готовила профессиональных *историков*. На факультете есть лишь одно исключение: две кафедры искусствоведения выпускают специалистов по истории и теории искусств. Остальные кафедры готовят историков — либо по разделу всеобщей истории, либо по истории СССР. Это положение отражено во всех официальных документах о структуре Московского университета. Конечно, любое положение можно оспорить и изменить, если этого потребуют интересы дела или потребности общества, науки. Но вряд ли существует потребность коренного изменения этнографического образования. Сам же В. В. Пименов признает, что неизвестен «заказчик» на таких специалистов, а возможности Института этнографии, увы, весьма ограничены, хотя среди сотрудников института едва ли не 3/4 — выпускники нашей кафедры. Выделение образования, получаемого на кафедре этнографии, в особую специальность вызывает серьезные возражения по существу. Уверен, что теперешнее место кафедры этнографии среди других исторических дисциплин отвечает и смыслу, и задачам советской этнографической науки.

Не хочу развертывать дискуссию о предмете этнографии. На моей памяти таких дискуссий было более чем необходимо. Повторю лишь самые общие положения. Если мы признаем, что этнические отношения и этнические процессы относятся к разряду процессов социальных (а это положение, кроме Л. Н. Гумилева, кажется, никто не оспоривает), то весь комплекс предмета этнографической науки, какие бы вопросы ни включались в этот комплекс, неизбежно оказывается в сфере исторических процессов. Более того, в марксистской науке неоднократно отмечалось, что этнические процессы, в том числе и национальные отношения, находятся в зависимости, в подчинении по отношению к другим

\* Начало дискуссии см. «Сов. этнография». 1988. № 3, 4.

специальным факторам — социально-экономическим, политическим и т. п. Поэтому основой, фундаментом этнографического образования привсей важности дополнительных специальных знаний должно оставаться *историческое образование* во всей его полноте, что и отражено в учебном программе исторического факультета. Этому подчинено и распределение времени студентов, которым 2/3 его отводится на общеисторические курсы. Среди этих курсов именно для этнографов важнейшими на кафедре всегда считались курсы по истории КПСС, марксистско-ленинской философии. Никогда теоретические исследования специально-этнографического аспекта не рассматривались в отрыве от общих положений марксистско-ленинской философии и обществоведения, от достижений теории и методологии нашей исторической науки. Связь этнических процессов с другими историческими процессами, другими действующими факторами истории общества органична и нерасторжима. Думается, в этом одна из главных преимуществ нашего советского понимания сущности этнографической науки по сравнению с той разноплановой пестротой, которую мы знаем в аналогичной специализации в капиталистических странах.

Желательно, чтобы система обучения в вузе была как можно ближе к достижениям современной науки. Однако нельзя не считаться и с тем, что между научными сотрудниками специализированных НИИ и студентами есть весьма существенная разница. Если научный сотрудник (хотя бы в идеале) располагает соответствующей профессиональной подготовкой, определенными навыками (и методическими, и практическими) в научной работе, то, попадая в вуз, студент обладает лишь знаниями, полученными в средней школе, иногда известным накопленным багажом по избранной профессии. Да и в силу возрастных особенностей у большинства студентов еще нет сформированных жестко личности и интересов. Поэтому вузовский уровень овладения знаниями и профессией обязательно предполагает прежде всего накопление фактического материала, того воздуха науки, на который могли бы опереться «крылья» будущего исследователя. Сводить все преподавание к изложению теоретико-методологических основ науки, как бы пышно ни звучал такой призыв, на деле означает подрыв именно той фундаментальности знаний, без которой в эпоху НТР невозможно приготовить хорошего *работника*, способного в случае необходимости решать новые и неожиданно возникающие задачи. Выступая против фундаментальных курсов кафедры этнографии, В. В. Пименов вряд ли найдет себе союзников на историческом факультете. Впрочем, и сам В. В. Пименов постоянно оговаривает, что некоторые из этих курсов необходимы.

Обязательно следует иметь в виду при любых планах на будущее еще одно обстоятельство, хорошо известное всем, кто систематически занимается со студентами: у них, как и у всех смертных, в сутках всего 24 часа, хотя по успехам и интересам некоторых из них кажется, что где-то они разыскивают и дополнительное время, но держат этот источник в строгом секрете. К тому списку новых курсов и дисциплин, который намерен ввести В. В. Пименов, не отменяя кое-что из прежних, можно было бы при старании добавить еще многое, что желательно знать современному этнографу. Но где на все это взять время, даже если ограничиться мини-курсами по пять-шесть лекций теоретико-методологического плана? Ведь к таким курсам нужно готовиться, читая книги, статьи; необходимо время и на то, чтобы обдумать прочитанное. Подобно расширение лекционных курсов, семинаров, собеседований и любых иных форм обучения неизбежно приведет к поверхностному знакомству с новой тематикой в лучшем случае, а в целом — к воспитанию берлог глядства, скольжению по модным, новым, новейшим, сверхновейшим теориям и теорийкам, от которых чаще всего останется лишь досада и потерянное время. Мне думается, подобные «увлечения» вполне терпимы в науке вообще, ибо в этом отражается поиск истины, поиск новых решений. Здесь часто, хотя далеко не всегда, рождаются целые новые плодотворные направления. Но вряд ли такой поисковый путь можно рекомендовать.

мендовать для учебного плана кафедры, учебного плана, составляющего часть более общего и обязательного плана профессионального обучения историков.

К сожалению, направления, предложенные В. В. Пименовым, менее всего учитывают именно место кафедры на историческом факультете, связь этнографии с другими разделами исторической науки. А такая связь не только всегда существовала, существует и, я надеюсь, будет существовать, но именно взаимодействие с другими отраслями истории приносило этнографии наибольшие успехи в решении как задач общеисторических, так и в решении проблем самой этнографической науки. Аграрная история и история производительных сил человеческого общества в целом, история отдельных областей культуры любого плана и ранга, от пищи или одежды до истории человеческого мышления, знания,— во всем этом немалую роль играли не только материалы, собранные усилиями этнографов, но и понимание этих материалов, их места в контексте общего прогресса человеческого общества. С другой стороны, понять стадиальное, эпохальное своеобразие этнических отношений невозможно, не зная общеисторических условий жизни людей, уровня их социально-экономического развития, политических отношений — словом, всего того, что изучают историки других направлений нашей науки. И никакие курсы этнопсихологии, этноэкологии, этнодемографии или любой иной «этнонауки» не в состоянии заменить простого и добротного знания истории, исторических фактов, исторических процессов. И учебные курсы самой кафедры должны прочно опираться именно на этот фундамент нашей профессии.

Профессии «этнограф» нет! Есть историк, исследующий историю этнических отношений в человеческих обществах разных регионов и периодов. Только из такого подхода рождались и рождаются действительно серьезные теоретические выводы, только на такой базе можно надеяться на правильное предвидение перспектив этнических отношений в будущем.

Если исходить из положений статьи В. В. Пименова, может сложиться превратное представление о самом ходе учебного процесса на кафедре — как будто дело все заключено в названиях курсов. Если есть курс этнодемографии, то студент получает знания в этой области; если такого лекционного курса нет, то студент будто и слыхом не слыхал о демографии. Что на самом деле это весьма далеко от действительности, знает каждый, кто действительно знаком с программами и курсами нашей кафедры. Учебный план, как ему и положено, отражает лишь самые общие направления, самые *необходимые*, именно необходимые, а не просто желательные знания. Остальное определяет конкретное содержание лекций, семинаров, других форм занятий со студентами, а разнообразие таких форм достаточно велико, чтобы в случае необходимости помочь студенту овладеть материалами и представлениями в любой отрасли знаний. И не только исторических специальностей, но и любых, которые требуются для наиболее полного изучения истории или этнографии: лингвистика, антропология, агрономия, основы математики и т. д. и т. п. В этом и заключено одно из главных преимуществ университетской формы обучения. Возможности Московского университета здесь почти безграничны. В распоряжении студента почти весь арсенал современной науки; он может получить консультацию, помочь любого специалиста любого факультета, причем самую квалифицированную. И это не только возможности, но нередко и реальная практика научной работы студентов — было бы только у них желание и время! Я уже не говорю о том, что студенты кафедры полностью обеспечены помощью специалистов-историков как на самом факультете, так и в академических институтах.

Естественно, лекционные курсы, которые ведут весьма опытные преподаватели, не замыкаются рамками их названий и даже программ. Как показывает мой личный опыт и опыт моих коллег по кафедре, за 3—5 лет содержание курса обновляется более чем наполовину. Читать

лекции-близнецы современным студентам невозможно — они не станут их слушать. Сидеть на лекциях, может быть, и будут («посещать») а слушать — нет! Я еще не встречал лектора, способного выдержать подобную форму протеста.

Кроме лекций, неизбежно отражающих современный уровень и только нашей этнографической науки, но и уровень знания вообще в распоряжении и преподавателей, и студентов другие формы обучения: семинары, курсовые и дипломные работы, работа в экспедициях, личные беседы, студенческие конференции и многое иное. Это позволяет вести в целом преподавание с учетом всего действительно нового, действительно ценного, что дает наше стремительное время. Конечно, чтобы быть на уровне, преподавателям приходится много работать, следить за научной литературой в самых различных областях знания, много думать, отбирая из потока информации наиболее интересное и существенное, постоянно улавливать настроения студенчества, его интересы. Работа нурительная, каторжная, но захватывающая. За такую работу редко благодарят вслух, но, ревниво следя за успехами выпускников нашей кафедры, каждый из преподавателей знает, что в них есть и его доля, пусть небольшая, но весомая, ибо в наших учениках — наше будущее.

Вряд ли правильно представлять и положение дел на кафедре, и изменение содержания обучения через формальные показатели. И сила и слабость кафедры (а без недостатков работы не бывает) заключены прежде всего в ее преподавательском составе, в том, насколько каждый из нас и весь коллектив в целом способны выдержать столь высокое напряжение в работе. Кафедра этнографии за все годы существования отличалась редким подбором самых квалифицированных специалистов С. П. Толстов, С. А. Токарев, Н. Н. Чебоксаров, В. И. Чичеров, Е. М. Шиллинг, Б. Г. Шаревская — вот плеяды крупнейших советских этнографов, закладывавших основы этнографического обучения, создавших традиции обучения и взаимоотношений на кафедре. Можно было бы назвать немало имен, столь же известных в науке, имен тех, кто постоянно принимал участие в обучении и воспитании наших студентов. Я не помню случая, чтобы кто-нибудь из ученых Института этнографии отказывал кафедре и ее студентам в помощи, будь то чтение курса лекций или консультации, руководство дипломными, даже курсовыми работами. Мизерная часть такой помощи отражалась потом в платежных документах, т. е. официально. Но влияние подобного сотрудничества на весь учебный процесс кафедры, на воспитание студентов — огромно! И может быть, особенно действенным был именно неформальный характер таких отношений, втягивавший студентов в круг бескорыстного, увлеченного служения науке, не говоря уже об уровне получаемых знаний. Эти традиции действуют и сейчас, не завися от каких-либо пунктов формальных договоров. Неформальное общение, не говоря уже о чтении книг, статей, разборе новейших взглядов на лекциях и семинарах, никак не позволяет согласиться с тем, что кафедра в чем-то отсталла от уровня науки. То, что далеко не все новейшие взгляды и направления получают признание на кафедре в виде курсов лекций, — благая осторожность, необходимая в учебной работе. Ведь далеко не все новшества заслуживают быть оставленными в науке. Устраивать каждый раз коренную ломку учебного плана не только накладно (подготовка программы, лекций, учебных пособий — все это весьма дорогое удовольствие), но это еще и вредно, когда стабильные, десятилетиями выверенные курсы фундаментальных знаний меняются на модные, но короткоживущие увлечения. Вузовская практика (и это признано сейчас наиболее разумным) при подготовке будущих специалистов должна давать именно основные фундаментальные знания, на базе которых будущий специалист может проявить себя в любом направлении уже профессиональной работы. Об этом вроде бы заботится и В. В. Пименов, но вряд ли этого можно достичь предлагаемым дроблением курсов по узким и весьма зыбким «специальностям», которые и в академических стенах пока остаются на уровне эксперимента.

Учебный план любой кафедры — сложное явление, его нельзя рассматривать как механическое соединение изучаемых дисциплин. В получении образования студентами такой план выступает как некое органическое и гармоничное целое, в котором нельзя безнаказанно к телу вола пришипливать хвост собаки или гриву лошади. Изменения могут быть внесены и вносятся, но только тогда и настолько, чтобы это не нарушило общую гармонию всего комплекса преподносимых знаний. А для этого необходимы единая общая концепция, единый замысел. Такой замысел разрабатывался основателями нашего этнографического образования начиная с Н. Н. Харузина и был окончательно оформлен уже упомянутой когорты лучших советских этнографов. На это потребовалось не одно десятилетие кропотливого труда. Не так уж сложно все это разрушить. Но что же предложено взамен? Если говорить об изучении современности, так историки, в том числе и этнографы, всегда занимались изучением современности. Опыт прошлого, закономерности развития явлений в прошлом нужны не сами по себе, а как способ познания законов общественного развития. И чем лучше мы их знаем, тем увереннее разбираемся в настоящем и можем предвидеть будущее. Я вынужден повторять общеизвестные истины только потому, что громкая фразеология без продуманной и обоснованной программы способна нанести трудно поправимый вред.

Прежние положения учебного плана кафедры успешно работали десятилетия; мы знаем их результаты не по выпускным экзаменам или дипломным работам, а по успешной деятельности наших выпускников и в Москве, и почти во всех наших республиках. Немало через кафедру прошло студентов и аспирантов из социалистических стран, и все они сейчас успешно работают. Значит, учебный план кафедры в своих основах (частично он менялся) прошел проверку жизнью. Правильность или ошибочность кардинальной перестройки будет ясна лет через 5—8, не раньше. Да еще столько же потребуется на перестройку плана, если он ошибочен. Ведь это отодвинет нас назад не меньше чем на 10 лет. Риск слишком велик (я уже не говорю о тех издержках, которые понесут выпущенные за это время специалисты!) Беспокойство, осторожность здесь вызваны не мифической приверженностью «к спокойной, привычной жизни» (да и какая спокойная жизнь может быть со студентами!), а чувством ответственности, долгом перед будущим, неизбежным у всякого педагога. В нашей советской науке уже были печальные уроки поспешного внедрения в практику непроверенных лозунгов и теорий (марксизм, лысенковщина). В свое время их тоже пытались оснастить самыми заманчивыми флагами.

Хотя это больше относится к иному «пакету» этнографических проблем, но, поскольку это также касается обучения на кафедре этнографии, направлений работы наших студентов, необходимо сказать и о явном увлечении терминами «этнос», «этничность», соединением слова «этнос» с другими словами. Это выпукло прозвучало и в статье В. В. Пименова. Почему география должна сочетаться с понятием «этнос»? Если речь идет о расселении разных языковых групп, то это было в поле зрения этнографии и раньше, но так и называлось — «расселение такого-то народа». Но если учесть, что появились и «этноэкология», и «этнопсихология», и еще масса «этно...логий», то за этим явно проглядывает тенденция — вывести на первый план этнос как определяющий фактор развития общества. Такую «крамольную» мысль никто ясно не высказывает, но проводится она де-факто и стремительно вводится в учебную программу кафедры. И это вызывает уже не только серьезное беспокойство, но и решительный протест. Все причины, все факторы, которые сейчас сопрягаются с этносом, давно и внимательно изучаются и историками, и этнографами, и специалистами иных наук. Но до сих пор большую их часть относили к факторам и причинам общечеловеческого плана, воздействовавшим на человеческое общество в целом. Из этнографических разработок достаточно упомянуть положения о хозяйственно-культурных типах. Можно и нужно критиковать

многие положения эволюционистов, но нельзя забывать их понимание единства законов развития человеческой культуры, того, что объединяет людей. И в географии, и в экологии, и в психологии, и во многих других сферах жизни. В наше беспокойное, тревожное время об этом следует особенно помнить — мы люди одной планеты Земля, у нас во много раз больше общего, чем различного. В целом так и строилась учебная программа кафедры. Разделение интересов студентов по регионам не заслоняло общности большинства элементов культуры общества. Столь явное вычленение именно «этноса» как определятеля культурной специфики неверно по существу (с моей точки зрения), а следовательно, вредно и в теории, и в идеологии, и в практике. В нашем распоряжении пока нет убедительных научных разработок по многочисленным «этно...логиям». Стремление поспешно внести эти дисциплины в сознание студентов, в их подготовку просто непонятно, если исходить из заботы о прочном и фундаментальном их образовании.

Осознавая всю глубину происходящих в нашей стране преобразований и определяя свое место в этом процессе, прежде всего ощущаешь чувство большой ответственности за все, что делаешь и что предстоит еще сделать, — ведь нашими руками, руками педагогов, учителей создаются и будущее нашей науки, ее надежда, ее завтрашний день. И задача предельно ясна: сохранить все ценное и полезное, что накоплено советской школой этнографии, и передать это богатство нашим ученикам, воспитать в них борцов за марксистско-ленинское понимание исторических процессов в исследовании этнических отношений.

Для этого их следует вооружить прежде всего знаниями по истории нашей науки. Ведь каждое достижение советской этнографии давалось не просто, а в борьбе мнений, теорий, научных взглядов и школ. Необходимо не только показать студентам, но и закрепить в их памяти то разнообразие культур народов мира, которое открывает бесконечное богатство возможностей человека в его взаимоотношениях с окружающей средой, во взаимоотношениях народов друг с другом. И вместе с тем это необходимое основание для выявления того общего, что объединяет все человечество, что делает убедительным единство законов общеисторического развития общества и его культуры. Раскрывая перед студентами процесс рождения, формирования и развития особенностей конкретных культур, анализируя причины как их сходства, так и различий, мы имеем возможность воспитать в них прежде всего уважение к культуре каждого народа, большого или малого по численности. И вместе с тем именно на базе обширного фактического материала, которым располагает «региональная этнография», нагляднее всего проявляется действие различных факторов: географических, социально-экономических, политических и др. на культуру каждого народа.

В этом историческом аспекте получает убедительность и процесс возникновения, становления и изменения различных типов этнических общностей, особенности этнических отношений на разных стадиях исторического развития, их соотношение с другими факторами исторического развития. Подобный исторический подход к изучению истории народов, их формированию и особенностям их культуры на разных этапах развития создает возможность лучшего понимания законов, управляющих таким развитием, и, следовательно, реальные возможности для понимания, как эти отношения и особенности культуры могут и должны развиваться в будущем. Здесь нет и не должно быть, насколько это позволяют имеющийся фактический материал и степень изученности тем, искусственного выделения одних проблем и отодвигания в тень других. Ведь исторический процесс един и взаимосвязан во всех своих частях и проявлениях.

Разумеется, в конкретном исполнении — будь то курс лекций, работа семинара, тема курсовой или дипломной работы студента — сосредоточенность на одной теме, на группе проблем, на материалах од-

ного определенного региона или группы народов не только допустима, но и желательна. И разнообразие форм работы со студентами в МГУ дает здесь самые широкие возможности.

Не могу обойти молчанием состояние подготовки научно-педагогических кадров. Напряженность положения здесь типична не только для кафедры этнографии. Практически загруженность сотрудников кафедры педагогической работой такова, что все: и профессора, и доценты, и научные сотрудники, и лаборанты — вынуждены нести ту или иную педагогическую работу. В принципе это нормально, но степень такой нагрузки очень велика. У нас нет резерва. Уход по тем или иным причинам одного из работников каждый раз вызывает кризис — кому читать «покинутый курс лекций», кто заменит преподавателя на занятиях. О каких-либо командировках во время учебного года, даже кратковременных, невозможно и думать. А ведь течение времени неумолимо, следует подумать и о подготовке смены, и не только в плане «остепенения» — это четверть дела. Нужно подготовить педагога, воспитателя, лектора, а это сложная задача, не всем она по силам, должен быть какой-то отбор, проверка в работе. Сейчас такой возможности нет. И улучшения пока не предвидится. Сотрудники Института этнографии нас выручают часто, но это помочь — у всех свои обязанности. А педагогический коллектив кафедры должен быть достаточно стабильным, сосредоточенным на специфике обучения и воспитания студентов, — забот здесь хватает с избытком. И если учесть, что для подготовки преподавателя нужно после окончания вуза не менее 5—7 лет, то есть все основания для серьезного беспокойства.

Г. Г. Громов

Подготовка профессиональных этнографов в системе университетского образования предполагает решение целого ряда сложных вопросов, одним из которых является «чему учить?» и другим, не менее важным «как учить?». От правильной постановки этих вопросов в ходе всего учебного процесса во многом зависит конечный результат — подготовка квалифицированного специалиста в области этнографии.

Как показывает практика, настоящую этнографическую подготовку студент может получить только в том университете, где имеется кафедра этнографии, располагающая многопредметным циклом специализации. Что же касается предусмотренного общеуниверситетским учебным планом обязательного курса по основам этнографии для студентов первого курса исторических факультетов, то этот предмет преследует совершенно определенную цель — помочь студенту, только еще приступающему к изучению истории, правильно ориентироваться в исторически сложившемся этническом многообразии мира.

В своей статье В. В. Пименов вполне обоснованно затронул вопрос о программе «элементарного курса по основам этнографии» (хотя он по общему замыслу и исполнению не так уже элементарен). Исходя из личного опыта многолетнего чтения этого курса, мне трудно согласиться с автором обсуждаемой статьи, что главное внимание в нем следует уделять «проблемному показу и анализу социально-этнических ситуаций в разных регионах мира». Университетская практика преподавания всегда предполагает знание общих процессов, порождающих конкретные ситуации, знание общих законов развития человечества и специфических законов функционирования и развития этнических общностей. Для того чтобы как-то разобраться в сложных этнических проблемах современности, студент должен быть знаком именно с «основами» (а не с «азами» или социально-этнической эмпирией) этнографического знания в методологическом ракурсе исторической науки. Но все это в реальности скорее продукт, чем предпосылка, этнографического обучения. Первокурсник еще не обладает необходимой подготовкой для понимания этих проблем, а преподаватель в силу ограниченности лекционных часов не имеет воз-

можности дать развернутую трактовку означенных вопросов. Всякий раз возникает противоречивая ситуация, преодоление которой требует мастерства преподавателя и вдумчивого отношения к предмету со стороны студента. Приходится ориентировать слушателей на самостоятельную проработку ими ряда разделов программы, чтобы лектор имел возможность останавливаться только на основных проблемах читаемого курса. Впрочем, такие условия больше подходят для студентов старших курсов, нежели для первокурсников, для которых лекция по-прежнему сохраняет свое значение одной из главных форм учебного процесса.

В общем плане исторического образования курс по основам этнографии должен в первую очередь предусматривать ознакомление начинающего историка с этнической картой мира, с различными принципами классификации народов, с общими вопросами их культурно-исторического развития, этногенеза и этнической истории вплоть до современности и др. В задачи этого курса не входит раскрытие всех аспектов этнографической науки; следует четко разграничивать вопросы, имеющие прямое отношение к историческому образованию, и специфические вопросы собственно этнографии. Но все-таки ведущая идея этнографической науки — формирование этнической структуры человечества в разрезе мирового исторического процесса — должна по-своему освещать и занятия первокурсника.

Каковы же содержание и направленность подготовки специалиста на кафедре этнографии? В статье В. В. Пименова правильно отмечено что студент, окончивший эту кафедру, должен обладать способностью более или менее свободно ориентироваться в разных вопросах этнографии, уметь применить полученные знания в своей практической деятельности. Однако подготовить такого специалиста вовсе не означает наполнить учебный план кафедры «неупорядоченным множеством» общих и специальных курсов и спецсеминаров, охватывающих все стороны этнографической науки и сопредельных с нею дисциплин. Основное внимание при составлении учебного плана должно быть сосредоточено на разграничении этнографически главного и информативно-вспомогательного, т. е. на четком выделении профилирующих курсов и семинаров, которые могут обеспечить базовую подготовку настоящего этнографа, и на отработке методики всех форм учебного процесса, в том числе и «попутных».

В связи с этим в первую очередь встает вопрос о фундаментальных и нефундаментальных лекционных курсах. Конечно, фундаментальные курсы — это не «много лет читаемые традиционные курсы». Фундаментальные курсы — это те курсы, которые закладывают фундамент этнографического образования. Можно спорить о том, какие курсы следует считать фундаментальными. В моем понимании фундаментальность курса заключается в тех познавательных предпосылках и результатах, которые дают возможность студенту, прослушавшему курс, получить навыки решения той или иной актуальной проблемы этнографии. Например, если студент прослушает методологически основательно взвешенный, с охватом ведущих проблем и тщательным подбором фактического материала лекционный курс по какой-либо одной конкретной стране, он получит ясное представление, как самостоятельно разобраться в литературе по региональной этнографии вообще. Или другой пример: прослушав должным образом подготовленный курс по материальной культуре одного или группы народов, студент будет иметь надежный ориентир для трактовки вопросов материальной культуры в целом. Таким образом, фундаментальные курсы, закладывающие основу этнографического образования, сами должны опираться на прочную базу накопленных и систематизированных этнографических знаний. Таких курсов должно быть немного, но вполне достаточно, чтобы охватить основные стороны этнографической подготовки.

По своей проблематике, с учетом новейших разработок по затронутым в них вопросам, эти курсы должны быть относительно стабиль-

ными, обязательными для получения студентами базового этнографического образования. Для успешной подготовки квалифицированного этнографа фундаментальные курсы должны преобладать над нефундаментальными, основной задачей которых является ознакомление студентов с различными развивающимися направлениями в этнографической науке, а также с отдельными проблемами, разрабатываемыми самими преподавателями или получившими значительное отражение в этнографической литературе. Видимо, не следует торопиться включать в учебный план такие научные дисциплины, которые еще только зарождаются, а потому, как правило, не имеют еще четкого обоснования своего научного предмета, а главное, еще всерьез не апробированы в «большой науке». О них можно, конечно, упомянуть в общем обзоре перспективных гипотез, но и только. Следовательно, в преподавательской практике с жестким лимитом учебного времени не должно быть предметов, еще не занявших устойчивого положения в науке.

Перестройка работы высшей школы настоятельно требует повышения качества и педагогической эффективности всех читаемых общих и специальных курсов, которые должны быть максимально проблемными. В них следует предельно сократить чисто информативный материал, который студент может освоить в процессе ознакомления с рекомендованной литературой. Но при этом его внимание должно быть сосредоточено на том, как эмпирические данные формируются наукой, становясь объективными фактами и утверждениями. Особо следует приветствовать спецкурсы, являющиеся плодом самостоятельного творчества преподавателя, т. е. целиком построенные на его оригинальных исследовательских разработках. Такие курсы увлекают студентов, знакомят их с процессом возникновения и развития научных проблем, со способами интерпретации этнографических фактов, а значит, целенаправленно прививают вкус к творческой деятельности.

В системе вузовской подготовки этнографических кадров одно из главных мест принадлежит специальному семинару, предназначенному для студентов старших курсов, в основном уже знакомых со спецификой этнографических знаний. Эта форма обучения, независимо от предложенной тематики, предполагает тесный контакт студента и преподавателя, который в течение всего учебного года получает возможность направлять и контролировать работу студента над первичными источниками и специальной литературой, а также оценивать формирующиеся у начинающего этнографа необходимые навыки на пути к самостоятельной постановке и решению специальных вопросов. Семинар лучше, чем какая-либо другая форма обучения позволяет студенту показать свою профессиональную подготовленность, умение написать научный доклад, принять участие в дискуссии и т. д. Работая в специальном семинаре, студент приобретает умение мыслить категориями избранной им науки, практически постигает то, что называют «специфической логикой данного научного предмета».

Звучащие в выступлениях печати в связи с перестройкой высшей школы призывы к повышению роли самостоятельной работы студента над освоением изучаемой дисциплины могут реально воплощаться в жизнь и дать ощутимые результаты при наличии у него вкуса и навыков к такой работе, которые он получает, только активно участвуя в специальном семинаре. Эта мысль выглядит ординарной, но в обыденной деятельности кафедры этнографии МГУ это совершается именно так. Семинарская форма вузовской подготовки специалиста не должна подменять собой лекционной формы занятий, ибо они суть самостоятельные, тесно связанные между собой и дополняющие друг друга стороны одного общего процесса усвоения знаний. В связи с этим встает вопрос об оптимальном соотношении лекционных и семинарских занятий в практике обучения. Вопрос этот дискуссионный. При его решении нужно, по-видимому, дифференцированно подходить к организации учебной работы на разных курсах. На младших курсах приоритет следует отдавать лекциям, так как студенты еще не обладают достаточ-

ными навыками самостоятельной работы и лекционный материал в данном случае преследует не только чисто познавательные цели, но главным образом помогает ориентироваться в проблематике изучаемой предмета. На старших курсах семинарские занятия приносят больший эффект, и здесь вопрос о соотношении между лекциями и семинарами может быть решен в пользу последних. Но это при обязательном условии, что лекции будут носить преимущественно проблемный профиль, имеющий характер и давать целостные комплексы «предпосыпленного знания», необходимого для работы в спецсеминаре.

Реальное соотношение разных форм учебного процесса зависит от учебного плана кафедры, который по своим отчетливо выраженным установкам должен соответствовать задачам подготовки специалистов. Таким образом, багаж знаний, с которым студенты выходят с кафедры, в конечном итоге упирается в основные направления содержания учебного процесса или, как выражается автор статьи, приоритетные направления. Предложенные В. В. Пименовым четыре приоритетных направления, кроме последнего, которое в той или иной степени всегда было представлено на кафедре этнографии МГУ, не могут быть безоговорочно положены в основу обучения студентов этнографии. В данном случае, на мой взгляд, автор не разграничивает или не видит различия между академической и вузовской этнографией, т. е. названные в статье направления имеют полное право на разработку в академическом учреждении, но их нельзя положить в основу этнографической подготовки студентов. Как гипотезы, еще нуждающиеся в предметной и концептуальном оформлении на уровне научно-академического исследования, они не могут быть тотчас же переведены на язык непосредственного преподавания. Основная задача преподавателя — просто, логично, в доступной для понимания форме изложить самые сложные проблемы изучаемого предмета, что невозможно сделать без его достаточной научной разработки. Учить студента можно только тому, что уже отстоялось в науке, получило свою форму и содержание. Разумеется, этим не отрицается полезность ознакомления студентов с конкретными научными поисками в различных сферах современной этнографии, но, повторяю, любой заманчивый поиск должен обрести хорошо обоснованную научно-предметную базу, прежде чем стать учебным курсом.

Возможно, предложенные в статье «приоритетные направления» и найдут свое специфическое применение в этнографии, но необходимо еще очень многое для того, чтобы эти предложения были позитивно восприняты и каким-то образом включены в исторически (а не социологически) ориентированную программу подготовки специалистов на кафедре этнографии исторического факультета МГУ. Кстати, здесь не принято козырять понятием «этнический фактор» без определения, в какой именно исторической системе (или системах) возникает, действует, выполняет свою конкретную роль этот фактор наряду с другими факторами жизнедеятельности народов и этнических групп.

В своей статье В. В. Пименов настаивает на «серьезном изменении» учебного плана нашей кафедры, оставляя в стороне ту очевидную истину, что это один из учебных планов *исторического*, а не какого-либо иного факультета. Вряд ли сотрудники кафедры откажутся от перегруппировки существующих учебных предметов и внесения новых с целью более полного отражения актуальных направлений современной этнографии, но базироваться этот план должен на фундаментальных курсах которые почему-то в статье названы «историко-этнографическими сюжетами». На историческом факультете МГУ любые, а тем более ведущие дисциплины (включая, разумеется, дисциплины этнографического профиля) преподаются не в качестве некоторых «сюжетов», а в качестве целостно сформированных направлений и отдельных сторон рационально дифференцированного и систематизированного исторического знания. Неужели нужно еще раз доказывать, что любые предметы на кафедре этнографии, в том числе и освещющие современность, строятся на основе принципа историзма? Этнография тем и отличается от собственно соци-

альных дисциплин, что изучаемые ею фрагменты и комплексы явлений этнокультурной действительности всегда рассматриваются сквозь призму и функционального, и исторического (генетического и типологического) анализа. Кстати, читая журнал «Советская этнография» за последнее время, во многих публикациях обнаруживаем эту же мысль.

Актуальная ориентация на совершенствование этнографии в вузе не означает введение все новых и новых курсов без продуманного содержательного и временного (в учебных часах) обеспечения всей учебной программы. Здесь главную роль играет не количество читаемых курсов, а их качество и познавательная направленность. Этому требованию соответствуют также строгие рамки почасовой учебной нагрузки студентов. Увеличивая число курсов, нельзя надеяться, что «количество перейдет в качество», наоборот, сначала надо подумать о целесообразности введения и ожидаемом качестве лекционных курсов и семинаров, т. е. об их содержании, а потом уже отобрать нужное число курсов с учетом отведенного объема часов на специализацию.

Прежде чем вносить «серезные изменения» в учебный план, т. е. существенно перерабатывать сложившуюся на основе многолетней педагогической практики его структуру, необходимо четко и убедительно сформулировать текущие задачи кафедры в свете оправдавших себя тенденций развития этнографии как исторической дисциплины. Следует серьезнее подумать и о подготовке таких учебных пособий, в которых бы не в порядке беглой скороговорки, а в развернутом виде были даны исчерпывающие определения предмета, целей и методов этнографической науки.

Действовавший в последние годы на кафедре этнографии учебный план не был обращен только в прошлое этнографии, как можно понять из статьи В. В. Пименова. Он содержал ряд курсов, освещавших некоторые вопросы современности, таких, как «Социалистическая цивилизация и развитие культуры народов СССР», «Решение национального вопроса в СССР и этническое развитие народов советской страны», «Проблемы этносоциологии», «Современная семья народов СССР» и др.

Представляется, что начавшаяся дискуссия о предметном содержании и практической направленности вузовской этнографии в немалой степени есть порождение ситуации, в которой на переднем плане оказался вопрос о связи и пропорциональном соотношении в учебном процессе фундаментальных и прикладных знаний, дисциплин и методик. Одни участники дискуссии настаивают на повышении приоритетной роли междисциплинарных и прикладных предметов, другие резонно стоят за то, чтобы фундаментальные знания о природе и закономерностях развития этнографических объектов носили характер исходных (т. е. приоритетных) знаний, составляя стержень всей системы преподавания этнографии в вузе. Будем надеяться, что, несмотря на полемический задор, специалистами нелегкого вузовского труда будет в конечном итоге достигнуто согласованное решение о содержательно-сущностной модели комплексной вузовской этнографии. Работая над этой проблемой на историческом факультете, следует за добрый совет принять слова академика И. Д. Коваленко: «Наука должна идти впереди практики. Она должна быть готова к решению не только стоящих задач, но и тех, которые могут возникнуть и в ближайшем и даже в более отдаленном будущем. Чтобы такая готовность была, историческая наука, представляющая собой (как и всякая другая наука) определенную познавательную систему, должна в целом развиваться комплексно и гармонично»<sup>1</sup>.

В этой связи хочется еще раз услышать четкий ответ инициатора дискуссии В. В. Пименова на три классических вопроса: на уровне исторического университетского образования будущими этнографами по про-

<sup>1</sup> Коваленко И. Д. Методы исторического исследования. М., 1987. С. 57—58.

фесии что познается, как познается, для чего познается? Одним словом какова та область познания, которую мы без колебаний можем квалифицировать как этнографическую и сосредоточить на ней все свое и учущееся молодежи внимание?

**К. И. Козлов**

В условиях современных грандиозных перемен в нашей стране, развитии гласности и демократии советская этнографическая наука занимает активную позицию. Об этом свидетельствует дискуссионная статья заведующего кафедрой этнографии МГУ проф. В. В. Пименов посвященная наболевшим вопросам обучения и воспитания специалистов в области этнографии.

Перемены, происходящие в различных отраслях народного хозяйства, науки и культуры, широко освещаются в печати, в том числе и на страницах научных изданий. К сожалению, эти публикации не всегда адекватно отражают действительность. К числу обсуждаемых проблем относятся и проблемы высшей школы, и в первую очередь воспитания молодых специалистов. Следует понимать, что каждая ошибка, допущенная в процессе воспитания молодежи, может иметь весьма негативные последствия. Любое предложение, высказанное в этой области, нужно особенно тщательно взвешивать и всесторонне обдумывать.

В дискуссионной статье, на наш взгляд, правильно указаны основные задачи советской этнографической науки в период до 2000 г. и далее, в ней также подняты важные проблемы университетской специализации, однако многие вопросы ждут еще своего решения. И конечно, их невозможно поставить и решить в одной журнальной статье, тем более если при этом охватывается система этнографического образования в масштабах страны. Есть только один выход. Видимо, участники дискуссии, дополняя В. В. Пименова, должны поднять и обсудить не только конкретные или региональные, но и общие, интересующие всех проблемы. Принимая во внимание это замечание, постараемся высказаться по некоторым вопросам, расширяя их диапазон в нужном направлении.

В первую очередь следует сказать об учебных программах. Мы полностью согласны с мнением В. В. Пименова о том, что существующая ныне система обучения и специализации этнографов не отвечает требованиям современности и нуждается в серьезных доработках. Здесь речь идет не только об МГУ или других центральных университетах, но и о системе университетского образования в нашей стране в целом. Правда, нельзя все-таки не учитывать региональную специфику в системе обучения в различных университетах, но это может быть отображено в специальных курсах, подбор и планирование которых входит в компетенцию кафедры. А как обучать студентов — общей этнографии или же знакомить их с новыми направлениями в этнографии? Думается, здесь все университеты должны быть в одинаковом положении. В настоящее время это далеко не так. Например, как нам стало известно из статьи В. В. Пименова, в МГУ курс этнографии народов зарубежных стран читается четыре семестра; немало часов уделяется этнографии народов СССР (что правильно). В то же время в Тбилисском государственном университете (ТГУ) для полного курса основ этнографии выделен всего лишь один семестр, т. е. 16 академических часов и столько же часов семинарских занятий! Нам до сих пор непонятно, почему в ТГУ этнографы специализируются с третьего курса, а студенты первого и второго курсов не могут выполнять курсовые работы по этнографии, хотя общая этнография читается им в первом семестре первого курса. Для нас этот вопрос имеет жизненно важное значение, и от его правильного решения зависит многое — мы должны достигнуть общесоюзного уровня университетской специализации этнографов.

Очевидно, надо поддержать предложение В. В. Пименова о введении в ближайшем будущем новых специальных курсов. Автор ставит вопрос о разработке типовых и рабочих программ, лекционных курсов по этнографии города, по проблеме «Социалистический образ жизни и его этническая

ческие аспекты», по этнодемографии, этнопсихологии и фольклористике, по прикладной этнографии (включая прогнозирование этнических процессов). Это, несомненно, улучшит подготовку профессиональных этнографов и расширит ее диапазон в том случае, если эти курсы будут вести квалифицированные специалисты. Увы, думается, не все вузы нашей страны располагают сегодня такими преподавателями. Может быть, стоило бы подумать о создании на базе МГУ (с приглашением ведущих ученых из академических научных центров Москвы, Ленинграда и др.) курсов для усовершенствования преподавателей этнографических кафедр?

В обсуждаемой статье ставится вопрос о совершенствовании лекционного курса и, видимо, соответственно учебника по общей этнографии. В связи с этим стоило бы отметить, что по обеспеченности учебниками этнографии наша отрасль — одна из самых отсталых. Не говоря уже о том, что учебников очень мало, некоторые устарели, не решен вопрос об их переиздании и тиражировании. Учебники по основам этнографии, по истории зарубежной этнографии и другим этнографическим дисциплинам стали библиографической редкостью. Вообще отсутствуют учебники или вспомогательные пособия по новым курсам, которые уже читаются в университетах сегодня или предполагается их чтение в будущем. Подготовить и издать учебники или учебные пособия по новым теоретическим и методологическим течениям в этнографии, прикладной этнографии и смежным с этнографией наукам — неотложная задача.

Несколько слов о перестройке и совершенствовании основных лекционных курсов. Нельзя согласиться с положением автора дискуссионной статьи, что в лекционных курсах и соответственно в учебниках надо отказаться от описательно-страноведческого изложения фактических историко-этнографических сведений и перейти к проблемному показу социально-этнической ситуации в различных странах мира. Думается, такой подход однобок. Не стоит забывать, что описательная сторона в нашей науке отражена и в самом термине «этнография». Мы далеки от мысли, что описательно-страноведческий подход должен преобладать, что не следует включать в лекционные курсы и учебники положения, обобщенные на основе современных теоретических и методологических принципов. Однако пренебрежение к описательно-страноведческому подходу в этнографии, по нашему глубокому убеждению, подрывает предметную сферу этнографии. К сожалению, мы иногда забываем не только об огромной источниковедческой ценности описательной части этнографических исследований, но и о красоте и экзотичности описываемых фактов, которые так украшают этнографию и привлекают к ней студентов. За последние годы мы стали свидетелями ряда этнографических исследований, в которых внешняя проблематичность и излишняя теоретизация порою доходят до бесплодного эклектизма, а их «терминотворчество» переходит всякие границы. Авторам этих работ следует напомнить, что нагромождение избитых в биологии и физике терминов не указывает на оригинальность и фундаментальность исследований. Думается, такая «перестройка» не внесет ничего полезного ни в университетские лекционные курсы, ни в учебники.

Примечательно, что описательно-страноведческого аспекта В. В. Пименов касается, когда рассуждает о фундаментальности лекционных курсов. Мы не считаем нужным спорить по поводу самого понятия фундаментальности лекционных курсов, но, думается, в дискуссионной статье проявляется одна неоправданная тенденция. Выше мы поддержали мысль В. В. Пименова о необходимости введения новых лекционных и специальных курсов, но это нужное дело не должно привести нас к другой крайности — нанести ущерб преподаванию фундаментальных этнографических дисциплин. Стоило бы отметить, что главным для подготовки квалифицированных этнографов в настоящем и будущем должны оставаться традиционные этнографические дисциплины. Широкое введение курсов по этнопсихологии, этносоциологии, этнодемографии и других дисциплин может нанести ущерб и так ограниченным курсам

по фундаментальным этнографическим дисциплинам. То же можно сказать о методике, в частности о методике полевых исследований. Действительно, если мы сегодня широко пользуемся статистическим методом, методами количественного и структурного анализа, используем достижения информатики, то основой этих методических приемов остаются все же непосредственное наблюдение, опрос-интервью и другие традиционные методы полевых исследований.

В. В. Пименов ставит и другие вопросы подготовки профессиональных этнографов. Совершенно справедливы его суждения о необходимости подготовки профессиональных этнографов к практической деятельности, о включении их в учебно-производственные процессы или научную деятельность кафедры. Это, конечно, нужное дело, но и здесь не следует упускать из поля зрения общую нагрузку студентов. Наверное, опытный лектор не раз замечал, как студент читает во время лекции или готовит конспект по другому предмету. Это явление говорит прежде всего о перегрузке студентов различными лекциями и семинарами по неспециальному, второстепенному, а порой и совсем ненужным (по крайней мере для этнографа) дисциплинам. И все это в ущерб специальным предметам. Не потому ли в конечном итоге мы получаем так называемого «универсального специалиста», который в своей основной специальности не чувствует себя достаточно уверенным? В настоящее время, когда мы стоим перед задачей перестройки всего учебно-воспитательного комплекса, мы должны учесть и эту сторону подготовки специалиста-этнографа.

В. В. Пименов уделяет внимание и другому аспекту этой проблемы. Он ставит вопрос о подготовке специалиста широкого профиля в самой этнографии. Как бы заманчиво ни выглядела эта идея, гарантии для практического её осуществления сегодня мы не имеем. Период обучения в университете короток, и существующая ныне учебно-воспитательная система специализации не дает возможности подготовить специалистов одновременно в области этногенеза, материальной и духовной культуры, этнического картографирования. В условиях ускоренного развития науки, в том числе и этнографии, резкой дифференциации ее различных сфер стремление к равномерному освоению накопленных знаний по всем указанным выше направлениям и подготовке специалистов широкого профиля приведут нас к такой «универсальности», о которой говорилось выше. Существующая практика специализации, которая требует органической связи курсовых и дипломных работ студентов с определенными проблемами, регионами и народами и подразумевает постепенное расширение и углубление теоретических, методологических и практических знаний, думается, имеет перспективу и в будущем. Широкий кругозор должен основываться на углубленном, а не на поверхностном знании. А основополагающие, фундаментальные знания мы можем дать сегодня студентам лишь по определенным проблемам и направлениям. Полученные в аудиториях университета знания и навыки специалисты-этнографы впоследствии, в своей научной и практической деятельности, должны усовершенствовать и углубить не только по одной проблеме, но и по другим направлениям, определенным регионам и народам.

Полевая экспедиционная работа является одной из традиционных и основных в деятельности наших кафедр. Многие специалисты-этнографы, которые в свое время сами прошли эту практику, согласятся, что первая студенческая экспедиция и первая встреча с информаторами незабываемы. К сожалению, сегодня эта романтика постепенно уходит в прошлое. Дело в том, что существовавшая на нашей кафедре практика полевых экспедиций студентов в масштабах страны, которыми руководил акад. Г. С. Читая, постепенно угасла. И это не зависело лишь от пассивного отношения последующих руководителей кафедры к этой необходимой сфере нашей работы. Только за последние 4 года в университете трижды менялся план практики студенческих полевых экспедиций, что связано прежде всего с финансовыми трудностями. Сколько уходит сил и времени на добывание транспорта, горючего даже для од-

нодневных обзорных выездов в окрестности Тбилиси! В таких условиях экспедиция, которая нуждается не только в транспорте и соответствующей экипировке, но и в других средствах, становится невозможной. Решится ли этот довольно болезненный вопрос в условиях перестройки?

Когда мы касаемся вопросов экспедиции и студенческой практики, необходимо вспомнить об участии студентов в третьем трудовом семестре, что предусматривает у нас только физическую работу на сельскохозяйственных и промышленных объектах, в строительстве и т. д. Очевидно, вместе с археологами, искусствоведами и студентами других гуманитарных специальностей этнографов можно занять более целенаправленно. В настоящее время многие студенты исторического факультета ТГУ, в том числе и этнографы, изъявляют желание участвовать в реставрации памятников культуры в различных районах республики. По всей вероятности, целесообразно отправлять отдельные отряды этнографов в традиционные горные селения для исследования этнографических древностей, сбора музеиных коллекций, семейных архивов, полевых этнографических материалов по традиционным и современным аспектам быта и культуры. Результаты такой многолетней работы действительно можно было бы использовать для прогнозирования и планирования социально-культурных процессов в указанных селах. Мы полностью поддерживаем опыт кафедры этнографии МГУ, заключающей с подобной целью договора с пригородными колхозами и совхозами, тем более что в окрестностях Тбилиси имеется много сел с богатым историческим прошлым, в которых прекрасно совмещаются традиции и современность.

Хотелось бы также затронуть вопрос о всесоюзных научных студенческих конференциях, о которых не говорится в дискуссионной статье. Это не новшество; такие конференции проводились на базе кафедр этнографии ведущих университетов страны, в частности в Московском, Тбилисском, Ереванском и др., где студенты-этнографы всей страны (иногда и приглашенные из социалистических стран) получали возможность вести научный спор, устанавливали личные контакты, знакомились с достопримечательностями, музеями, памятниками материальной культуры городов и республик нашей страны и расширяли свой кругозор. Выявленные на этих конференциях лучшие доклады отмечались различными призами и грамотами, и, если удавалось опубликовать тезисы студенческих работ, они обычно являлись первой печатной продукцией, стимулирующей дальнейшую научно-изыскательскую работу будущих специалистов. По-видимому, эта практика нуждается в активной поддержке в настоящее время, но и здесь существует сопротивление вышестоящих инстанций. В апреле 1986 г., по предложению кафедры этнографии МГУ как ведущего координационного центра страны, было решено провести очередную всесоюзную студенческую конференцию в ТГУ. Нельзя не сказать о трудностях, которые встретились организаторам этой конференции уже на республиканском уровне. А наша заявка в Министерство высшего и среднего специального образования была отвергнута, но причин отказа не объяснили. Вот вам поучительный пример отношения к делу «сверху», когда рядовой винтик «чиновничьей» машины одним взмахом пера может перечеркнуть усилия и труд многих людей.

Создание учебно-производственных филиалов кафедры требует твердой материально-технической базы. Такие филиалы должны обеспечить занятия студентов в прикладной сфере и приблизить их к производству. Хорошо, что с 1987 г. эта практика стала обязательной для гуманитарных кафедр. Кафедра ТГУ создала такой филиал в Музее грузинской народной архитектуры и быта под открытым небом в Тбилиси, где предусмотрено проведение многих интересных мероприятий, начиная от выставок и до полевой экспедиционной работы. Эта практика будет способствовать профессиональному росту студентов и одновременно поможет научной организации музея.

Давно был поставлен вопрос о создании научно-организационного этнографического центра в масштабах страны. Поэтому заслуживает поддержки мнение В. В. Пименова о создании всесоюзной государственной

этнографической службы. В пользу создания такой организации имеется более чем достаточно аргументов, и в статье они хорошо обоснованы, хотя значение ее для университетской специализации не должно сводиться только к заказу на подготовку профессиональных этнографов. Мыслится отдельная секция, которая займется университетской специализацией в стране, подготовкой и распределением молодых квалифицированных кадров; надо предусмотреть также широкий спектр вопросов по координации деятельности различных вузов.

Вполне объяснимой и объективной причиной вызвана необходимость расширения сети учебных заведений по специальности «этнография». Мы полностью согласны с мнением В. В. Пименова, что в нашей стране их недостаточно. По всей стране, как известно, имеются всего лишь три самостоятельные кафедры этнографии (в Москве, Ленинграде, Тбилиси). В некоторых вузах этнография объединена с другими специальностями (археологией, искусствоведением, краеведением, фольклористикой и др.), а в подавляющем большинстве университетов вообще отсутствует специализация по этнографии. При таком положении вещей не приходится говорить о какой-либо удовлетворительной материально-технической базе, в частности об учебно-воспитательных лабораториях наглядных пособиях, библиотеках, экспедиционных студенческих стационарах и т. д.

Теперь уже ясно, что без координации на всесоюзном уровне нам не удастся обеспечить относительно прочную гарантию дальнейшего улучшения университетской специализации. Разрозненность и обособленность, вызвавшие застой в нашей работе, ныне уже немыслимы. Поэтому мы считаем весьма своевременным предложение В. В. Пименова об организации ежегодно (или хотя бы раз в два года) встреч университетских этнографов для совместного обсуждения перечисленных выше и других актуальных проблем подготовки профессиональных этнографов. Хочется, чтобы эта идея, как и многие другие полезные начинания, не угасла под воздействием пресловутой «финансовой экономии».

Проблема координации наших кафедр должна решиться в ближайшем будущем, но сегодня этого уже недостаточно. Пришло время положить конец замкнутости в нашей работе. Парадоксально, что мы не располагаем возможностями ознакомиться с практикой университетского, в том числе этнографического, образования не только капиталистических стран, но и стран социалистического содружества. Если быть откровенным, такое положение вызвано отношением к этнографии как к второстепенной дисциплине со стороны руководства вышестоящих инстанций. Почти за 50 лет существования нашей кафедры ее члены ни разу не были командированы за рубеж для ознакомления с опытом организации учебно-воспитательного процесса подготовки профессиональных этнографов, стажировки, на международные конгрессы, сессии, симпозиумы и т. д. В то же время представители других специальностей, в том числе и исторических дисциплин, регулярно посещают зарубежные университеты и научные учреждения, часто это одни и те же лица. Пришло время положить конец подобной порочной практике и установить деловую научную координацию преподавателей кафедр этнографии с зарубежными университетами. То же можно сказать и о приглашении зарубежных специалистов для обмена опытом, в частности в разработке совместных научных проблем, мероприятий прикладного характера и т. д. Этот вопрос поставлен не случайно. В настоящее время мы ожидаем положительных перемен и в этой области. Во всяком случае, уже второй год появилась возможность посыпать на стажировку в зарубежные университеты одного-двух студентов. Наша кафедра направила студентов в университет в Бомбей. Вопреки всем трудностям, существующим пока еще в организации этого весьма полезного дела, мы приветствуем его и вновь подчеркиваем необходимость распространения этой практики и на преподавателей кафедры.

Еще об одном важном аспекте перестройки нашей работы хотелось бы услышать и от других участников дискуссии. Мы не должны забывать

о важнейшем принципе сегодняшнего времени: как и в других отраслях народного хозяйства, науки и культуры, перестройка университетского этнографического образования должна начинаться с нас самих. Готовы ли мы перестраиваться в соответствии с теми огромными задачами, которые ставятся перед нами сегодня? Только постоянное повышение профессионального уровня, углубление и совершенствование педагогического мастерства, критический подход к собственным возможностям, упорство, стойкость и принципиальность в преодолении и решении самых разнообразных проблем университетского образования в сочетании с высокими моральными и нравственными качествами могут дать нам право и гарантию успешного воспитания профессиональных этнографов, способных полностью раскрыть свой талант и умение в различных сферах науки и культуры нашей страны в XXI столетии.

Как видно, проблема подготовки молодых этнографов весьма многогранна. В одной дискуссионной статье и в откликах на нее невозможно охватить все аспекты воспитания профессиональных этнографов. И все же мы считаем, что инициатива В. В. Пименова в условиях гласности и перестройки может стать переломным этапом в дальнейшем развитии и совершенствовании университетского образования и подготовки профессиональных этнографов.

**В. М. Шамиладзе**

**А. Б. Радзюн****ФРЕДЕРИК РЮЙШ И ЕГО АНАТОМИЧЕСКАЯ  
КОЛЛЕКЦИЯ В МУЗЕЕ АНТРОПОЛОГИИ  
И ЭТНОГРАФИИ**

В собраниях Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого неизменный интерес посетителей вызывают одни из первых экспонатов музея — анатомические препараты выдающегося голландского анатома Фредерика Рюйша, 350 лет со дня рождения которого исполнилось в марте 1988 г. Глядя на прекрасно сохранившиеся препараты Рюйша (Рейса, Рейша), трудно поверить, что такое высокое искусство их изготовления могло существовать 300 лет назад.

После многовековых запретов, налагавшихся церковью на вскрытие человеческих трупов, в эпоху Возрождения возникла целая плеяда блестящих анатомов, заложивших фундамент истинных представлений о строении и функциях человеческого тела.

В XVII в. роль передового центра в Европе в области экономики и культуры перешла от Италии к Нидерландам. Научным их центром стал Лейден, его университет привлекал ученых из разных стран. Не случайно в это время в Нидерландах сложилась прекрасная анатомическая школа и приобрела мировую известность как наиболее передовая.

В голландской школе учились Гарвей, Галлер и многие другие крупнейшие ученые разных стран Европы. Среди голландских ученых, занимавшихся в это время анатомией, нужно отметить Иоанна Сваммердама, Ван-Горна, Ренье Граафа, Готфрида Бидлоо, Фредерика Рюйша. Большую известность получил преподаватель Лейденского университета Герман Бургав. Его курс клиники внутренних болезней и общей патологии приезжали слушать студенты и врачи из других стран. Многие анатомы того времени, изобретая различные способы консервации и изготовления музейных препаратов, держали их втайне от конкурентов и превращали в средство личного обогащения. Этую эпоху К. Бэр (основоположник антропологии, много лет проработавший в России) характеризовал как «золотой век» для анатомов в буквальном смысле этого слова<sup>1</sup>.

Фредерик Рюйш родился 23 марта 1638 г. в Гааге в почтенной голландской семье. Когда ему исполнилось 16 лет, умер его отец, оставил мать с шестью детьми. Фредерик был определен учеником к аптекарю и к 1661 г. уже имел собственный магазин и лицензию. Молодой аптекарь начал изучать медицину. Одержанность в работе была главной его чертой. Впоследствии он напишет в письме к Герману Бургаву: «Никогда солнце не поднималось слишком рано для меня, а ночь всегда наступала скорее, чем я хотел»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Цит. по Гинзбург В. В. Анатомическая коллекция Ф. Рюйша в собраниях Петровской Кунсткамеры // Сб. Музея антропологии и этнографии (далее — МАЭ). Т. 14. 1953. С. 267.

<sup>2</sup> *Ruyschius Fr. De Fabrica Glondularum in corpore Humano. Epistola responsoria ad H. Boerhaave. Lugduni Batavorum. 1722.* Цит. по *Lujendijk-Elshout A. M. Death Enlightened: A Study of Frederik Ruysch* // J. Amer. Med. Assoc. 1970. Apr. 6. V. 212. № 1. P. 122.



Рис. 1. Анатомические занятия проф. Ф. Рюйша (Рюйш второй справа)

Препарированием анатомических материалов Рюйш начал заниматься в Лейденском университете. В лаборатории Ван-Горна он наблюдал эксперименты Сваммердама, который изобрел способ инъекции кровеносных сосудов отвердевающими массами. В 1667 г. Сваммердам получил первый препарат, в котором кровеносные сосуды были заполнены воском. Техника инъекций произвела на Рюйша глубокое впечатление, он немедленно начал изучать ее, стремясь усовершенствовать. Ему принадлежит открытие непревзойденного способа инъекции — наливки окрашенным составом кровеносных сосудов человеческого тела, что давало возможность обнаружить мельчайшие разветвления сосудов внутренних органов, долго остававшиеся неизвестными предыдущим исследователям.

28 июня 1664 г. Рюйш получил звание врача и в следующем году был приглашен для работы в качестве демонстратора анатомии в Амстердамскую хирургическую школу (рис. 1). Вскоре его пригласили также преподавать анатомию в школе для акушерок в Амстердаме, и с 1668 г. их обучение было полностью вверено Фредерику Рюйшу. Эти занятия, хотя и весьма обременительные, позволили ему собирать материал, который он препарировал для своих коллекций. С 1679 г. Рюйш стал также судебным медиком, что дало ему доступ к телам жертв преступлений. Муниципальные власти неоднократно противодействовали выдаче трупов для изучения и препарирования. Рюйшу пришлось вступить в борьбу с городскими авторитетами за приумножение своих коллекций, которые со временем стали известными. С 1685 г. Рюйш — профессор анатомии и ботаники, он возглавил кафедру Амстердамского университета, которой руководил до конца своей жизни.

Большую славу стяжал Рюйш как бальзамировщик. В этом искусстве он не был превзойден и спустя два века после своей смерти. Существует легенда, что Петр I якобы поцеловал лежавшего в кабинете анатомии бальзамированного ребенка, принял его за живого. Свой метод Рюйш держал в тайне. Вероятно, его знали только дети Рюйша — Генрих и Рахиль, помогавшие отцу в работе. Генрих умер раньше отца, а Рахиль никому не открывала его секретов. Хотя Рюйш давал высокую оценку своим препаратам и говорил, что с годами они становятся все лучше, приобретая более насыщенную окраску кожи, они оказались не столь долговечными и со временем потеряли естественный вид.



Рис. 2. Пятимесячный плод

Наиболее удачные препараты Рюйш сохранял в своем доме. Он преследовал главным образом демонстрационные и коммерческие цели, устраивая свой «Кабинет». Образцы выставленные здесь, были выполнены не только искусно, но и «занимателльно». Они должны были выглядеть, по мнению Рюйша, приятно и естественно, поэтому препараты детских ручек и ножек снабжались тонкими батистовыми рукавичками и кружевными манжетами. Некоторые плоды украшались веночками, бисерными браслетами, крошечными свечками (рис. 2). В маленьких гробиках лежали бальзамированные тела детей в кружевных одеяниях, украшенные бусами и цветами.

Как уже говорилось, Рюйш был очень искусен в инъекции кровеносных сосудов. Применяя мацерацию (вымачивание) инъцированных органов в воде (чтобы разрушить соединительную ткань), он получал грозди кровеносных сосудов, наполненных отвердевшим подкрашенным составом, что давало возможность наглядно изучать сосудистую сеть во всей ее сложности. Рюйш умел делать настолько тонкие инъекции, что ему удалось наполнить красителем даже артерии надкостницы слуховых косточек, недаром эта техника получила название «рюйшевского искусства». Оно видно особенно хорошо на препаратах детских головок с вскрытой черепной крышкой (рис. 3). Детские головки, сохраняющие естественный цвет кожи, с розовыми пухленькими губами и блестящими (искусственными) глазами являются украшением собрания Рюйша.

Возможно, наряду с высокой техникой инъекции сосудов анатом прибегал в своей работе и к действию личинок насекомых. Во всяком случае, ему было известно, что при помощи личинок можно получить остав листа — всю сосудистую сеть листа того или иного растения. Личинки



Рис. 3. Препарат детской головки с инъецированными кровеносными сосудами (фото В. Е. Балахнова)

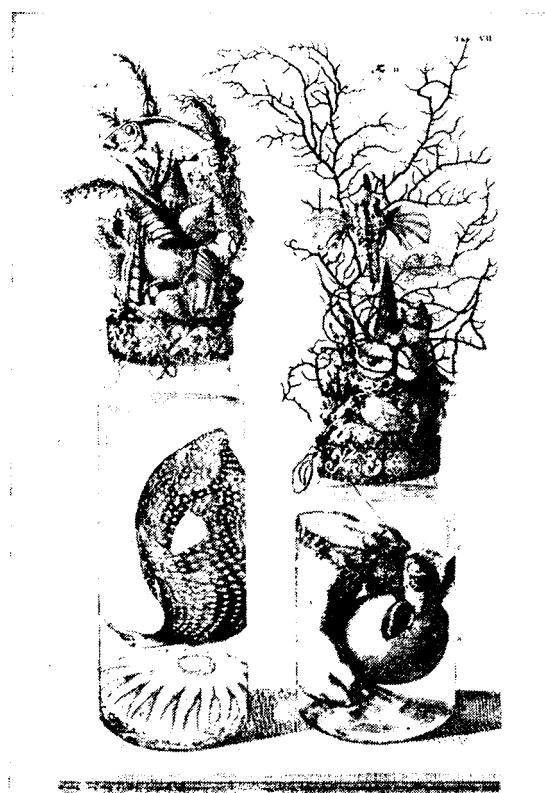


Рис. 4. Примеры монтиrovki экспонатов из музея Ф. Рюйша (фото В. Е. Балахнова)

некоторых насекомых (Рюйш использовал личинки *Musca vomitoria* и *Dermestres*) разрушают только мягкие части органов тела, подвергнутых инъекций, оболочки же налитых сосудов оказываются для них слишком твердыми и потому остаются целыми<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Вишневский Б. Н., Жиров Е. В. Анатомические коллекции Кунсткамеры. Путеводитель по выставке. Л., 1934. С. 15.

Свои препараты Рюйш помещал в стеклянные банки или бутыли. Некоторые препараты сохранялись сухими, другие заливались 75-градусным спиртом, настоенным на черном перце. Все сосуды с препаратами закупоривались широкими пробками, обтягивались рыбьими пузырями и лакировались. Пробки по периметру декорировались красным бархатом или тесьмой, на пробках часто монтировалось навершие из кораллов, маленьких раковин или растений и насекомых. Они должны были указывать на место обитания находящихся в банках животных (рис. 4).

Домашний музей ученого состоял из пяти комнат, в которых были представлены не только анатомические препараты, но и богатое собрание засушенных растений, насекомых, редких рептилий, птиц, большая сравнительно-анатомическая коллекция. Нельзя не упомянуть и композиции из сухих препаратов и детских скелетов. На небольшом возвышении, составленном из патологических камней, образующихся в человеческом организме, устанавливались в разных позах скелеты человеческих плодов с сопроводительными латинскими изречениями о бренности жизни, о человеческих страданиях и скорби и т. п. Уместно подчеркнуть, что заботясь о внешней «забавности» и назидательности своих экспонатов, Рюйш никогда не упускал возможности показать их научную ценность. Каждый скелет из его аллегорических композиций был аккуратнейшим образом описан во всех деталях, на черепах плодов и детей прослеживался процесс оссификации, а к каждому камешку из мочевых или желчных путей имелась запись клинической истории в его хирургических заметках. Следует отметить, что в течение всей жизни анатом был и практикующим врачом.

По мере того как Рюйш пополнял свои собрания, он составлял на латинском языке их каталоги, в которых давались подробные описания препаратов, их рисунки. Вот, например, какие пояснения дает Рюйш изображению плода с водянкой мозга: «Рисунок изображает гидроцефалии шести или семи месяцев, голова которого имеет необыкновенную величину. Я положил между головой и руками часть плаценты, так, чтобы голова, плавающая в жидкости, находилась в середине сосуда. Упомянутая часть плаценты нарисована грубо, так как у меня не было намерения представить здесь истинное строение плаценты; ее изображение любезный читатель найдет на таблице VI этого второго свода (*Thesaurus*)». Препарат, о котором идет речь, сохранился до наших дней (его номер в современной музейной описи 4070—906).

Иногда Рюйш составлял к каталогам введения, в которых излагал свои научные взгляды. Первые десять каталогов были опубликованы в 1701—1715 гг. Взгляды Рюйша отражены и в его научной переписке с коллегами, в ней он проявляет себя как самостоятельный ученый, хорошо знающий литературу и обладающий огромным опытом анатома-практика.

Рюйшевский музей 2 раза в неделю был за плату открыт для посетителей. В книге записей посетителей можно было увидеть много хорошо известных имен, но самым замечательным гостем, бесспорно, был Петр I, приехавший в Амстердам в 1698 г. Он провел несколько дней в музее, посещал лекции Рюйша по анатомии. Высоко ценил анатомию как фундамент медицины, Петр интересовался также и практическим ее приложением — хирургией. Заметим, что в России первые госпитальные школы были созданы в 1654 г. при Аптекарском Приказе и в 1706 г. при Московском генеральном госпитале. Изучение строения человеческого тела там исходило в первую очередь из потребностей практической медицины. Петр I много раз присутствовал на вскрытиях в Московском анатомическом театре и научился «методически разлагать человеческие тела» и проводить некоторые хирургические операции.

Когда Петр I снова приехал в Голландию (в 1716 г.), он приветствовал Фредерика Рюйша как своего старого учителя и с неменьшим интересом рассматривал новые коллекции. Стремясь всемерно развивать нау-

\* *Ruijschius Fr. Thesaurus anatomicus. T. I—X. Amstelodami, 1701—1716.*

ку в России, Петр заботился о приобретении наглядных пособий, он хотел иметь в своей столице музей с разнообразными коллекциями. Вот почему начались переговоры о покупке собрания препаратов Рюйша. В 1717 г. оно было куплено за баснословную по тому времени сумму — 30 тыс. гульденов.

После продажи своего собрания России, Рюйш, несмотря на преклонный возраст, продолжал работу. Он взялся за создание новой большой коллекции и в 1724 г. издал ее каталог с посвящением Петру I, надеясь, по-видимому, что царь купит и это собрание. Надежде не суждено было сбыться, так как в 1725 г. Петра I не стало. На девяностом году жизни Ф. Рюйш издал свой двенадцатый каталог, посвятив его Парижской академии наук. Однако и она не приобрела коллекции. К концу жизни произведения Рюйша были собраны в виде полного собрания сочинений<sup>5</sup>. Академия наук в Париже, Королевское общество в Англии и Академия естествоиспытателей в Германии избрали его своим членом. Умер Фредерик Рюйш в возрасте 93 лет. После его смерти коллекции препаратов были проданы на аукционе и рассеялись, так что уже в середине прошлого века лишь единичные экземпляры находились в западноевропейских музеях.

Собрание Рюйша, купленное Россией, под руководством Блюментроса благополучно было перевезено в Петербург. Оно содержало более 2 тыс. препаратов по эмбриологии и анатомии человека, а также 1179 образцов мелких млекопитающих, пресмыкающихся и насекомых, 259 птиц, законсервированных сухим способом, два шкафа с гербариями и большое число ящиков с бабочками, морскими животными и раковинами — почти все, что входило в первые 10 каталогов Фредерика Рюйша. Собрание это было для своего времени необычайно богатым и считалось одним из лучших в Европе<sup>6</sup>, современники называли его «восьмым чудом света».

И в наши дни собрание Рюйша в МАЭ поражает количеством экспонатов. Хотя многие из них не пощадило время, а все зоологические и ботанические коллекции явились основой для создания других музеев, только анатомическая коллекция Рюйша насчитывает свыше 900 экспонатов, многие из которых сохраняют свое научное и учебное значение. Многие экспонаты выглядят и сейчас так же, как на рисунках сочинений Рюйша.

Первоначально все привезенное из Нидерландов размещалось в Летнем дворце, так же как и коллекции по анатомии отечественного изготовления, перевезенные ранее из Москвы. Факт сосредоточения к 1714 г. крупного собрания исторических и «натуральных» экспонатов в одном месте послужил основанием для историков считать этот год датой основания первого русского исторического и естественно-научного музея, получившего наименование Кунсткамеры<sup>7</sup>. Однако он еще не был общедоступным. Первая экспозиция была открыта для обозрения в конце 1718 г., когда все коллекции перевезли в дом, конфискованный у опального вельможи А. В. Кикина.

При решении вопроса об организации Академии наук Кунсткамеру передали в ее ведение. Началась постройка специального здания. 25 ноября 1728 г. состоялось торжественное открытие экспозиции в новом доме с башней — там, где и сегодня размещаются Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого и Институт этнографии АН СССР.

Препараты, изготовленные Фредериком Рюйшем, уже 260 лет хранятся в этом здании. Отмечая 350-летний юбилей со дня рождения выдающегося голландского анатома, мы помним, что его коллекции явились первоначальным ядром Кунсткамеры — прообраза не только Музея антропологии и этнографии, но и других академических музеев.

<sup>5</sup> *Ruyschius Fr. Opera omnia. Anatomico-medico-surgica. Amstelodami, 1721—1742.*

<sup>6</sup> Станюкович Т. В. Художественное убранство и размещение экспозиции Петербургской Кунсткамеры//Сб. МАЭ. Т. 16. 1955. С. 387.

<sup>7</sup> Станюкович Т. В. Кунсткамера Петербургской академии наук. М.; Л., 1953. С. 22.

# Этнография в музеях

Л. К. Зязева, А. Б. Островски

## ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ЛЕКЦИЯ: МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ [Опыт Государственного музея этнографии народов СССР]

Важным направлением в пропагандистской работе музеев является лекционная деятельность. Собрания этнографических музеев располагают источниковой базой для распространения не только определенных знаний, которые можно использовать во многих областях деятельности общества, но и для решения таких идеологических задач, как формирование материалистического мировоззрения и высокой культуры межнационального общения — интернационализма, патриотизма в неразрывном единстве с уважением к культуре других народов.

Государственный музей этнографии народов СССР (ГМЭ), являясь научно-методическим центром, координирует работу всех этнографических музеев страны. За последние годы число их возросло и вместе с историко-архитектурными музеями-заповедниками достигло 58, а если к ним добавить 427 историко-краеведческих музеев, имеющих в своих экспозициях и фондах этнографические материалы, то это составит огромный потенциал, который, к сожалению, пока еще слабо используется. Ввиду этого в своей деятельности ГМЭ большое внимание уделяет вопросам методики лекционной пропаганды. Это становится настоятельным еще и потому, что этнографическая тематика оказалась вне поля зрения общества «Знание» — организации, специально занятой пропагандой научного мировоззрения.

Этнографическая тематика не укладывается ни в один из разделов лекционных циклов общества «Знание»: ни в раздел истории, ни в раздел научного атеизма, ни в раздел этики и эстетики. Конечно, лекции по народному искусству могут числиться в разделе эстетики, а лекции по обрядности — в разделе атеизма, однако при такой сугубо внешней для этнографии классификации утрачивается целостный предмет всякой этнографической лекции — народная культура. Для привлечения внимания широких слоев трудящихся именно к традициям народной культуры недостаточно от случая к случаю читать этнографические лекции. Необходимы лекционные циклы, способные создать у потенциальных слушателей представление о многоаспектности и одновременно целостности народных традиций.

В данной статье обобщен многолетний опыт лекционной работы ГМЭ народов СССР. Ежегодно на базе предприятий, учреждений, средних специальных и высших учебных заведений музей организует свыше 40 лекториев. Постоянно действует два кинолектория для иностранных туристов, два лектория для школьников. Кроме того, лектории работают для всех посетителей в выходные дни. Тематика лекционных циклов строится по нескольким направлениям. Наиболее удачны, с нашей точки зрения, уже прошедшие проверку временем циклы «У этнографической карты страны», «Наша многонациональная Родина», «Современные праздники и обряды народов СССР», научно-атеистический цикл «Магия

символ в свете науки» и др. К некоторым из них разработаны специальные методические рекомендации, где определены целевая установка и задачи каждой лекции. Наряду с этим читаются и разовые лекции по культуре и народному искусству отдельных народов и регионов. В среднем ежегодно сотрудниками ГМЭ народов СССР читается более 600 лекций, а число слушателей — свыше 30 тыс. К чтению некоторых циклов привлекаются специалисты Института этнографии АН СССР.

Прежде чем перейти к рассмотрению пропагандистских задач этнографических лекций, кратко охарактеризуем методико-организационную специфику музеиного лектория. Своеобразие его состоит в том, что лекция в музее сопровождается демонстрацией подлинных этнографических памятников и даже тематическими выставками из фондов музея. Например, для кинолектория «В мире прекрасного» были подготовлены выставки «Резной камень Тувы», «Азербайджанские ковровые изделия», «Украинская роспись», «Янтарь Прибалтики», «Чеканная медь Средней Азии» и «Золотая Хохлома». В цикле «По следам этнографических экспедиций» используются новые экспонаты, приобретенные в экспедициях сотрудниками ГМЭ. Большинство лекций сопровождается музыкальными записями народных мелодий.

Другая особенность в том, что за многолетнюю практику у музея сложились прочные связи с учебными заведениями (художественными школами, ПТУ, вузами) и предприятиями, профильными музею, что позволяет дифференцированно разрабатывать лекционную тематику как с учетом учебных программ, профессиональных интересов, так и пропагандистских задач. Так, для профтехучилищ, готовящих кадры специалистов художественных промыслов Ленинградской области, разработан цикл «Керамика народов СССР». Подготовка учащихся в ПТУ швейников была бы неполноценной без изучения коллекций одежды. Для них разработан цикл «Одежда народов СССР». Слушателями этого цикла являются также модельеры Всесоюзных курсов повышения квалификации модельеров-закройщиков высшей квалификации. Для школьников 8—10 классов подготовлен специальный цикл «Советские республики». В период начавшейся перестройки средней и высшей школы и, в частности, в связи с изучением курса «Этика и психология семейной жизни» в старших классах, считаем актуальным, основываясь на музейных фондах, разработать лекции, освещающие этническую специфику воспитания у народов нашей страны, позитивный опыт народной педагогики в трудовом и нравственном воспитании личности.

Перед тем, как излагать эмпирически выведенные методические приемы, хотим очертить свою позицию относительно мировоззренческого характера этнографических знаний. Мы не отождествляем распространение этнографических знаний в учебных целях (например, чтение лекций по народной одежде для закройщиков-модельеров) и пропаганду. Различие касается и той цели, которую ставит перед собой специалист, выступающий с лекцией, и его психологической установки по отношению к слушателям.

Чтобы добиться мировоззренческого «последействия», как говорят психологи, недостаточно материал лекции выстроить в непротиворечивую и легко усвоемую систему и активизировать внимание слушателей. Необходимо вместе со слушателями, на конкретном материале, открыть заново материалистическое понимание развития общества и этнических культур. Для этого специалист апеллирует не просто к вниманию, мышлению слушателей как отдельных индивидов или как членов какого-либо профессионального коллектива. Специалист-этнограф обращается к такому ценностно значимому уровню личности, как осознание своей принадлежности к конкретному этносу, историческое развитие которого запечатлевается в свойствах поведения и психики его представителей.

Гласность как фактор обновления духовной жизни общества позволяет более объемно и более достоверно осветить в лекции этапы и формы осуществления ленинской национальной политики. Хотелось бы сказать, что перестройка не отменяет мировоззренческих задач — и не заменяет

их информацией о том, что прежде умалчивалось,— но ставит их на земную основу.

Пропагандистские задачи, конечно, не автономны от процесса познания, от требований системности в подаче знаний, достоверности и убедительности. Обеспечение этих требований составляет самостоятельный методическую проблему<sup>1</sup>, которая решается только при сознательном учете всех компонентов лекции как средства массового информационного воздействия. Наряду с особым построением содержания лекции важную роль играют, говоря на языке социологов, фигура лектора и характеристики аудитории — ее социально-демографическая структура, запросы к тематике лекций и др.

Рассмотрим последовательно требования и методические приемы к которым мы пришли на базе практического опыта в связи с этими тремя компонентами лекции как формы массовой коммуникации.

Стержневые вопросы в содержании любой этнографической лекции по народам СССР — это исторические судьбы национальных культур присоединенного к социализму, включая и межкультурное взаимодействие. Для их верного понимания и мировоззренческого освещения весь привлекаемый материал требует сориентировать по двум измерениям: а) в историческом разрезе, или в сравнительном диахронном рассмотрении культуры данного народа в дореволюционный период и в условиях советской власти; б) в синхронном разрезе, соответствующем современности (1980 годам) и современным межнациональным контактам в стране. Первое из этих двух измерений дает возможность осветить развитие экономики и духовной культуры конкретного народа (о котором идет речь в лекции) на основе братского сотрудничества с другими советскими народами. Второе измерение — объективное сближение национальных культур как результат развивающегося единства национальных и общесоветских черт в образе жизни, результат взаимообогащения культур разных народов страны.

Циклы лекций, читаемых в ГМЭ народов СССР, можно разделить на две группы. В одной из них прямо ставятся вопросы соотношения национально-традиционного и общесоветского в быту различных народов страны. В другой группе идет речь о развитии национальных традиций, характерных для определенных сторон быта и культуры: о развитии традиций в народной одежде, народном искусстве, в обрядности.

К циклам первой группы относятся: «Народы СССР в прошлом и настоящем», «Нации и народности страны за годы Советской власти», «Советские республики сегодня», «У этнографической карты страны» и «Историческая общность — советский народ». Первые четыре из пяти циклов построены в основном по региональному принципу: каждая из лекций внутри цикла посвящена диахронно-синхронному освещению национальной культуры (в масштабе историко-культурного региона, либо отдельного этноса, соответственно отдельной республики). Своеобразие второго из этих циклов лекций в том, что здесь речь идет о тех регионах, которые в прошлом находились на положении национальных окраин (Сибирь, Северный Кавказ, Поволжье, Средняя Азия). В цикле о советских республиках акцент сделан на вкладе того или иного народа в общесоветскую культуру, как в экономике, науке, так и в сфере искусства и литературы. Наконец, в цикле «У этнографической карты страны» речь ведется о судьбе национальных традиций малочисленных народов страны — эвенов, кетов, народов Северного Кавказа и других.

Полагаем, что диахронно-синхронное освещение этнографического материала в циклах, построенных преимущественно по региональному принципу, способствует решению пропагандистских задач. В цикле, построенном по проблемному принципу — «Историческая общность», — также проводится идея единства закономерностей развития национальных культур советских народов. Особенность методической установки цикла в

<sup>1</sup> Близкие представления о пропаганде как особым образом построенном процессе познания см.: Ерастов Н. П. Актуализация содержания лекции. М., 1986. С. 21; Зиновьев М. Н. Проблемность в лекционной пропаганде. Л., 1986. С. 9; Илюшин И. А. Пропаганда и информация. Владивосток, 1987. С. 83.

том, чтобы раскрыть сложение новой социальной общности на материале тех компонентов национальной культуры, которые в настоящее время сохранили высокое этномаркирующее значение и вместе с тем все более становятся достоянием общесоветской культуры в целом. Именно этому посвящены три из восьми лекций цикла — о народном искусстве, об обрядности и об этноэтике. В каждой из этих лекций использован материал по нескольким историко-культурным регионам, сгруппированный относительно темы и проблемы данной лекции. Цикл включает также лекции более общего характера — об этнолингвистических группах, составляющих население страны и об этапах сложения национально-государственной структуры СССР.

Ввиду различных, не вполне благоприятных организационных условий, нередко та или иная лекция читается отдельно. Это требует особого методического приема, причем связанного с таким построением материала, которое создает у слушателей отчетливое представление о взаимопроникновении, органическом сочетании национального и общесоветского. Если при чтении лекций в цикле к такому выводу естественным образом приходят сами слушатели, уже в результате сопоставления судеб национальных традиций в различных регионах, то в эпизодической лекции должна быть заложена возможность такого обобщения.

Такая методическая проблема существует не только для лекции о республике, регионе, но и для лекций об искусстве, обрядности — читаются они в цикле или в эпизодическом порядке — ведь речь идет в них только об одном аспекте народной культуры. Особенно отчетливо это выступает при чтении лекций по обрядности (о свадебных обрядах определенного народа, о календарных, семейных и других праздниках и обрядах). Лекции по обрядности часто читаются вне цикла; с другой стороны, эта тематика наиболее непосредственно соотносится с общими пропагандистскими задачами.

Методическую проблему для эпизодических лекций первой группы мы формулируем следующим образом: необходимо подготовить слушателей к обобщающему переходу от вопросов исторического развития народов данного региона (данной республики) и их современного быта, образа жизни — к вопросу об общем направлении развития наций в советское время, а также о сохранении национального своеобразия в рамках единого советского образа жизни. Такой переход имеет индуктивный характер, в силу чего он должен совершаться не во вступительной части лекций, но в основной — в выводах, которые делаются после того, как представлена определенная часть данных. Поскольку такой переход обычно бывает подготовлен изложением материала по культуре одного региона (либо даже одного этноса), то может оказаться, что он недостаточно веско подкреплен аргументами. Его убедительная сила для слушателей должна возникать благодаря: а) сравнительному материалу по другим регионам и б) показу факторов, тенденций развития национальной культуры в советское время, общих, либо весьма сходных, для различных регионов страны. Методический прием, способствующий целям пропаганды, мы называем приемом методического обобщения.

Использование приема методического обобщения в лекциях второй группы — по обрядности, искусству и т. д. — несколько осложняется. Ему должно предшествовать разъяснение того, какое место вообще в народной культуре занимают соответственно обрядность и искусство, каким образом из рассмотрения этого аспекта народной культуры можно получить представление о культуре народа в целом. Это следует сделать не во вступлении, а в основной части, создавая у слушателей на базе убедительного материала впечатление, что в семантике обрядности, в образцах и технике народного искусства действительно получили отражение черты своеобразия культуры данного этноса. Итак, в данном случае прием методического обобщения состоит как бы из двух этапов: 1) от определенного аспекта этнической культуры — к представлению о своеобразных чертах культуры этноса в целом; 2) от своеобразия культуры данного этноса — к представлению, что его образ жизни есть националь-

но-конкретный вариант советского образа жизни.

Доверие к компетентности лектора, объективности используемых данных — необходимое условие пропагандистского успеха всякой лекции. Доверие к лектору-этнографу имеет еще один важный оттенок. Лектор этнограф, в особенности имеющий собственный полевой опыт, выступает для слушателей переводчиком национально-своебразных смыслов и тот язык человеческих действий и взаимоотношений, который понят в аудитории. Это значительно повышает убедительность исходящей с него информации.

Как показывает опыт организационно-методической работы, особенное доверие вызывают, во-первых, привлечение лектором вещевых экспонатов и разъяснение того, какие человеческие представления и действия с ними связаны, т. е. способы их бытования (а при необходимости — того, как эти предметы изготовлены); во-вторых, использование личного полевого опыта, в том числе опыта общения с носителями той национальной культуры, которой посвящена лекция. То, что становилось понятным, интересным, заслуживающим внимания в ходе общения этнографа с носителями национальной культуры, вполне может и должно быть легко воспринято его слушателями. В-третьих, привлечение иллюстративного материала (вещевых экспонатов и слайдов) и опыта полевого общения должны использоваться не только для воссоздания живой атмосферы бытования национальных традиций, но и для отчетливого аксиологического подхода к этим традициям. Лектору следует представлять как человеку, воспитанному в той же среде, что и слушатели, понимать те вопросы, которые у них могут возникнуть. Вместе с тем он и исследователь национальной культуры, способный оценить рациональные, жизненно важные и, возможно, перспективные элементы этой культуры.

Каково значение доверия к лектору как к транслятору национальной культуры? Именно благодаря доверию все основные выводы по отдельным разделам лекций слушатели расценивают как результаты, к которым пришел лектор-этнограф в своей научной и пропагандистской деятельности. Он приобретает авторитет эксперта по вопросам взаимосвязи национальных и общесоветских элементов в быту и культуре народов определенного региона. Методический прием, применяемый для того, чтобы завоевать доверие и авторитет эксперта у слушателей, мы называем приемом транслятора.

К числу социальных характеристик, безусловно, влияющих на восприятие лекционного материала, относятся: возраст, образование, род занятий слушателей,— пожалуй, все эти характеристики аудитории следует учитывать лектору-этнографу, как, впрочем, и лектору по другим гуманитарным проблемам, непосредственно не входящим в обязательные учебные программы, но связанным с общим мировоззренческим и гуманитарным кругозором. Действительно, с возрастом и повышением уровня образования не только увеличивается количество этнографических впечатлений и знаний о традициях разных народов страны, но и складываются мировоззренческие представления, позволяющие оформить разрозненные знания в определенную систему. Лектор учитывает это, достраивая необходимую систему либо опираясь на уже имеющуюся.

Другое дело — национальный состав слушателей этнографической лекции. Ряд элементов традиционно-бытовой культуры, в особенности пища, обрядность и нормы этикета, сохраняющие этномаркирующее значение, не всегда известны и понятны тем, кто воспитывался в иных этнических традициях, либо только на основе урбанизованных общесоветских бытовых норм и традиций.

Возможно несколько вариантов национального состава аудитории. Например, поскольку около 90% населения Ленинграда — русские, то лектор чаще имеет дело со слушателями, воспитанными в русской урбанизированной среде. В некоторых учебных заведениях и воинских коллективах аудитория состоит обычно из представителей многих республик и регионов страны. Наконец, лекция может читаться и в аудитории, где слушатели — представители одной из союзных республик, ее корен-

ного населения. Во всех трех случаях материал этнографической лекции — для большинства присутствующих — принадлежит к другой национальной культуре. Поэтому если лектору не удается каким-то образом преодолеть информационный барьер в восприятии инонационального материала, то он не сумеет в дальнейшем подвести слушателей к выводам об органическом единстве национального и общесоветского. Социально-психологическая форма возможного противостояния слушателей инонациональному материалу обычно носит характер «мы — они». Не следует думать, что за этим непременно скрываются какие-либо изначальные национальные предрассудки. Причина скорее всего в том, что либо традиции инонациональной культуры слушателям представляются непонятными, и в этом смысле чуждыми, либо традиции инонациональной культуры не вызывают сочувствия и одобрения у слушателей — и в этом смысле представляются чуждыми. От лектора требуется раскрыть смысловые связи материала таким образом, чтобы освещаемые традиции стали понятными и вызвали активное положительное отношение. Опыт показывает, что такая задача в большей степени реализуется, если лектор стремится национальные традиции описывать как бы с двух точек зрения, т. е. «изнутри» и «извне»: 1) воссоздать в рассказе, как именно они функционируют и воспринимаются носителями данной культуры; 2) при этом объяснить, какие факторы в прошлом и настоящем определили эти традиции образа жизни.

Показать, как те или иные формы общения, элементы обрядности функционируют и воспринимаются в своей культуре — это не просто дать пояснение к различным «экзотическим деталям». Нужно охарактеризовать место этих традиций в культуре данного народа и проиллюстрировать их значение, их жизненный смысл с точки зрения народного сознания. Важным подспорьем лектору оказываются фольклорные материалы.

При раскрытии факторов сложения и сохранения культурных традиций лектор должен не просто назвать их в качестве некоего «ключа» к современному смыслу чужой культуры, но показать то особое, что благодаря этим факторам имеется в культуре данного народа по сравнению с культурой других народов. Здесь весьма желательно параллельно использовать материал по другим народам, особенно если лекция читается вне цикла. Кроме того, в случае сохранения традиционных элементов в настоящее время следует выявить трансформацию того социально-психологического и, возможно, мировоззренческого смысла, который ныне стоит за этими традиционными формами. В особенности это касается материала по обрядности, которая утрачивает свой религиозно-магический смысл; национальная обрядовая символика служит теперь формой выражения социальных и нравственных ценностей, близких всем советским людям, воспитанным в социалистическом обществе.

Итак, методический прием раскрытия материала, состоящий в описании традиций изнутри и извне, учитывает две точки зрения: восприятие носителей культуры и восприятие наблюдателя, не принадлежащего по своему воспитанию к данной культуре. Такой прием не означает какой бы то ни было двойственности либо размытости в позиции лектора. Наоборот, проводится психологическая подготовка к аксиологической трактовке. Раскрытие традиций изнутри дает представление об их целостности и вызывает чувство соучастия, сочувствие. Объяснение того, как эти традиции складывались и как трансформируются, делает их понятными; возникает и понимание того, что в наши дни прогрессивные элементы национальных традиций вполне сочетаются с общесоветскими чертами образа жизни.

Перечисленные выше методические приемы возникли в результате практического поиска, в силу чего они соотносятся между собой не по какой-либо иерархии общего и частного, но в качестве взаимодополняющих. Каждый из этих приемов до определенной степени применим при чтении лекций по любой этнографической тематике, если, конечно, мы сознательно помещаем конкретное содержание в социально-историческую систему отсчета, если используем материал по живой целостной

культуре и если, наконец, стремимся дать убедительную аксиологическую трактовку. Конкретнее, в связи с такой лекционной тематикой, как «Советские республики», «Праздники и обряды», эти приемы раскрыты в соответствующих методических рекомендациях для сотрудников музея. Подготовка новой научно-популярной лекции всякий раз требует определенного творческого усилия и от автора, и от методиста, ведь подготовка и прочтение лекции — искусство, выверяемое четкостью замысла.

Сложнее учесть запросы к тематике лекций, их методико-организационному построению. Каков фон этнографических знаний, интересов тех людей, которые слушают лекции в музее, до какой степени предлагаются музейным лекторием тематика удовлетворяет слушателей? На эти и подобные вопросы весьма затруднительно дать обоснованный ответ так как обучение этнографическим знаниям в средней школе фактически отсутствует и даже в педагогических вузах ограничиваются лишь рамками курса «историческое краеведение»<sup>2</sup>.

Наконец, этнографические знания, возможно, не так важны для жителей большого города, как знания по вопросам права или психологии семейной жизни. Как уже отмечалось выше, в тематике общества «Знание» этнографические лекции даже не имеют самостоятельной рубрики. Вследствие этого слушатели чаще всего совершенно не подготовлены к восприятию наших циклов. Единственная возможность правильно сориентировать нашу тематику — это получить обратную информацию от тех, кто прослушал этнографическую лекцию.

Опрос посетителей лектория проводился в 1985/86 г. (лекционный год: октябрь — апрель)<sup>3</sup>. Анкеты раздавались всем прослушавшим лекцию. Обследование проводилось по 2 раза в каждом из четырех воскресных циклов музея. Всего было раздано 207, к обработке оставлено 200 анкет. Для сопоставления был проведен и опрос посетителей субботнего лектория (63 человека), в котором читаются лекции по культуре зарубежных народов.

В анкету были заложены четыре группы вопросов: 1) тематика лекций (циклов лекций); 2) методико-организационная работа лектория; 3) социально-демографические характеристики аудитории; 4) характер контактов посетителей с музеем.

В перечень тем были включены наряду с имеющимися циклами и те направления, по которым в настоящее время лекции отсутствуют, но могли бы быть подготовлены. Для того чтобы сделать выбор слушателей более направленным, им было предложено отметить не более 5 наиболее предпочтительных вариантов из 11. Результаты опроса отражены в таблице.

Итак, почти  $\frac{2}{3}$  посетителей лектория хотят услышать лекции о национальном этикете, около половины — о национальных праздниках, обрядах и национальной кухне. Достаточно высокой популярностью (более 40%) пользуются темы, связанные с магическими представлениями и суевериями, а также происхождением народов.

Как же на сегодняшний день эти потребности удовлетворяются? Приходится констатировать, что циклы лекций, а также эпизодические лекции по национальному этикету и по национальной кухне не читаются разрабатываются только три из пяти наиболее предпочтаемых направлений.

<sup>2</sup> На необходимость коренной перестройки системы этнографического образования указано в решении Всесоюзной научной конференции «Этнографическая наука и пропаганда этнографических знаний» в г. Омске 25—27 мая 1987 г., о чем говорится в «Советской этнографии», где с № 3 за 1988 г. началось обсуждение этих вопросов.

<sup>3</sup> Анкета составлена старшим научным сотрудником А. Б. Островским, сбор материала и его обработка на перфокартах проводились сотрудниками сектора научно-просветительной работы в 1986/87 г. В соответствии с фактической наполняемостью кинолекционного зала (20—80 человек) и числом лекций в течение года расчетная генеральная выборка посетителей воскресного лектория составила  $N=1680$ . При бесповторной выборке одномерное описание репрезентативно при  $N=40$  (Рабочая книга социолога. М., 1976. С. 273—274).

**Запросы аудитории к тематике этнографических лекций**

Тематика	Массив № 1 (воскресный лекторий—на народах СССР), $N_1=200$	Массив № 2 (о зарубежных народах), $N_2=63$
Происхождение народов	41%	41,3%
Сохранение и развитие традиций в наше время	24,5%	31,7%
Национальное своеобразие современного быта	22%	22,2%
Национальный костюм	23,5%	22,2%
Национальное искусство	24,5%	34,9%
Использование изделий художественных промыслов в быту горожан	14,5%	23,8%
Блюда национальной кухни	52%	49,2%
Национальные праздники и обряды	56%	54%
Национальный этикет	64,5%	65,1%
Этнографы о магических представлениях, о суевериях	47%	27%
Этнографические экспедиции сотрудников музея	29,5%	38,1%

Из остальных направлений предложенной в анкете тематики ни одно не пользуется значительным спросом. Более того, и вопросы сохранения и развития национальных традиций в советское время, и своеобразие национального костюма не вызывают интереса даже у 30% слушателей. К сожалению, и вопросы эстетического воспитания — народное искусство, использование изделий художественной промышленности в быту — интересуют только  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$  посетителей.

Проблемно ориентированный цикл «Национальное своеобразие в современном быту» также не пользуется популярностью у значительной части посетителей. Такой аспект традиционен для этнографического исследования, но, по-видимому, он не является оптимальным для научно-популярных лекций. Это подтверждает и ответ на вопрос, что более предпочтительно в этнографических лекциях: интересная проблема, чтобы было о чем подумать, или интересная информация, чтобы было потом о чем рассказать. Около половины опрошенных предпочитают информативность, менее четверти — проблемность.

Полагаем, что и предпочитаемая тематика, и ориентация на информативность, а не на проблему определяются в значительной степени социально-демографическим составом слушателей. Результаты опроса показали, что, во-первых, воскресный лекторий ГМЭ имеет своего постоянного посетителя — своего рода ядро. Так, из 149 человек, указавших, что они бывают в ГМЭ изредка или часто, около 60% приходят в музей специально, чтобы послушать лекцию. Из 71 человека, отметивших, что они часто бывают в музее, 51 — завсегдатаи именно лектория. Во-вторых, этот устойчивый контингент посетителей фактически и определяет социально-демографическую структуру аудитории музеяного лектория.

Из 71 «завсегдатая» 81,7% составляют женщины, 46,5% — лица старше 50 лет; 57,8% — с высшим образованием, по роду занятий — 46,3% ИТР и служащие и более 25% — пенсионеры. Если рассмотреть весь массив в 149 человек, то и здесь доля женщин высока — 75%. При этом почти не изменяется характеристика группы по образованию и роду занятий, меняется лишь возрастной состав: лица 31—50 лет составляют более трети, несколько превышая численность тех, кому за 50.

Проследим связь наиболее предпочитаемой тематики с запросами отдельных социально-демографических групп нашего контингента.

Тема «Национальный этикет» вышла на первое место у женщин (у мужчин — на втором месте), у лиц 30 лет и старше, у лиц с высшим образованием, у ИТР и служащих, у пенсионеров. Иначе говоря, эта тематика пользуется приоритетным спросом у всех групп, которые численно преобладают по тем или иным социально-демографическим признакам.

Тема «Праздники и обряды» оказалась на одном из первых двух мест у женщин, у лиц до 30 лет и старше 50 лет. В данном случае высокий

спрос не зависит от уровня образования и рода занятий, такую тематику можно, вероятно, предложить для чтения в самых различных профессиональных коллективах.

Тема «Национальная кухня» оказалась на третьем месте у мужчин и женщин и лиц до 30 лет (у лиц 31—50 лет — на втором), у лиц со средним специальным и высшим образованием. Эта тематика вызывает достаточно интерес у ИТР и служащих, которые ставят ее на четвертое место. Таким образом, лекцию этого цикла можно читать не только в музее, но и в коллективах ИТР и служащих.

Тема «Этнографы о магических представлениях и суевериях» также занимает третье место в предпочтениях мужчин, женщин и лиц до 30 лет (у лиц 31—50 лет — на втором месте), у лиц со средним специальным и высшим образованием; у ИТР и служащих она занимает четвертое место. Эту тематику целесообразно читать не только в музее, но и по месту работы ИТР и служащих; пенсионерам — нецелесообразно.

Тема «Происхождение народов» на первом месте у мужчин (более 67%); у женщин — на четвертом месте (более 50%); у лиц среднего возраста, лиц с образованием неполным средним, средним, а также у ИТР и служащих — на третьем месте; на четвертом — у учащихся и пенсионеров. Нам представляется, что эта тематика может быть рекомендована для чтения в различных аудиториях, в частности с преобладанием мужского контингента.

Тема «Этнографические экспедиции сотрудников музея» оказалась на первом месте только у лиц до 30 лет, у других не попала ни на одно из первых пяти мест. Ее, однако, следует и далее читать в музее, так как из тех посетителей ( $N=96$ ), кто, по их словам, приходит, чтобы послушать лекцию, около 47% высказались за чтение лекций по этой тематике.

Тема «Народное искусство» вызывает определенный интерес у пенсионеров (на четвертом месте — 45,7%) и вообще в группе лиц старше 50 лет (более 36%). Отметим, что предпочтение тематики варьирует в зависимости от того, насколько вообще регулярны у человека контакты с музеем.

Вероятно, следует учитывать, что перечисленные темы не представляют собой набор несовместимых альтернатив. В каждой конкретной лекции (либо в цикле) тема праздников и обрядов может быть дополнена материалами по народному искусству, а также и по национальной кухне, лекция об этикете — материалами по праздникам, этнографические экспедиции могут включать материал по любой из этих тем.

Не обязательно ограничиваться пассивным следованием за уже сформировавшимися запросами посетителей. Если по какому-либо актуальному в пропагандистском плане направлению уровень интереса невысок, мы стремимся отыскать способ его повышения. Так, для усиления внимания к народной художественной культуре в последние годы мы обратились к таким нетрадиционным для этнографического музея формам, как лекции о многонациональной советской литературе и лекции-концерты «Национальные традиции музыкальной культуры». С этой же целью в музее стали регулярно проводиться выступления фольклорных коллективов из разных регионов страны, демонстрации моделей современной одежды с использованием этнически специфических черт народного костюма.

Устойчивость описанных выше интересов у различных контингентов посетителей к той или иной тематике подтверждается теми данными, которые относятся к лицам, регулярно, по их словам, приходящим в ГМЭ послушать лекцию ( $N=96$ ). Из них 67,7% хотят услышать о национальном этикете, 48% — о магических представлениях, столько же — об этнографических экспедициях, 44,8% — о национальной кухне.

При рассмотрении циклов лекций следует также учитывать, что тематика различается по быстроте «насыщения» интересов слушателей. Так если лекции по обрядности и магическим представлениям интересуют более 50% тех, кто бывает в музее изредка, то среди «завсегдатаев» музея к этой тематике проявляют интерес соответственно только 38 и ок

ло 37%. С другой стороны, о происхождении народов готовы слушать и те, кто в музее впервые (40% при  $N=50$ ), и те, кто бывает изредка (47,4% при  $N=78$ ), и те, кто бывает часто (42,3% при  $N=71$ ).

Если запросы к тематике по национальному этикету в настоящее время вовсе не «насыщены», что и может давать высокий всплеск интереса, то тематика обрядности и происхождения народов имеет свойство не «насыщаться» полностью. Среди тех, кто регулярно посещает отдельные лекции ( $N=48$ ), более 63% интересуются праздниками и обрядами и более половины — происхождением народов.

Интересно, что имеются организационно-методические резервы оптимизации контактов с аудиторией. Более половины посетителей предпочитают именно циклы лекций, а не посещение отдельных лекций. Вместе с тем посещают лекторий по абонементу лишь 9% в воскресенье, а регулярно отдельные лекции — 20,5%. Налицо несоответствие между желанием и состоянием дел на практике. Частично откорректировать такое несоответствие можно, приняв во внимание, что большая часть наших циклов состоит из шести-семи лекций, а более половины слушателей предпочитают, чтобы циклы состояли из трех-четырех лекций. Следует также принять во внимание, что не все посетители склонны слушать лекцию более 40 мин. (только 45,5%).

Стремление прослушать цикл лекций, а не отдельную лекцию более выражено у тех, кто интересуется этнографическими экспедициями (3,2 : 1), народным костюмом (3,3 : 1), народным искусством (2,4 : 1), и гораздо менее выражено у тех, кто интересуется этикетом (1,6 : 1), национальной кухней (1,7 : 1), либо магическими представлениями (1,7 : 1). Вместе с тем именно по трем последним направлениям (которые входят в число наиболее предпочтаемых) и выражено у посетителей лектория ожидание информативности лекции. Вероятно, запросы по этим направлениям можно эффективно насытить не посредством специального цикла, но путем включения отдельной лекции в другие циклы.

Из опроса также выявляется, что лекции по наиболее предпочтаемым темам не обязательно должны быть длинными. Примерно половина слушателей ожидает лекцию продолжительностью в 30—40 мин., в то время как по народному костюму и народному искусству заметно преобладает ожидание лекции в 50—60 мин. (соответственно 2,8 : 1 и 1,9 : 1).

Предпочтения к методико-организационной стороне лекций (цикл лекций либо проблемность; длинная лекция либо короткая) варьируют незначительно у разных категорий посетителей. Наиболее явственно выступает предпочтение относительно продолжительности лекции. Так, мужчины в отличие от женщин предпочитают короткую лекцию (1,8 : 1).

Проведенный опрос посетителей лектория ГМЭ позволил сделать некоторые выводы относительно того, каким образом в лекционной пропаганде можно учесть свойства аудитории — ее запросы и социально-демографический состав. Последний достаточно стабилен.

Предлагаемая в ГМЭ тематика не вполне отвечает запросам посетителей. Имеется дефицит тематики, связанной с общением: не хватает лекций по национальному этикету, обрядности, национальной кухне. С другой стороны, лекции по народному искусству, нациальному костюму и национальному своеобразию современного быта (в такой общей постановке) пользуются весьма небольшим спросом.

Целесообразнее формировать цикл из трех-четырех лекций. Основное требование, предъявляемое посетителями к лекциям, — информативность, а не проблемность.

В данной статье в целом впервые представлена попытка теоретически рассмотреть методико-организационные аспекты работы лектория в этнографическом музее.

При этом рекомендации до сих пор отчасти формируются интуитивно, поскольку мы опираемся в значительной степени на эмпирический багаж. Поэтому они могут служить скорее ориентирами, чем категорическими предписаниями, и подлежат последующей проверке.

Э. Л. М е л к о н я н

## АРМЯНСКАЯ СЕМЬЯ В УСЛОВИЯХ ДИАСПОРЫ\*

История армянского зарубежья восходит еще к IV—V вв. н. э., к периоду падения централизованного армянского государства. В течение последующих 15 веков в условиях постоянного национального, религиозного и социально-экономического гнета со стороны сменяющихся завоевателей эмиграция армян из своей родины и основание ими общин в различных странах становится характерной особенностью жизнедеятельности армянского этноса. Качественно новый этап в истории армянского зарубежья начался в 1915 г., когда в Западной Армении, входившей в состав Османской империи, турецкими правителями был осуществлен геноцид 1,5 млн. армян, а оставшиеся в живых более полумиллиона армян были насильственно изгнаны, депортированы из своей родины, что и привело к образованию армянской диаспоры.

В данном случае диаспора понимается как особый тип этнических меньшинств, возникших в результате эмиграции. В отличие от основных двух типов этнических меньшинств — «политической» (например, русская «белая» эмиграция после Октябрьской революции 1917 г. и др.) и «экономической» (например, эмиграция украинцев в Канаду в конце XIX в. и др.), специфическими характеристиками собственно диаспоры следует, на наш взгляд, считать: а) насильственное изгнание народа из своей родины; б) проживание подавляющей части этноса вне своей этнической территории-родины; в) отсутствие возможности возвращения к своим родным очагам.

Сегодня армянские общины существуют более чем в 30 различных странах Америки (Канада, США, Аргентина, Бразилия и др.), Европы (Англия, Франция, Швеция, Италия, Греция, Болгария и др.), Ближнего и среднего Востока (Ливан, Сирия, Иран и др.), Африки (Египет, Эфиопия и др.), а также в Австралии, Индии и др. Наиболее крупные из них — в США (около 800 тыс.), во Франции (около 350 тыс.), Ливане (около 200 тыс.), Иране (около 175 тыс.) и др.

Жизнедеятельность этнических меньшинств, поддержание их этнокультурной специфики во времени и пространстве осуществляется средствами, которые в силу выполняемых ими функций могут быть обозначены как этнозащитные механизмы культуры<sup>1</sup>. В качестве таковых в основном выступают определенные, наиболее значимые элементы так называемой материнской культуры (язык, религия, традиция, этническое самосознание и др.). Наряду с этим этнические меньшинства в целях обес-

\* В советской и зарубежной специальной литературе термин «диаспора» все еще не имеет статуса научного понятия, и его применение носит во многом произвольный характер. В ряде случаев им обозначаются практически все типы этнических меньшинств в других он используется лишь применительно к истории еврейского этноса и т. д. Предлагаемое здесь определение (см. также мою статью «Армянская диаспора» в специальном томе «Армения» в «Армянской советской энциклопедии». Ереван, 1987 — на арм. яз.) за неимением места для данной аргументации не претендует на окончательность и является попыткой придать данному понятию необходимую строгость.

<sup>1</sup> Более подробно об этом см.: Мелконян Э. Л. Некоторые аспекты изучения этнических культур//Философские проблемы культуры. Тбилиси, 1980. С. 114—124.

печения этнокультурной преемственности вырабатывают и специфические, адекватные новым условиям средства, такие, например, как землячества и др. Одним из наиболее действенных и универсальных этнозащитных средств является семья.

Особая роль семьи как социальной группы обусловлена ее двумя важнейшими функциями: первая — обеспечение биологической непрерывности и воспроизводства этнической общности, вторая — поддержание культурной преемственности данной общности путем передачи культурного наследия последующим поколениям. Семья создает специфическую среду, в которой происходит социализация ребенка, формируются его установки и ценности, во многом определяющие основные характеристики его последующей жизнедеятельности. Указанная роль семьи особенно возрастает в этнических меньшинствах, где она выступает как одно из немногих возможных средств этнической социализации, этнокультурного воспитания подрастающего поколения.

В условиях диаспоры армянская семья подверглась значительным трансформациям в соответствии с социокультурными и экономическими характеристиками тех или иных стран. Подавляющее большинство депортированных в 1915 г. армян обосновалось на территории современного Ливана и Сирии. Поскольку принимающие общества в этот период (1920—1930-е годы) были аграрными со слабо развитой промышленностью и соответственно низким уровнем урбанизации, резкого контраста по сравнению с Западной Арменией не наблюдалось. Поэтому и в новых условиях основными сферами экономической деятельности армян стали ремесла, розничная торговля, сельское хозяйство. Наблюдалось и определенное сходство на рассматриваемых территориях в формах семейной организации. В странах арабского Востока, как и в Западной Армении, доминировала патриархальная семья, социальные функции и структура которой, несмотря на этнокультурные различия, во всем регионе были идентичными: совместное проживание трех и более поколений, безусловное главенство старшего мужчины, занятие женщин только в сфере домашнего хозяйства, жесткая половозрастная субординация и др.

Отмеченные факторы способствовали сохранению традиционных форм армянской семьи и в новых условиях, а ее дальнейшая эволюция, включая и исторически обусловленные изменения, протекала в соответствии с основными закономерностями развития семейных форм принимающих обществ. Более того, внешняя социокультурная среда во многом стимулировала возрастание ее роли как этносоциального института. В связи с этим следует особо указать на значение религиозной оппозиции (христианство — мусульманство) между местным населением и армянами. В течение ряда веков армянский этнос, даже в условиях существования на своей этнической территории, постоянно находился под сильным давлением мусульманства, зачастую принимавшего форму политики насилиственного обращения в эту религию.

При отсутствии собственной государственности семья, наряду с церковью и школой, стала наиболее действенным механизмом поддержания армянами своей этнокультурной определенности, наиболее оптимальным этнозащитным средством армянской культуры. Подобная функция семьи тем более выросла в диаспоре, в тех странах, где мусульманство было доминирующей и официальной религией коренного населения.

Поддержание этнокультурной преемственности в семейной среде осуществляется различными путями. Важную роль играет, в частности, трех- и более поколенная структура семьи. Постоянное общение старшего поколения с детьми обеспечивало приобщение последних к традициям и обычаям родной армянской культуры. А в условиях сохраняющейся половозрастной субординации само следование этим традициям носило обязательный характер. Важное значение имело и то обстоятельство, что в странах расселения армян, как в армянских семьях, так и в семьях местных народов роль женщины сводилась к ведению домашнего хозяйства и воспитанию детей. Ограниченнное общение женщин-армянок с внешним миром способствовало их более четко выраженной этнокуль-

турной определенности, неизбежно передававшейся их детям в процессе воспитания. В последние 20—25 лет в странах Востока в русле общего процесса женской эмансипации все большее число женщин-армянок продолжают свое обучение в колледжах и университетах, вследствие чего увеличилось, естественно, и число работающих женщин. При этом, однако, большинство из них после вступления в брак оставляют работу, отдавая предпочтение роли хозяйки дома и матери. В связи с этим следует отметить также, что, несмотря на начавшиеся в послевоенный период процессы индустриализации и урбанизации, здесь в отличие от стран Запада доминирующей формой семейной организации (как в смысле ее структуры, так и распределения социальных ролей) все еще остается трехпоколенная семья, в силу чего она продолжает играть роль действенного этнозащитного механизма.

Смешанные браки являются, как известно, одним из мощных средств аккультурации, особенно ярко проявляющейся среди этнических меньшинств. Применительно к армянам, проживающим в странах арабского Востока, в силу отмеченной выше религиозной оппозиции число таких браков всегда было незначительно. Согласно данным, приводимым А. Буджиканян, смешанные браки среди армян Бейрута составляли 1950—1969 гг. лишь 6,75%<sup>2</sup>. Подобная моноэтничность армянской семьи обеспечивает ее действенность как одного из оптимальных средств этнокультурной трансмиссии во времени. Важно отметить при этом, что само понимание моноэтничности не сводится лишь к этническому происхождению брачных партнеров, оно предполагает также наличие у них актуализированных форм принадлежности к армянскому этносу. Показательна в связи с этим ситуация в армянской общине Сирии. В 1915 г. часть армянских беженцев расселилась в сельских районах на севере этой страны, где к тому времени уже существовало немногочисленное армянское население. В условиях изоляции и постоянного общения с местным в первую очередь курдским, населением эти армяне с течением времени в своем большинстве стали курдоязычными. И именно из-за незнания армянского языка (при сохранении всех других этнокультурных признаков) браков с ними избегают армяне из Алеппо, Дамаска и других традиционных центров армянской общины. Более высокий престижный статус последних обусловлен именно их традиционно армянским воспитанием и никак не связан с их имущественным положением. В то же время низкий статус курдоязычных армян обусловлен не только незнание армянского языка, но также непрестижной сопричастностью курдскому меньшинству, пусть даже на уровне языка. Это подтверждают и смешанные браки армян с арабами (с мужчинами, чаще с женщинами) и тем более с европейцами. В данном случае речь идет об арабах-маронитах, исповедующих католичество, с которыми вступали в браки в основном армяне-католики; в последние годы, однако, в подобные браки вступают также армяне — приверженцы армянской апостольской церкви. Тем самым в восприятии армянами diáspоры других культур, распределение последних по шкале престижности конфессиональный фактор доминирует над этническим, а в отдельных случаях и над расовым. В частности, армяне, проживающие в Эфиопии, вступают в браки с местными женщинами-христианками. Таким образом, в условиях доминирования мусульманской культуры, когда смешанные браки неизбежны, армяне отдают явное предпочтение лицам, исповедующим христианство, вне зависимости от их этнической принадлежности. Позитивное отношение к семьям с подобным конфессиональным составом основывается на убеждении, что и при различиях в христианских толках можно обеспечить этническое воспитание детей, если не как «стопроцентных» армян, то уж во всяком случае как носителей традиций христианской культуры.

Принципиально иные условия для функционирования традиционной армянской семьи были в странах Запада (США, Франции и др.). В этих

<sup>2</sup> *Boudjikanian A. K. Les Arméniens de l'agglomération de Beyrouth: Etude Humaine et Économique//HASSK. Revue d'arménologie. Beyrouth, 1983. P. 436.*

обществах к моменту иммиграции армян наиболее характерной была нуклеарная семья, состоящая из родителей и детей, переход к которой был обусловлен самим ходом их исторического развития. В то же время для этнических групп, иммигрировавших в эти страны в конце XIX — начале XX в. (например, поляки, греки, итальянцы в США), подобный переход от аграрных к индустриальному обществу носил вынужденный характер и совершился как бы в одночасье. Резкий контраст между прошлым и настоящими условиями жизнедеятельности обусловил конфликтный, противоречивый характер их адаптации к новым социально-экономическим и культурным условиям. Под мощным воздействием местной среды система традиционных ценностей, весь образ жизни подобных этнических групп подверглись интенсивным трансформациям.

В первый период после иммиграции традиционная армянская семья тем не менее сохранила свое существование. Сохранение трехпоколенной структуры семьи явилось весьма эффективным средством сплочения и взаимопомощи: сохраняя и воспроизводя такие элементы материнской культуры, как язык, определенные обычаи и др., она во многом компенсировала социально-психологическую дискомфортность в первоначальный период адаптации.

При устойчивости в основном форм и атрибутов традиционной семьи, в ней неизбежно существенно изменялось распределение социальных ролей. В отличие от патриархальной семьи в значительной мере утратили свою прежнюю роль главы старшие мужчины. Их жизненный опыт и знания, на чем и основывался их непререкаемый авторитет, уже не играли большой роли, как в прежние времена. Ограниченные возможности труда-устройства, незнание местных языков и др.— все это свело к минимуму социальную активность этой группы. В создавшихся условиях ее члены выступили в качестве носителей и защитников основных норм армянской традиционно-бытовой культуры, в частности этнического воспитания детей. Вне семьи старшие мужчины в своем большинстве явились инициаторами организации общинной жизни, включая создание земляческих и других союзов, строительство школ, церквей и т. д. Роль лидеров естественно перешла к работающим мужчинам, обеспечивающим экономическую основу жизнедеятельности семьи, что, однако, учитывая их неизбежную вовлеченность также в общинную жизнь, во многом ограничивало участие в делах семьи, в том числе и в воспитании детей. С другой стороны, постоянные и многообразные контакты с местным населением объективно способствовали более интенсивной, чем остальных членов семьи, аккультурации работающих мужчин.

Наиболее ощутимые изменения претерпело положение женщин. Одной из основных их функций продолжало оставаться воспитание детей, что, если иметь в виду его этническую направленность, приобретало особое значение в условиях диаспоры. В армянских общинах были созданы женские организации по образцу существовавших в западных странах. Их основными функциями стали благотворительность и культурно-просветительская деятельность. Исследователи отмечали, что «... в этом смысле они (армянские женщины — Э. М.) были значительно более активны, чем проживающие в тех же городах польские и греческие женщины»<sup>3</sup>. В США в период формирования армянской общины особенно выделялись в этом плане армяне-протестанты, деятельность которых во многом облегчалась в силу доминирующей и престижной роли протестанства в этой стране. Отмеченное расширение диапазона социальных ролей армянских женщин в странах Запада привело к повышению их статуса как внутри семьи, так и в самой общине, а активное сотрудничество армянских общинных женских союзов с аналогичными местными организациями способствовало скорейшей социокультурной интеграции армян в каждое конкретное общество.

<sup>3</sup> Warner L., Srole L. The Social Systems of American Ethnic Groups. New Haven: Yale University Press, 1945. P. 111.

Примерно с конца 1950-х — начала 1960-х годов в истории развития общества стран Запада начался качественно новый этап, непосредственно связанный с резким изменением статуса женщин. Этому процессу способствовали быстрое увеличение числа работающих женщин (в США в начале 1980-х годов они составили около 43% от общего числа занятых в производстве)<sup>4</sup>, их экономическая независимость, активная общественно-политическая деятельность и др. В общем русле процесса эмансипации следует рассматривать также и так называемую сексуальную революцию, результатом которой был пересмотр общепринятых норм взаимоотношений между мужчинами и женщинами, снятие многих моральных, религиозных и других запретов. Не вдаваясь в подробный анализ этого явления, отметим лишь, что общепризнано его негативное воздействие на семью как социальный институт. Так, в частности в 1980 г. доля бездетных семей в США достигла 49%, а доля семей с тремя и более детьми за одно десятилетие (1970—1980 гг.) снизилась с 43,9% и составляла всего 11,9% от общего числа семей с детьми<sup>5</sup>.

В семьях этнических меньшинств указанные процессы были еще более интенсивными. Вследствие роста числа работающих женщин было сведено к минимуму общение детей со своими родителями с раннего возраста и соответственно участились их контакты с иноэтническими сверстниками. В первый период иммиграции, когда сохранялась трехпоколенная семья, своеобразной компенсацией общения с родителями служило общение детей с дедушками и бабушками, что обеспечивало, как отмечалось, известную этническую направленность воспитания, (включая обучение армянскому языку). Однако в дальнейшем, когда среди армян в странах Запада доминировала уже нуклеарная семья, подобный механизм приобщения ребенка к материнской культуре практически исключился. Говоря о специфике индустриальных, урбанистических обществ американский исследователь Эзра Бугел отмечает: «... от человека ожидают, что он будет самостоятельно пробивать себе дорогу и не станет полагаться на родственников»<sup>6</sup>. Стремление к подобной самостоятельности проявляется, в частности, в характерном для данных обществ отдалении от родителей проживания взрослых детей, что четко прослеживается и среди местных армян. Так, например, в Лионе в 1960-х годах лишь в 3% армянских семей родители проживали совместно со своими взрослыми детьми<sup>7</sup>. Отмеченное явление служит еще одним фактором, способствующим нарушению межпоколенной трансмиссии этнокультурных традиций, интенсификации процессов аккультурации среди молодого поколения иммигрантов армянского происхождения.

Изменение армянской семьи в условиях стран Запада неизбежно отразилось и на отношениях между родителями и детьми. Как отмечалось, в традиционных армянских семьях ребенок в течение весьма долгого времени находился под жестким контролем родителей и воспитывался в духе строгого повиновения им. В условиях трех- и более поколенной семьи, непрекращающегося авторитета старших даже создание собственной семьи не всегда было гарантом полной независимости и самостоятельности, в том числе и экономической. В странах Запада в отличие от стран арабского Востока подобная модель воспитания противоречила общепринятым нормам воспитания, образу жизни в целом, важной характеристикой которого являются развитие и поощрение у детей самостоятельности, предприимчивости и др. «Для армянской семьи,— отмечал С. Адамян,— подавление личных желаний в пользу интересов всей семьи являлось основной ценностью. Строгие запреты на расточительство и сексуальную свободу, наряду с сильным влиянием матерей, создавали семей-

<sup>4</sup> Population Profile of the United States, 1983—1984//Current Population Reports Special Studies (Series P-23). P. 27.

<sup>5</sup> United States: A Statistical Portrait of the American People. N. Y., 1983. P. 92.

<sup>6</sup> Бугел Эзра Ф. Семья и родство//Американская социология. Перспективы, проблемы, методы. М., 1972. С. 171.

<sup>7</sup> Boudjikanian-Keuroghlian A. Les Armeniens dans la region Rhone — Alpes. Audin; Lyon, 1978. P. 118.

ный этноцентризм, в условиях которого правила приличия и экономическая самодостаточность играли роль важных стимулов деятельности»<sup>8</sup>.

Первое поколение армян-иммигрантов и в новых условиях стремилось сохранить традиционные нормы семейного воспитания. Как указывает Р. Мирак, армяне «... обвиняя других (не армян — Э. М.) в том, что свои личные интересы они ставят выше интересов собственных детей, в то же время гордятся присущими им реальными или мнимыми способностями семейного воспитания»<sup>9</sup>. Проявлением подобных способностей явилось их отношение к заработкам детей. Ворнер отмечает, что в армянских, как и греческих, польских и русских семьях, дети обязаны были отдавать заработанные ими деньги родителям и, как правило, были лишены права тратить их по собственному усмотрению. По наблюдениям того же автора, со временем произошло естественное ослабление контроля над поведением детей, однако по одному вопросу — добрачной сексуальной жизни детей — армяне, как и греки, шли на минимальные уступки, что служило основной причиной конфликтов между родителями и детьми<sup>10</sup>.

Приверженность родителей к традиционным нормам воспитания, конечно же, выступала в качестве средства противодействия, противостояния влиянию местной среды, способствуя дифференциации от других этнических групп и в то же время консолидации членов общины вокруг определенных этнокультурных ценностей.

Следствием подобного понимания роли семьи, утвердившегося в сознании армянского этноса в силу специфических условий его жизнедеятельности как на своей этнической территории, так и вне ее, явилось резко негативное отношение к смешанным бракам. Подобная позиция, поощряемая старшим поколением и, что следует особо подчеркнуть, армянской апостольской церковью, в целом была характерна для армянского населения стран Запада и в первые два-три десятилетия нашего столетия. Так, в 1908—1912 гг. в Нью-Йорке смешанные браки составляли лишь 9,6% от общего числа заключенных местными армянами браков<sup>11</sup>. Аналогичным образом обстояло дело и во Франции, где, по данным А. Буджиканян, до 1940-х годов смешанные браки среди французских армян были редким явлением<sup>12</sup>. Малое число межнациональных браков в странах Запада объясняется помимо прочего низким социально-экономическим статусом армян в первый период после их иммиграции, а также тем, что принимающие общества, незнакомые в достаточной степени с историей и культурой армянского народа, рассматривали их как «нежелательных», «опасных азиатов». В дальнейшем (особенно в период после второй мировой войны), по мере повышения социально-экономического статуса армян и их успешной интеграции в принимающие общества, число смешанных браков начинает неуклонно расти. В свою очередь подобные браки являлись для армян весьма эффективным средством скрепления их включения в местную среду, продвижения по социальной иерархии.

В результате действия отмеченных и других факторов следует особо подчеркнуть отсутствие принципиальных различий между армянской апостольской церковью и различными христианскими церквями стран Запада; смешанные браки среди местных армян третьего и последующих поколений стали обычным явлением, а в ряде стран сегодня составляют большинство<sup>13</sup>. Однако и в условиях интенсивной аккультурации отдельные элементы традиционного воспитания сохраняют у армян свою значимость, придавая определенную этническую маркированность их обра-

<sup>8</sup> Atamian S. The Armenian Community: The Historical Development of a Social and Ideological Conflict. N. Y.: Philosophical Library, 1955. P. 135.

<sup>9</sup> Mirak R. Torn Between Two Lands. Armenians in America, 1890 to World War I. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1983. P. 160.

<sup>10</sup> Warner L. W., Srole L. Op. cit., P. 129.

<sup>11</sup> Mirak R. Op. cit. P. 156.

<sup>12</sup> Boudjikian-Keuroghlian A. Op. cit. P. 107—113.

<sup>13</sup> Aharonian A. G. Intermarriage and the Armenian-American Community. Shrewsbury, Mass., 1983. P. 38; Boudjikian-Keuroghlian A. Op. cit. P. 109—113.

зу жизни. В связи с этим представляет интерес проведенное американским ученым П. Фройндом исследование относительно потребления алкоголя среди трех поколений американских армян, проживающих в штат Род-Айленд<sup>14</sup>. Автор прежде всего подчеркивает, что армяне на протяжении всей своей истории отрицательно относились к чрезмерному употреблению алкогольных напитков, и лица, пристрастившиеся к алкоголю, осуждались и презирались. Такая ориентация в целом сохранилась и среди современных американских армян. Они считают, что употребление напитков оправдано лишь при встрече с родственниками и близкими друзьями, во время особых торжеств и т. д. Показательны различия, присущие американскому и армянскому способам гостеприимства. В отличие от американской модели, когда гостей принято угождать спиртными напитками как при встрече, так и при расставании, армяне, как правило, угождают им кофе и лишь изредка алкогольными напитками. По мнению, «при приеме гостей на столе не должно быть напитков, поскольку они могут подумать, что вы постоянно употребляете их»<sup>15</sup>. Еще одной характерной особенностью является то, что американские армян в отличие от американцев не имеют привычки посещать бары и другие подобные заведения, предпочитая застолье в кругу друзей и родственников. Подобное отношение к употреблению спиртного свойственно в основном американским армянам старшего поколения, однако эта модель в целом характерна и для молодежи. Вот типичные высказывания молодых людей: «Мой отец утром всегда пил маленькую рюмку водки»; или «Я помню, как мой отец пил рюмку коньяка перед вечерней трапезой или перед сном»<sup>16</sup>. Многократное повторение в семье подобной модели поведения — эффективное средство привития определенных норм употребления алкоголя и тем самым противодействия внешнему влиянию, осознанию своей этнокультурной специфичности. Как справедливо отмечает П. Фройнд, «армянские юноши учатся умеренности и самоконтролю при употреблении алкоголя на примере родителей, а не в силу ритуального употребления, как у евреев, или раннего и частого его употребления, как у итальянцев»<sup>17</sup>.

Будучи одним из важнейших этносоциальных институтов, семья особым образом аккумулирует в себя различные сферы жизнедеятельности этнических меньшинств и тем самым играет роль своеобразного индикатора, позволяющего судить как о протекающих в них процессах аккультурации и ассимиляции, так и соответственно о степени противодействия этим процессам. Применительно к армянской диаспоре проведенный анализ семьи, несмотря на всю его неполноту (в частности, здесь мы не затронули такие важные вопросы, как семья — материнский язык, семья — этническое самосознание), тем не менее позволяет, на наш взгляд, выявить различия в этнокультурных характеристиках армянских общин в странах Востока и Запада. Если в первом случае правомерно говорить в целом о процессах аккультурации, то во втором — о значительно большей их интенсивности (как в смысле скорости протекания, так и сфер распространения), их перерастании в ряде случаев в стадию ассимиляции.

<sup>14</sup> Freund P. Armenian-American Drinking Patterns//Brown University (Penn.), Working Papers on Alcohol and Human Behavior. 1979. № 5.

<sup>15</sup> Ibid. P. 11.

<sup>16</sup> Ibid. P. 12.

<sup>17</sup> Ibidem.

**ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
НАРОДНОЙ УКРАИНСКОЙ ОДЕЖДЫ  
КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX В. КАК ОБЪЕКТ  
ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ**

Рассматривая истоки и достижения советской многонациональной культуры, XXVII съезд КПСС отметил, что, «вбирая в себя богатство национальных форм и красок, она становится уникальным явлением в мировой культуре»<sup>1</sup>. Зафиксированным в культурной традиции программам человеческой деятельности, концентрированно выражющим исторический опыт разных народов, принадлежит чрезвычайно важная роль во всемирно-историческом процессе<sup>2</sup>. Это относится и к современной одежде, отдельные элементы которой часто заимствованы из традиционного костюма, тесно связанного с историей каждого народа.

Несмотря на многочисленные публикации, посвященные костюму братских народов нашей страны, малоизученной остается проблема художественных особенностей, составляющих одну из характерных черт традиционной одежды.

Эстетические особенности народной одежды конца XIX — начала XX в. сформировались в результате разновременных наслоений в материальной и духовной культуре народа в ходе его социально-экономического развития, при взаимодействии этносов, находящихся в культурном контакте. Стойко сохрания следы этнокультурных взаимосвязей разных эпох, художественные особенности костюма не могут быть присущи изначально (генетически) и навсегда данному этносу<sup>3</sup>. Они отражают формирование, преемственность или утрату этнокультурных традиций, являясь ценным источником при изучении этнической истории каждого народа.

В художественных особенностях, украшениях костюма дольше сохраняется этническая специфика, национальное своеобразие одежды<sup>4</sup>, что способствует установлению непосредственной взаимосвязи между традициями и профессиональным моделированием одежды сегодня.

Цель данной статьи — выделить и проанализировать комплекс этнографических признаков, раскрывающих художественные особенности народной одежды, на примере украинского традиционного костюма конца XIX — начала XX в. — яркого, своеобразного, многогранного явления культуры, сформировавшегося в процессе исторического развития украинского народа в конкретных природно-климатических, социально-экономических и бытовых условиях. В нем отразились общность происхождения восточнославянских народов, длительное взаимодействие культур соседних с украинским славянских и неславянских народов. Художественно-технические навыки, орнаментально-колористические и разнообразные композиционные приемы, соотношение декоративных и знаково-семантических признаков определяют этническую специфику украинского традиционного костюма и являются источником обогащения современной одежды<sup>5</sup>.

В публикациях дореволюционных исследователей, а также советских ученых, посвященных ранним периодам истории развития культуры восточнославянских народов, наряду с историей одежды рассматриваются

<sup>1</sup> Горбачев М. С. Политический доклад Центрального Комитета КПСС XXVII съезду Коммунистической партии Советского Союза. М., 1986. С. 67.

<sup>2</sup> Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. М., 1983. С. 131.

<sup>3</sup> Чистов К. В. Народные традиции и фольклор. Л., 1986. С. 23, 24.

<sup>4</sup> Бромлей Ю. В. Современные проблемы этнографии. М., 1981. С. 334; *его же*. Этнические процессы в СССР//Коммунист. 1983. № 5. С. 61.

<sup>5</sup> Николаева Т. О. Традиційний український народний одяг, як джерело зображення сучасного костюма//Прогресивні народні традиції в зображені радянського способу життя. Київ, 1986. С. 112—129.

и ее художественные особенности<sup>6</sup>. Традиционному крестьянскому костюму восточнославянских народов (XVIII—XIX вв. и более ранние периоды) посвящено немало трудов этнографов и искусствоведов<sup>7</sup>.

В ряде монографий анализируется художественное решение отдельных элементов одежды (сорочек, верхней одежды)<sup>8</sup>, рассматриваются такие виды народного творчества, как ткачество, вышивка, набойки прослеживаются способы и техника их исполнения, локальные особенности орнаментальных мотивов, колористические решения и т. д.<sup>9</sup>

Упомянутые работы, имеющие различные аспекты (искусствоведческий, этнографический и др.), не раскрывают всего комплекса художественных и композиционных средств и приемов, используемых народными мастерами при создании целостного эстетического образа, отражающего его этническую специфику. Не прослежены и эволюция художественных особенностей традиционной одежды в советский период, процесс взаимопроникновения профессионального и народного творчества, кустарного и промышленного производства, не выработаны критерии оценки отбора наиболее прогрессивных приемов, путем органического проникновения народного опыта в современность.

Эстетическая выразительность украинского народного костюма конца XIX — начала XX в. достигалась благодаря использованию различных по художественным свойствам материалов, значительно опыта создания функциональных конструкций и пластических форм одежды, а также за счет множества видов техник и композиций национальных и съемных украшений. Закономерным при создании народного костюма являлось единство конструктивных, технологических и художественных приемов.

Отличительной особенностью традиционного костюма, как известно, была его комплексность. Разнообразные комплексы народной одежды, бытовавшие на Украине в XIX — начале XX в., состояли из различных по функциональному назначению, а соответственно и по материалу, конструкции, орнаментально-колористическому решению и отделке компонентов. Все элементы, входящие в традиционный комплекс, — нательная, поясная, нагрудная, верхняя одежда, а также убор головы, пояс, съемные украшения, обувь — наряду с другими функциями — выполняли особую

<sup>6</sup> Прохоров В. А. Материалы по истории русских одежд и обстановки жизни народной. СПб., 1881; Саввацов П. И. Описание старинных русских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и конского прибора. СПб., 1896; Стасов В. Заметки о древнерусской одежде и вооружении. СПб., 1881; Кудь Л. Н. Костюм и украшения древнерусской женщины. Киев, 1914; Степанов П. К. История русской одежды. Вып. 1. Пр. 1915; Арциховский А. В. Одежда//История культуры Древней Руси. Т. I. М.; Л., 1948; Рыбаков Б. А. Ремесло Древней Руси. М., 1948; Древняя одежда народов Восточной Европы. Материалы к историко-этнографическому атласу. М., 1986.

<sup>7</sup> Арциховский А. В. Одежда//Очерки русской культуры XIII—XV вв. Ч. 1. М., 1969; Громов Г. Г. Русская одежда//Очерки русской культуры XVI века. Ч. 1. М., 1977; его же. Одежда//Очерки русской культуры XVII века. Ч. 1. М., 1979; Маслова Г. С. Народная одежда русских, украинцев и белорусов в XIX — начале XX в.//Восточнославянский этнографический сборник//Тр. Ин-та этнографии т. XXXI. М., 1956. С. 614—618; Вібрація/Українське народне мистецтво. Київ, 1961. С. 326; Матейко К. І. Український народний одяг. Київ, 1977. С. 138—142.

<sup>8</sup> Білецька В. Ю. Українські сорочки, їх типи, еволюція і орнаментація//Матеріали до етнології та антропології. Т. XXI, XXII. Ч. 1. Львів, 1929; ее же. Вишиті кохухи в Богодухівській округі на Харківщині//Науковий збірник науково-дослідної кафедри історії української культури. Ч. 7. Вип. 1. Харків, 1927.

<sup>9</sup> Маслова Г. С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник. М., 1978; Орнамент украинской вышивки. Киев, 1950; Тканины и вышивки//Украинское народное мистецтво. Киев, 1960; Кара-Васильева Т. В. Полтавская народная вышивка. Киев, 1983; Сидорович С. И. Художественная ткань восточных областей УРСР. Киев, 1979; Толочко П. П. Украинские радянские плахтевые ткацтво//Народная творческая и этнография (далее — НТЕ). 1962. № 2. С. 101—106; Жук А. К. Богуславские народные тканины//Образотворческое мистецтво. 1977. № 13. С. 16—17; его же. Кролевецкие узорные тканины//НТЕ. 1976. № 3. С. 70—75; Дудар О. Художественное ткачество Полесья//Народные художественные промыслы Украины. Киев, 1979. С. 69—78; Колес С. Г., Хургін М. Д. Декоративные тканины. Киев, 1949; Кравец И. М. Развитие украинского художественного ткачества в довоенном периоде//Украинское мистецтвознавство. 1969. Вып. 3. С. 60—75; Шмелева М. Н., Газихина Л. В. Украшения русской крестьянской одежды//Русские. Историко-этнографический атлас. Из истории русского народного жилища и костюма. М., 1970. С. 89—123.



Рис. 1. Украинский праздничный девичий костюм. Вторая половина XIX в.: а — Днепро-петровщина, б — Полтавщина  
Реконструкции Николаевой Т. А., рис. худ. Буденного М. П.

эстетическую роль. Каждый из них определенным способом надевался, соединялся с другими деталями костюма, имел свое назначение и был обязательной составной частью конкретного комплекса. Варьировались детали комплекса в зависимости от характера труда, времени года, народного быта, традиций, обычаяев и обрядов. Для комплексов народной одежды были характерны как общеукраинские черты, так и локальное своеобразие, отражавшее специфику исторического развития различных районов Украины, этнокультурные взаимосвязи, природно-климатические условия. Самобытные гармоничные локальные комплексы одежды свидетельствуют о знании народными мастерами законов композиции, высоком уровне культуры создания традиционного костюма, которая вырабатывалась многими поколениями.

Выразительность художественного оформления народного костюма на протяжении всей истории являлась важным социальным показателем, она подчеркивала имущественное и семейное положение, возраст человека. Наиболее нарядной была одежда девушек и молодых женщин (молодиц). Приобретение ее часто требовало целого состояния и



Рис. 2. Изменение девичьего традиционного костюма Черниговщины (XIX—XX в.): а — вторая половина XIX в. Комплекс состоит из домотканой плахты, передника, запаски, вышитой сорочки, а также безрукавки-корсетки из фабричной ткани, коралловых бус (*намиста*), дукача, венка; б — конец XIX — начало XX в. Все элементы костюма, кроме сорочки, выполнены из фабричных тканей. Шейное украшение — коралловые бусы, монеты-дукачи, головной убор — «повязка» (фабричный платок, закрепленный на жесткой основе); в — Девичий костюм 30-ых годов XX в. Реконструкции и рисунок выполнены Николаевой Т. А.

события (рис. 3, б). Вот, к примеру, как описывают одежду подруг невесты, присутствующих на свадьбе на Полтавщине: «На гладко причесанные волосы надеты были широкие ленты или шелковые красные и черные шерстяные платки. Туго обтянутые поясами талии охватывали разноцветные корсеты. Модные парчовые фартуки спускались на желтые сапоги... Пестрые костюмы, ленты, цветы, молодые глаза девчат — все это сверкало на майском солнце, и эта оживленная толпа в тесной улице под хатами напоминала мак на огороде — любимый образ малорусской поэзии»<sup>11</sup>.

Для народных мастеров характерно детальное знание утилитарных и художественных особенностей *материалов*, из которых выполнялась или которыми украшалась та или иная одежда, выбор материала, наиболее соответствующего каждому конкретному случаю. Домотканые льняные, конопляные, шерстяные ткани, преобладавшие в быту украинцев вплоть до конца XIX столетия, отличались высокой художественностью, что достигалось умелым использованием свойств сырья, разнообразием ткацкой техники и способов отделки готовых тканей (отбели-

<sup>11</sup> Милорадович В. Житье-бытье лубенского крестьянина//Киевская старина. 1902. № 6. С. 68.



*a*



*b*

Рис. 3. Традиционный украинский костюм XIX — начала XX в.: *a* — Надворнянский р-н Ивано-Франковской обл.; *б* — Молодые. Глубоческий р-н Черновицкой обл.

вание, валяние, крашение, набойка). Древнейшим промыслом были и выделка, дубление и крашение овечьих шкур для зимней одежды, и обработка кожи для обуви.

В XVIII—XIX вв. в экономически развитых районах Украины, связанных с торговыми путями и рынками сбыта, в крестьянском костюме употреблялись и покупные ткани, сначала привозные, а со временем и местного мануфактурного производства, которые умело соединялись народными мастерами с самодельными<sup>12</sup>. Покупные ткани были дороги, что обусловливало бережное отношение к ним, продуманность выбора; использование таких тканей в крестьянском костюме подчеркивало за житочность владельца. Основная часть населения покупала ткани для изготовления отдельных деталей костюма, а чаще — для украшения, отделки одежды<sup>13</sup>.

Шерстяные, шелковые, позже хлопчатобумажные ткани различного качества и художественного решения (парча, бархат, атлас, штоф, камка, китайка, позумент (*галун*) и др.— однотонные или орнаментированные жаккардовым полихромным рисунком либо с чередующимися блестящими и матовыми плоскостями рисунка и фона) использовались для праздничных безрукавок (*керсеток*), передников (*запасок*), женских головных уборов (*очепков*), верхней одежды, а также в качестве отделки. Искусно соединяемые с домотканиной, они вносили в костюм дополнительную живописность и декоративность. Во второй половине XIX в., с развитием капитализма, фабричные ткани все больше проникают в крестьянский быт, постепенно вытесняя самодельные. Цвет и рисунок покупных тканей в разных районах Украины продолжали сохранять местные традиции<sup>14</sup> (рис. 2, 4).

Наиболее стойко сохранялись *колористика* народной одежды и связанные с ней ассоциации, определявшиеся как природными свойствами каждого цвета, так и традиционными толкованиями, уходящими в глубь

<sup>12</sup> Калашникова Н. М. Одежда украинцев XVI—XVIII вв.//Древняя одежда народов Восточной Европы... С. 113—114.

<sup>13</sup> Громов Г. Г. Одежда//Очерки русской культуры XVII века. С. 206.

<sup>14</sup> Прилипко Я. Український народний одяг як джерело вивчення етнічної історії//НТЕ. 1971. № 5. С. 14.

бокую древность. Выработанные на протяжении веков символика, психологически-кодовое, семантическое значение цвета в одежде являлись важными этническими, социальными, этическими показателями, выражавшими мировоззрение, особенности психики, эстетического восприятия народа. Благодаря этому цвет как домотканых, так и покупных материалов имеет важное значение при изучении вопросов этногенеза, этнической истории, этнокультурных взаимовлияний. В народном костюме цвет подчеркивал будничность или праздничность, выделял обрядовую одежду, являлся половозрастной характеристикой.

Находясь в гармонии с окружающей природой, цвет являлся образным языком, воздействовавшим на чувства и ощущения человека. Так, у большинства народов белый цвет, вызывавший ощущение чистоты, легкости, света, олицетворял благородство, духовность, чистоту, милосердие, девственность, беспорочность, граничащую с трауром (знак отказа от всех цветов, олицетворяющих жизнь). В противоположность белому черный цвет ассоциируется с тьмой, ночью, пеплом, символизируя печаль, отчаяние, отречение, траур и вместе с тем покой, постоянство, преданность (благодаря чему в черном даже венчались). Особое воздействие оказывает на человека красный цвет — цвет солнца, огня, света, крови, символ силы, долголетия, плодородия, могущества, власти, гнева, жестокости<sup>15</sup>.

В древнеславянской одежде наиболее распространеными были белый цвет и разные оттенки красного: «червленый», «багряный». Именно белый и красный цвета сохранялись в традиционных народных однотонных и орнаментированных тканях, используемых восточными славянами в одежде до конца XIX — начала XX в. Исключительная роль принадлежала красному цвету. Слово «красный» являлось синонимом слов «красивый, прекрасный, наилучший, нарядный, ценный, дорогой». Этот цвет был обязательным в таких деталях, как плахта, нарядный передник, пояс, девичьи ленты, венки, бусы и пр. Красного цвета было много в одежде молодежи, праздничном, свадебном костюме. Это отразилось и в образных выражениях («Молодиця іде у червоному очіпку, як маківка цвіте»). О девушке, вышедшей на улицу в синих и зеленых лентах, говорили: «пісна дівчина» (от слова «пост», «постить»). Плахту, в которой отсутствовал красный цвет, также называли «пісна плахта»<sup>16</sup>.

Белый цвет сорочки — общеславянская традиция, восходящая к глубокой древности. Цвет тщательно отбеленного тонкого льняного полотна является своеобразным эстетическим эталоном украинских сорочек XIX в. Из домотканого валяного сукна натурального белого, серого или черного цвета шили верхнюю одежду. Цвет сукна был обычно традиционным, зависел он также от назначения одежды, в определенной мере обуславливался и породой (цветом шерсти) овец. Наиболее ценным считалось сукно из белой, специально обработанной шерсти высокого качества. Из такого сукна шили нарядную женскую верхнюю одежду: *свиты* (Поднепровье), *юпки* (Левобережная Украина), *гуглю* (западные области Украины). Из сукна естественного серого цвета шили *куцину* и *латух* (Полесье). Природный черный цвет «пояркового» сукна имел коричневый оттенок и после непродолжительной носки постепенно переходил в более светлые, буро-коричневые тона<sup>17</sup>. Аналогичный цвет получался при окрашивании сукна естественными красителями<sup>18</sup>. Такое сукно использовалось для мужской свиты и *керей* в Поднепровье, *гуньки, манты, чуги* в Подолии. Обычай окрашивания сукна в красный цвет сохранился в конце XIX — начале XX в. в праздничных гуцульских сердаках<sup>19</sup>.

<sup>15</sup> Ариховский А. В. Одежда//История культуры Древней Руси. С. 236; Чернова А... Все краски мира кроме желтой. М., 1987. С. 98—118.

<sup>16</sup> Милорадович В. Указ. раб. С. 68.

<sup>17</sup> Познанский Б. Одежда малороссов//Тр. XII археол. съезда в Харькове. Т. III. М., 1902. С. 206.

<sup>18</sup> Шмелева М. Н., Тазихина Л. В. Указ. раб. С. 92.

<sup>19</sup> Ариховский А. В. Одежда//История культуры Древней Руси. Т. 1. С. 236; Пряпинко Я. Указ. раб. С. 14.

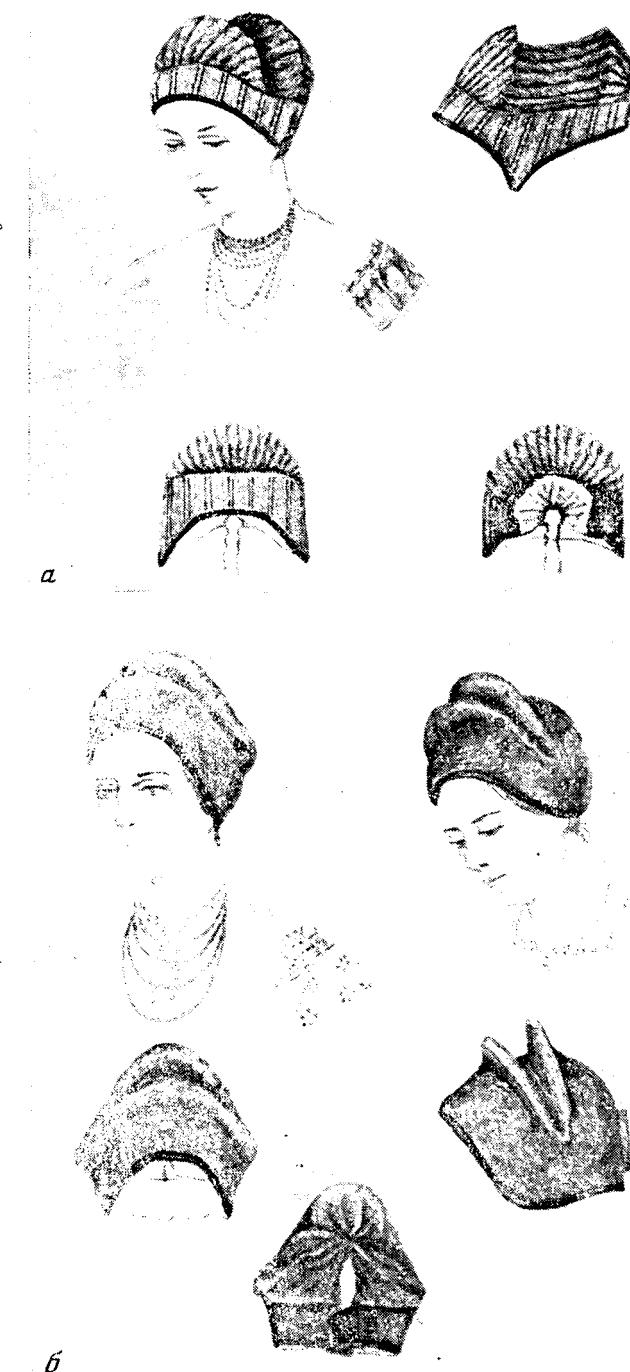


Рис. 4. Женские головные уборы из коллекции Яворницкого Д. И. (Днепропетровский исторический музей). Далее (ДИМ): а — «Очи́пок» из голубого набивного коленкора, жесткий, «крылья» на пропитанном кононляном полотне, с. Петровка, (быв. Славяносербский уезд), Днепропетровская обл., конец XIX в., ДИМ, Э—2315; б — «Пово́йник» из синего набивного ситца. Влияние русского типа головного убора. Днепропетровщина, конец XIX в., Э—1378 (рисунки Миненко Л. П., выполненные по зарисовкам Николае-вой Т. А.)

У всех славянских народов зимнюю одежду шили из белой овчины. Украинцы делали из нее некрытые (нагольные) кожухи, безрукавки-кентари (рис. 3а). На Украине широко бытовали кожухи, окрашенные путем дубления (обработки дубовой корой) в разные оттенки красно-коричневого цвета.

Обшивали одежду из овчины черным и коричневым мехом, серый использовался для украшения кожухов, преимущественно на территории бывшей Киевской губернии<sup>20</sup>. Можно предположить, что это вызвано не только экономическими и практическими соображениями, но и эстетическими представлениями местного населения. У других народов, например у румын, серый мех был повседневным, в то время как черный считался более нарядным.

На Украине широко использовали и крашеную кожу: из красной и желтой кожи — сафьяна шили желтые сапоги, цветной кожей в виде обшивок и аппликаций украшали и обрабатывали кожухи, безрукавки из овчины — кентари.

Для многоцветных узорных тканей, поясов, а также как отделочный материал (вышивальные нитки, шнуры, тесьма, кисти) употребляли окрашенную в разные цвета пряжу.

Ткань и пряжу крестьяне красили сами в домашних условиях либо отдавали ремесленникам (красильщикам, синильщикам, дубильщикам)<sup>21</sup>. В народной практике существовало множество методов и рецептов крашения, благодаря чему имелась значительная гамма цветов и оттенков ткани и пряжи для одежды.

Народные мастера использовали местные натуральные красители, реже — покупные, привозные. В качестве природных красителей вплоть до второй половины XIX в. применяли ряд насекомых (кошениль, червец), корни морены, настои коры деревьев, листьев, цветов, трав, плодов растений с добавлением хлебного кваса и некоторых доступных химиков (médный купорос, квасцы и т. п.). Добываемый на Украине червец, который давал красную краску (кармин), уже в XVII в. был важным экспортным товаром, конкурировал на внешнем рынке до конца XVIII в. с дешевой американской кошенилью. Для получения красной краски издавна использовали и корни морены.

Пунцово-красный цвет получали из истолченной в муку кошенили, соединенной с цинком, нашатырем, селитрой; темно-малиновый — из высушенных и размелченных листьев дикой яблони (*кислиці*) пополам с коноплей (*материнкой*) с добавлением квасцов (*галуни*), хлебного кваса<sup>22</sup>.

Особым способом красили мастерицы-синильщицы женскую поясную одежду: шерстяные запаски — в черный и синий цвета; в черный — с помощью железной ржавчины (дубовой или ольховой коры), хлебного кваса. Синий (кубовый) цвет получали путем соединения настоя серы (из замоченной в воде немытой овечьей шерсти), щелока, покупной синей краски (индиго, или синий сандал, бенгалка)<sup>23</sup>.

Богатство цветовой гаммы традиционного украинского костюма особенно ощутимо в типичном для Центральной Украины элементе праздничной одежды XVIII — XIX вв. — плахте. Для плахт специально обрабатывалась и красилась пряжа, которую предварительно проправливали квасцами, благодаря чему достигалась необходимая прочность крашения. Желтый и охристый цвета получали при окрашивании конским щавелем, листьями цветка подсолнуха, ромашки, шелухой лука; в зеленый цвет красили отваром из коры лиственницы, травы, листьев арбуза. Для окраски пряжи в телесный цвет использовали отвар корней кустарника терна с квасцами.

В плахтах, предназначавшихся для девушек и молодых женщин,

<sup>20</sup> Калашникова Н. М. Указ. раб. С. 114.

<sup>21</sup> Шмелева М. Н., Тазихина Л. В. Указ. раб. С. 90—93.

<sup>22</sup> Василенко В. И. Прядение и ткачество в Зеньковском и Миргородском уездах// Очерки кустарных промыслов Полтавской губ. Вып. 1. Полтава, 1900. С. 25.

<sup>23</sup> Там же. С. 11.

преобладал яркий фон (красный, малиновый, бордовый). На нем в клеточках белым, зеленым, желтым и синим цветами выделялся узор. Пожилые женщины носили плахты сдержаных расцветок, в которых на синем или черном фоне выступали орнаментальные мотивы, выполненные желтой или белой пряжей.

Начиная со второй половины XIX в. натуральные природные красители постепенно заменяются анилиновыми, что существенно повлияло на цветовую гамму однотонных, узорных тканей и вышивок. С переходом на фабричные материалы цвет продолжает оставаться важной этнолокальной особенностью: происшедшие изменения не нарушили выработанной многими поколениями системы цветовой гармонии — крестьян длительное время используют в одежде материалы, сохраняющие традиционный местный колорит, остаются привычные сочетания цветов.

Цвет и фактура домотканины в украинской традиционной одежде конца XIX — начала XX в. были выразительным фоном для различных видов, техник и приемов декорирования. Однотонные ткани органично сочетались с орнаментированными. Орнаментация выполнялась техникой ткачества, набойки, вышивки, аппликации, строчки и была наиболее важным художественным средством, народным композиционным приемом для создания специфичного внешнего облика, привычного стереотипа, соответствующего исторически сложившейся на конкретной территории локальной этнокультурной группе украинского народа.

Материал, мотивы, колористика, техника исполнения, размещение орнамента неразрывно связаны не только с украшаемой деталью одежды, но и с костюмом в целом, с его функциональным назначением. Семантика и стилевые особенности орнаментов, сохраняя следы более древних этносов, пережитки идеологических и эстетических представлений различных эпох отражали этническую историю народа, его этнокультурные взаимосвязи. Исследователи неоднократно подчеркивали, что наиболее древние элементы и мотивы орнаментики тканого рисунка и вышивки на Украине сохранились на территории Полесья.

В конце XIX — начале XX в. на Украине преобладали геометрические и растительные мотивы орнамента. Развитие орнаментального рисунка от простейших форм к более сложным в историческом и территориальном аспекте прослеживается с севера на юг. На севере бытовал простейший классический монохромный геометрический орнамент. В Юго-Западной Подолии и Карпатах (у гуцолов) геометрические мотивы усложнялись как благодаря графическому построению, так и за счет полихромии. Растительные мотивы, которые распространены в орнаментации вышивок народной одежды Среднего Поднепровья, Подолии, Буковины, Закарпатья, отличались композицией, техникой исполнения и колоритом.

Колористика орнаментации украинских сорочек (вышивка, тканый рисунок) не только раскрывает одно из художественных явлений народного искусства, но и сохраняет, как и сам рисунок, наиболее древние местные традиции, ярко демонстрируя исторические этнокультурные взаимосвязи украинского народа.

В конце XIX — начале XX в. на территории Украинского Полесья, а также на всем Левобережье в орнаментации женских сорочек преобладала одноцветность. Монохромность на Правобережье и Левобережье была различной. В первом случае преобладал красный цвет (чаще в ткачестве), во втором — белый («белым по белому») или с едва заметным оттенком. «Бель» четко проступала в наиболее давних традиционных комплексах, ареал ее распространения совпадал с ареалом бытования плахты. На Киевщине, Черкащине, частично в Подолии бытовала двухцветная красно-черная вышивка; к двум цветам на юге Черкасс и в Подолии иногда добавлялся третий — желтый или зеленый. В Юго-Западной Подолии, Прикарпатье и Карпатах в вышивке преобладала полихромия. Для полихромной вышивки сорочек Подолии, Прикарпатья и Гуцульщины характерна красно-черная основа, которая связывает ее с вышивкой Центральной Киевщины. Если в Центральной Киевщине

имело место относительное «равновесие» этих двух цветов, то в Гуцульщине и особенно в Подолии преобладающим был черный. Подольская и гуцульская полихромная вышивка иногда включала в себя золотую или серебряную нить, что свидетельствует об украинско-молдавских этнокультурных взаимосвязях<sup>24</sup>.

Структура тканей, их расцветка тщательно подбирались для одежды конкретной формы и назначения. *Формообразование*, выполнявшее прежде всего утилитарную функцию — создание объемов, соответствующих фигуре человека и его деятельности, являлось важнейшим этническим признаком и одним из средств художественного решения традиционного костюма. Народные мастера стремились к максимальной эстетической выразительности формы одежды и художественной законченности деталей, одновременно накапливаясь опыт рационального использования материалов.

В рассматриваемый период на Украине в народном костюме были разные конструктивно-художественные способы создания формы: с помощью нешитых, частично сшитых и целиком сшитых прямоугольных кусков ткани. На разных стадиях исторического развития славянских народов кусок ткани выполнял различные функции: служил элементом костюма (поясная одежда в виде куска ткани, укрепленной на талии, головной убор, наплечная накидка); был подстилкой, сумкой и т. д. Во второй половине XIX в. на Украине, кроме северных районов, прямой кусок ткани законсервировался в виде поясной одежды — в *запасках*, *дерге*, *обгортке*, *опинке* и др. Аналогичную украинской поясную одежду мы встречаем в виде одного или двух прямоугольных нешитых кусков ткани у молдаван (*катринце*)<sup>25</sup>, болгар (*пристилки*)<sup>26</sup>. У ряда других народов, например у народов Прибалтики, одежда в виде куска ткани получила развитие не только как поясная, но и как наплечная<sup>27</sup>. На Украине до второй половины XIX в. бытовал старинный, общий для всех славянских народов женский головной убор *намитка* в виде длинного прямоугольного тончайшего льняного полотнища домашней работы, которое набрасывалось на голову, пропускалось под подбородком и завязывалось на затылке в виде большого банта и свисающих по спине орнаментированных концов.

В результате сшивания прямоугольных кусков ткани, а также при сборивании их в украинском традиционном костюме создавались нательная одежда (сорочки), сшитая поясная (юбки), различные виды нагрудной и верхней одежды. Усложнение их форм происходило благодаря добавлению подкроенных деталей, которые делали одежду более соответствующей фигуре человека. Край традиционных украинских сорочек развивался за счет различных способов соединения полотниц ткани в плечах. По этому признаку на Украине можно выделить четыре основных типа сорочек: туникообразную, с плечевой вставкой, с цельнокроенным рукавом и на кокетке. Сорочка с плечевыми вставками делилась на два подтипа — со вставками, пришитыми по основе или по утку стана. Сорочка с плечевой вставкой, пришитой по утку, бытowała в Украинском Полесье; со вставками, пришитыми по основе, — на юге Черниговщины и на Полтавщине; с цельным рукавом — на Черкащине, в Подолии и в Карпатах. Сорочка туникообразная была распространена в Буковинском Прикарпатье, на кокетке — на юге Украины<sup>28</sup>. Территория бытования наиболее архаичного кроя сорочек — ту-

<sup>24</sup> Зеленчук В. С., Лившиц М. Я., Хынку И. Г. Народное декоративное искусство Молдавии. Кишинев, 1968. С. 43, 44.

<sup>25</sup> Зеленчук В. С. Молдавский национальный костюм. Кишинев, 1985. С. 64—69.

<sup>26</sup> Велева М. Г., Лепавцова Е. И. Български народни носии. Т. 3. София, 1979. С. 130, 173, 200—205.

<sup>27</sup> Слава М. К. Латышская народная одежда как источник изучения вопросов этнической истории//Этнографические и лингвистические аспекты этнической истории балтских народов. Рига, 1980. С. 94.

<sup>28</sup> Николаева Т. А. Украинская народная одежда. Среднее Поднепровье. Киев, 1987. С. 32—41, 82—91; Ніколаєва Т. О., Карапасильєва Т. В. Особливості народного вбрання та вишивки українського населення Прикарпаття//НТЕ. 1988. № 3. С. 67—73.

никообразного и с плечевыми вставками, пришитыми по утку, совпадал с распространением древнего геометрического монохромного орнамента выполняемого техникой ткачества или вышивкой, имитирующей ткачество (низь, настилание). Здесь же были распространены старинные виды поясной одежды (запаски, опинка, плахта, юбка-литник).

На различных видах нагрудной и верхней традиционной одежды форма которых изменялась благодаря усложнению края спинки, можно проследить их эволюцию, происходившую параллельно с освоение техники края<sup>29</sup>.

Художественные особенности традиционного костюма усиливали благодаря умению народных мастеров находить гармоничные пропорции одежды. Длина, форма, деление вертикальными и горизонтальными линиями каждого элемента одежды, многослойность и соотношение отдельных частей в общей композиции комплекса отражают местные традиции и вкусы. Связанные с природно-климатическими условиями, художественной деятельностью населения, с назначением одежды, они были выразительными локальными и художественными признаками историко-этнографических комплексов. Примером богатства форм и пропорций может служить безрукавная нагрудная одежда, которая на Украине изготавлялась из различных материалов. Укороченные прямоспинные формы сохранились даже в XX в. в меховых безрукавках западных областей Украины. В коротких суконных безрукавках (распространены среди населения предгорья Карпат) — брусликах, лейбиках — наряду с прямоспинными бытовали приталенные укороченные (до талии либо отрезные в талии) формы. В Приднепровье во второй половине XIX и в XX в. широкое распространение получила безрукавка из фабричной ткани — керсетка, имевшая в различных местностях свою длину, пропорции, оформление. Длина керсеток Центральной Киевщины достигала середины бедра. Они плотно облегали верхнюю часть фигуры, а от линии груди расширялись клиньями-вусами. На Черниговщине керсетка была короче и расширялась от талии, что зрительно делило ее на две равные части. На Полтавщине она была максимальной длины (до колен и ниже), расширение начиналось немного ниже линии груди. Разное образие длин и пропорций характерно для верхней зимней и осенне-весеннею традиционной одежды конца XIX — начала XX в.

Художественной выразительностью отличались такие детали, как карманы, манжеты, имевшие локальные особенности в композиции и художественно-технологическом исполнении. Детали одежды выполняли не только утилитарную функцию, но часто были и украшением.

Художественную нагрузку в украинском традиционном костюме несли и технологические приемы. Характер обработки швов (соединение плечевых вставок сорочек с рукавом, сшивание полотниц плахты, шивание клиньев-вусов в нагрудной и верхней одежде и т. д.), способы закрепления наиболее сложных узлов (например, верхней части вусов или ластовиц в свитах и кожухах) являлись одновременно и украшение одежды. Немаловажную роль играло декоративное оформление швов: а также обработка краев верхней одежды, особенно правой полы. При сборивание горловины и рукавов сорочек также имело местные традиции и отличалось большим мастерством исполнения, например украшением плечевой части рукавов сорочек Поднепровья пухликами или закладыванием мелких складок в сорочках на Подолии в Закарпатье. Мелкие декоративные складки закреплялись ниткой либо запаривались специальным способом (*морщение*), создавая сложную фактуру. Так же могли оформляться мужские брюки.

Шерстяные тяжелые запаски и свободные (за счет вставленных клиньев) спинки верхней одежды из домотканого сукна закладывались в крупные складки, которые фиксировались под прессом, а кроме того специальным хранением в сундуках-скрынях. Со второй половины XIX в.

<sup>29</sup> Николаева Т. А. Народные конструктивно-художественные приемы в традиционной и современной весенне-осенней верхней одежде украинцев//СЭ. 1984. № 3. С. 14—2

с появлением одежды из фабричного материала, под влиянием городской моды в качестве украшения используются и засторченные складки. Ими в соединении с нашивками и вышивкой украшаются юбки, фартуки.

Большое значение в украинском народном костюме XIX – начала XX в. придавалось различным видам *нашивных украшений*, которые наносились на уже сшитую одежду. Это художественные нашивки (аппликация), обшивки, ручной шов, позже – строчка и т. д. Характер и количество нашивных украшений зависели от вида одежды, назначения (повседневная, праздничная, обрядовая), возраста, семейного, имущественного, социального положения владельца. Выразительнее украшалась одежда девушек и молодых замужних женщин, с возрастом количество нашивных украшений уменьшалось. Украшения гармонично сочетались с фактурой, цветом и орнаментом ткани, которая служила фоном; они подчеркивали форму и пропорции одежды, выделяли ее отдельные детали или компоненты. Цвет нашивных украшений контрастировал с общим колоритом, делая его более живописным. Нашивные украшения часто были центром композиции. Объединяя компоненты одежды, входящие в комплекс, они создавали сложные, эстетически завершенные композиции, строго соответствующие местным художественным канонам.

Многовековой опыт, художественный вкус народных мастеров отражаются в подборе материала и технике выполнения нашивных украшений, их размещении, композиции, колористическом решении<sup>30</sup>. Для нашивных украшений использовались нитки, тесьма, кружево, шнуры, ленты, кожа, мех. Льняными, конопляными, шелковыми, хлопчатобумажными (*заполочь*) нитками вышивались, художественно обстрачивались различные компоненты одежды. Из шерстяных разноцветных ниток изготавливались мелкие и крупные кисти для украшения зимней и осенне-весенней одежды. Маленькие кисти украшали углы ластовиц под рукавами кожуха, с их помощью оформлялись *баевые юпки*, широко бытавшие в Поднепровье; кистями различной величины заканчивались сamodelные тканые пояса.

Разнообразная по качеству, ширине, форме, красочности тесьма (обшивка) использовалась для обработки краев нагрудной верхней или сшитой поясной одежды. Рядом с ней часто нашивалось несколько полос черного плиса или цветной ткани. Узкой яркой самодельной отделочной тесьмой, а позже фабричным вьюнчиком (*кіска, косник, сімка*) в виде сложной линейной или орнаментальной композиции украшали керсетки, юпки, кожухи Поднепровья, верхнюю одежду из сукна на Подолии, в Полесье. Шелковые разноцветные ленты нашивались широкими полосами в основном на сшитую поясную, реже – на нагрудную одежду. Самодельными шнурами обшивались и украшались края, швы, углы клиньев-вусов верхней одежды, западноукраинских безрукавок-кептарей; из них плели петли, пуговицы (рис. 5).

Широко использовались в качестве отделки и ткани (хлопчатобумажный бархат – плис, сатин, атлас). Ими украшалась одежда, сшитая из фабричных тканей. Дешевыми сортами кружев украшались в начале XX в. фартуки, сорочки-блузы.

Кожей (разноцветным сафьяном), сукном украшали зимнюю, реже – осенне-весеннюю одежду. Из кожи делали также петли и пуговицы. Разноцветная суконная отделка пришивалась в верхних углах клиньев в свитах-юпках, мантах и кожухах.

Наиболее законченные и сложные композиции нашивных украшений выполнялись техникой аппликации, вышивки, строчки. Аппликация чаще была в виде сложных композиционных орнаментальных построений (двухцветных или многоцветных) растительного орнамента, который размещался на верхней одежде вдоль правой полы, в нижнем ее углу, на груди, по подолу, на манжетах. Примером изысканности ком-

<sup>30</sup> Ніколаєва Т. О. Принципи художнього оформлення народного жіночого одягу Середньої Наддніпрянщини//НТЕ. 1972. № 2. С. 84.



Рис. 5. Композиция художественной отделки верхней одежды: а — нашивные украшения верхней одежды из домотканого сукна. Винницкая и Львовская обл. Конец XIX в.; б — украшения верхней одежды из фабричной ткани, отделка аппликацией «левадкой» (Варианты композиции), Полтавщина, конец XIX в.; в — украшения верхней одежды из фабричной ткани, отделка и обработка краев верхней одежды строчкой (Варианты композиции) Поднепровье, конец XIX в.

позиции, рисунка, отработанности техники исполнения могут служить однотонная аппликация из плиса на Полтавщине — так называемая *левадка* — и многоцветные аппликации из кожи и сукна в западных областях Украины.

Традиционной вышивкой украшали не только сорочки, но и некоторые виды нагрудной одежды (безрукавной и с рукавами), верхней и зимней. Среди зажиточного населения Киевщины были распространены

в

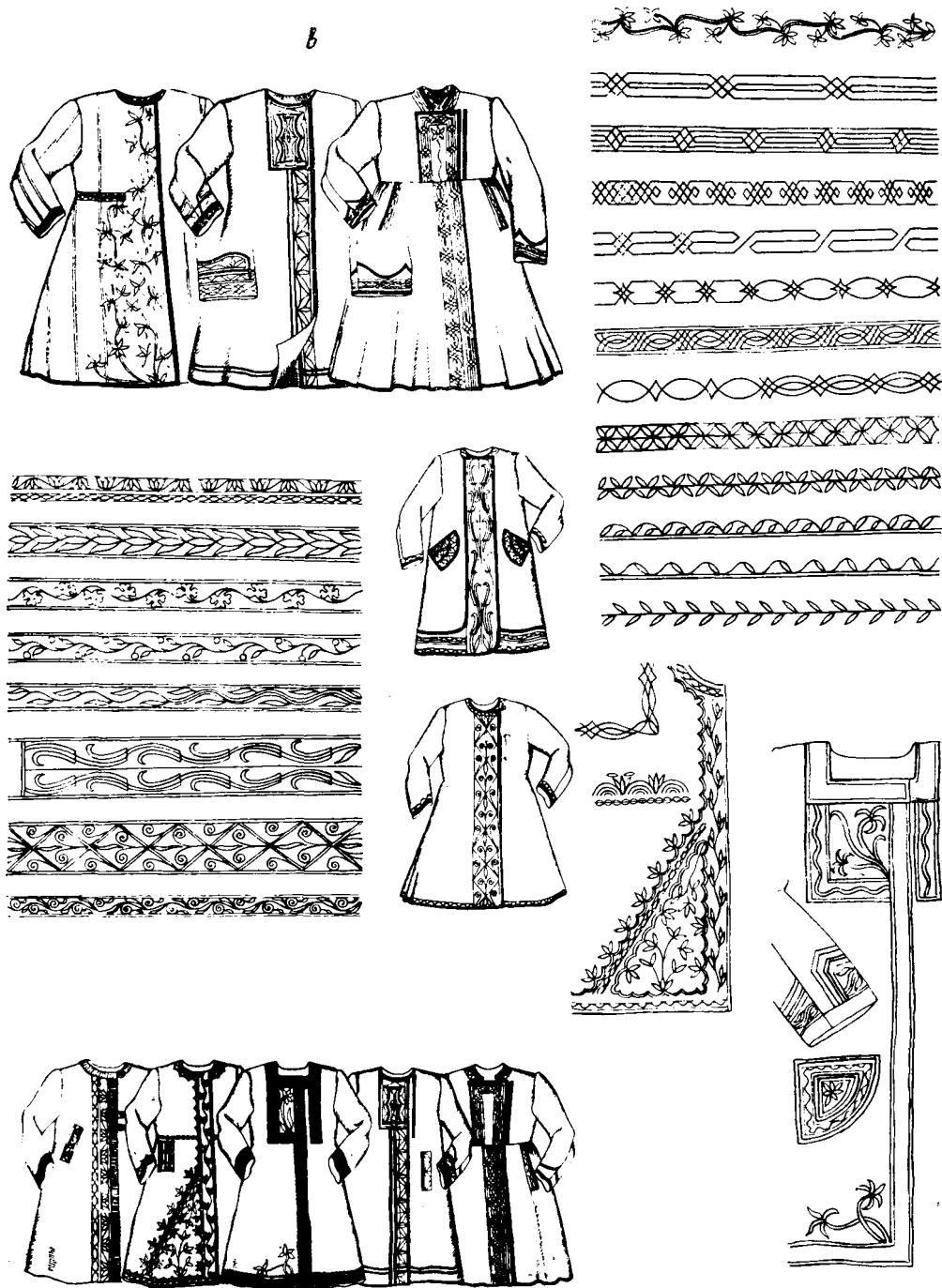


Рис. 5, в

керсетки, вышитые на спинке и правой поле с акцентом в нижнем углу (*нарижник*). По полкам и спинке вышивались свиты из домашнего сукна, позже — из фабричной ткани (*крама*), а также кожухи. Иногда на отдельном куске кожи выполняли узор ручной или машинной вышивкой и пришивали его на кожух, обшивая сафьяном. Техника вышивки (в основном гладь и контурный шов) зависела от формы рисунка (чаще это были многоцветные растительные мотивы).

Декоративный шов, а позже машинная строчка, появившаяся в конце XIX в., — вид отделки, выполнивший как технологическую, так и художественную функцию, пример рационального и одновременно

творческого подхода народных мастеров к завершающей отделке костюма. На территории Среднего Поднепровья с помощью машинной строчки обрабатывали края, карманы, манжеты верхней и нагрудной одежды из фабричных материалов. Для уплотнения фабричных материалов часто простегивали (дублировали) две ткани — верх и подкладку, добавляясь эффектной фактурной поверхности. В последнем случае строчка была одного цвета с тканью. Иногда строчкой выполнялась сложная полихромная орнаментальная композиция преимущественно растительного характера (особенно в центральных районах Киевщины). Машинная вышивка (тамбур, ажур) возрождала лучшие традиционные образцы народного орнамента<sup>31</sup>.

Эстетическую и утилитарную функции выполняла и *фурнитура*. Самодельные пуговицы, петли отличались художественной выразительностью и простотой. Плетенные из шнура, кожи, они гармонично вписывались в общую композицию одежды, а иногда были основным ее украшением (*круглі кохти* на Черкащине, черниговские кожухи и т. п.). В конце XIX в. самодельная фурнитура все чаще заменялась фабричной (пуговицы, крючки).

Таким образом, несмотря на появление в конце XIX — начале XX в новых материалов, технические усовершенствования и смену видов от делки, лучшие традиции художественной обработки деталей костюм продолжают развиваться, сохраняя при этом локальное многообразие и основной принцип народного моделирования — неразрывность технологических и художественных приемов.

На протяжении всей истории развития народной одежды наследовались и принципы *размещения украшений*. Некоторые специалисты считают, что украшения (съемные и нашивные) выполняли первоначальную не столько эстетическую, сколько магическую роль<sup>32</sup> (оберег от злых духов, болезней и т. д.), что продолжительное время отражалось и в народных поверьях. В определенной мере с магической функцией украшений связывают и их размещение. Так, высказывается гипотеза, что орнамент располагался на одежде там, где открывался доступ к телу — а именно внизу рукава (манжеты), на горловине или воротнике, подоле или полах одежды.

В древнеславянской одежде особое значение придавалось оформлению горловины в плечевой части (оплечье). Оплечье могло надеваться отдельно или пришиваться к одежде. Возможно, именно старинные шейные (съемные) украшения частично перешли со временем в вышивку на горловине, воротнике и в нагрудную вышивку сорочки, украшения запястьев — на вышивку низа рукавов, а со временем — и манжеты. Расположение вышивки на плечевой вставке и оплечье сорочки исследователи иногда связывают с эволюцией этого типа одежды, с тем периодом, когда на нижнюю сорочку с длинным рукавом надевалась другая — без рукавов или набрасывался плащ с орнаментированными краями, который застегивался на плечах фибулой<sup>33</sup>.

В конце XIX — начале XX в. принцип декорирования народного костюма при сохранении давних традиций сводился главным образом к решению практических и художественных задач<sup>34</sup>. Украшались наиболее открытые части костюма, с помощью декора достигалось композиционное равновесие всех компонентов костюма. Украшения размещались вдоль горловины, проймы, полок, рукавов, карманов разных видов нагрудной и верхней одежды; украшались края и не закрытые поясной одеждой швы сорочек. В нешитой поясной одежде также украшались края и нижняя часть; художественно выполнялся шов, соединявший две

<sup>31</sup> Колос С. Г. Традиції, стан і потреби художніх промислів України//НТЕ. 1957. № 4. С. 112.

<sup>32</sup> Громов Г. Г. Русская одежда//Очерки русской культуры XVI в. С. 204, 210, 214.

<sup>33</sup> См. фрески Киево-Софийского собора. Изображения членов семьи Ярослава Мудрого; Арицховский А. В. История культуры Древней Руси. С. 259.

<sup>34</sup> Шмелева М. Н., Тазихина Л. В. Указ. раб. С. 96.

части (грифка) плахты. На нагрудной и верхней одежде украшения размещались на талии, вдоль подрезных бочков и верхней полы, в нижней части рукавов, на воротнике.

Размещение декора на элементах украинской одежды, входящих в состав разных локальных комплексов конца XIX – начала XX в., имело как общие, так и специфические признаки. Так, в сорочках, бытовавших на Правобережье Днепра, орнамент украшал рукава, грудь, ворот, манжеты, подол; в сорочках, распространенных на Левобережье, орнамент заполнял рукава, украшал подол; на вороте, манжетах и груди декор отсутствовал. В Западном Полесье подол сорочек чаще не украшался. В Карпатах и на юге Подолии вышивка на сорочках располагалась не только на рукавах, груди, вороте, манжетах, подоле, но и на спине. Существовали различия и в локализации декора на поясной, нагрудной, верхней одежде. В праздничных запасках (*попередницях*) сельского населения Киевщины композиционный центр орнамента был в нижней части. В самой Подолии орнаментом заполнялась вся площадь запаски. Свои особенности в размещении рисунка, как и в его колорите, имели центрально-поднепровские плахты, гуцульские запаски, обгортки, опинки, дерги у жителей Карпат, Прикарпатья и Подолии. Ритмом и размещением орнамента различались украинские юбки (*андарак*, *літник*, *фартух*, *бурка*, *димка*).

Центр декора на безрукавках-керсетках Киевщины располагался с одной стороны – в нижнем правом углу (*наріжник*, *квітка*), на Полтавщине – вдоль всей полочки (*левадка*). Асимметрия расположения декора характерна и для верхней одежды сельского населения Поднепровья, особенно для кожухов. В западных областях Украины в верхней одежде и в безрукавках декор размещался симметрично на обеих полочках.

Таким образом, художественные особенности традиционной народной одежды органически связаны с процессом ее создания, начиная с определения функционального назначения, выбора материала, колористики, кроя, техники выполнения и кончая заключительной отделкой, а также способом ношения и объединения элементов в комплексы.

В заключение необходимо отметить, что художественные особенности традиционной, в данном случае украинской, одежды отличаются ярко выраженной этнолокальной спецификой, характерной не только для конкретных районов, но и для отдельных сел. Несмотря на вариативность, разнообразие приемов, все же выделяются локальные стереотипы художественно-этнического облика, которые согласуются и по другим этнографическим признакам, в частности по крою, терминологии и т. д. Проведенный анализ художественных особенностей народной одежды дает возможность поставить вопрос о картографировании изучаемых явлений, что позволит более активно привлекать народный костюм в качестве исторического источника.

## С. А. АЗИЗОВ

### К ВОПРОСУ О ДАГЕСТАНСКОЙ ТУХУМНОЙ ЭНДОГАМИИ

В основу данной статьи положены полевые материалы, собранные нами в 1986, 1987 гг. в селениях Ахтынского, Рутульского, Магарамкентского, Агульского, Хивского и Табасаранского районов Южного Дагестана, где проживают лезгины, рутулы, цахуры, агулы, табасараны и другие народы лезгинской группы языков кавказской семьи<sup>1</sup>. Кроме

<sup>1</sup> Материалы хранятся в архиве Ин-та этнографии АН СССР.

того, использованы литературные данные, в том числе записи обычного права и другие сведения по проблеме эндогамии дагестанского тухума, т. е. более или менее широкого круга родственников.

Проблема состоит в следующем. У всех народов Кавказа издавна существовала строжайшая патронимическая экзогамия, и нормы обычного права строго запрещали заключать браки между членами фамилий и внутрифамильных родственных объединений. У некоторых народов Кавказа, например у адыгских, браки запрещались также между жителями одного села. Исключение из этого правила — лишь азербайджанцы и народы Дагестана, в тухумах которых с древних времен господствовали эндогамные традиции (под последними в данном случае имеются в виду традиции преимущественного заключения брака внутри группы — эндогамия в широком смысле слова). И только в последнее время тухумная эндогамия у народов Дагестана стала исчезать либо исчезла. В связи со всем этим естествен ряд вопросов, частью уже ставившихся в литературе, частью же возникающих впервые. Обобщим те и другие

Сам факт эндогамности дагестанского тухума отмечался неоднократно. В научной литературе одним из первых это сделал М. М. Ковалевский. Он писал, что «обстоятельство, более других содействующее обособленности дагестанских родов, составляет полное господство в их среде эндогамии; этот факт заслуживает тем большего внимания, что ничего подобного мы не находим у соседних с Дагестаном горцев... Ни у кого, кроме жителей Дагестана, мы не находим предписания, что в брак можно вступить исключительно с женщинами собственного рода»<sup>2</sup>. Много десятилетий спустя М. О. Косвен по сути дела повторит то же, одновременно отметив, что феномен дагестанской эндогамии остается «в кавказоведении, как, впрочем, и вообще в этнографии, весьма скучно, недостаточно и неточно описанным»<sup>3</sup>.

С тех пор тухумная эндогамия в Дагестане неоднократно привлекала к себе внимание. Прежде всего встал вопрос о ее древности. Хотя, по-видимому, нет нужды в общем виде доказывать, что данный институт не изначален (ведь ни один народ мира не миновал в своем историческом развитии родовой экзогамии, как не миновал он родовой организации), представляют интерес специфические доказательства вторичности тухумной эндогамии в Дагестане. Л. И. Лавров подметил, что у народов Дагестана на свадьбе «тухум (фамилия), внутри которой заключается брак, временно делится на два лагеря. Один из них держит сторону жениха, а другой — невесты. На свадьбе между ними разыгрываются сцены, имитирующие борьбу чужих и даже враждебных друг другу людей. Такие обычаи достаточно хорошо известны при заключении экзогамных браков, и объясняются они пережитком реальной борьбы, в древности вспыхивавшей из-за женщин у чуждых друг другу коллективов. У народов же, которые придерживаются эндогамии, подобные обычаи объяснить невозможно, если не стать на точку зрения, что до эндогамии здесь господствовала экзогамия»<sup>4</sup>. К этому можно добавить и некоторые другие данные, как литературные, так и полевые.

Например, у лезгин с. Кара-кюре Ахтынского района в родственных объединениях (сихил) Югулар и Пугъуцар существовало обязательно четное число родственных групп (именуемых тухумами), в которых заключались браки строго между двумя определенными тухумами. При этом, в частности, в сихиле Югулар браки разрешались только между членами дальнородственных групп — яргъял и миресар<sup>5</sup>.

Нами также были зафиксированы в с. Куруш Ахтынского района патронимические организации типа сихил. Это сихилы Хайтакар, Къизирар, Хебешар, Чувалар, Ктар, Маралар, Айдынар и др., которые делились на более близкие родственные группы — «эсилы»; в рамках послед-

<sup>2</sup> Ковалевский М. М. Закон и обычай на Кавказе. М., 1890. Т. 2. С. 142.

<sup>3</sup> Косвен М. О. Этнография и история Кавказа. М., 1961. С. 25—26.

<sup>4</sup> Лавров Л. И. Историко-этнографические очерки Кавказа. Л., 1978. С. 31—32.

<sup>5</sup> Агаширинова С. С. Материальная культура лезгин XIX — начала XX века. М. 1978. С. 133.

них строго запрещалось заключать браки, их также было четное число. Как утверждают информаторы, прежде были эсилы, которые взаимно обменивались невестами<sup>6</sup>. В с. Зрых Ахтынского района насчитывалось семь больших сихилов (Панагъар, Эпелар, Усманар, Чепехъанар, Татарханар, Палдабашар, Эскерар) и 18 тухумов (Къаргъияр, Ахтармаяр, Ягъяяр, Ргалияр, Аштарар, Энжияр, Пашаяр, Урдуханар, Аспарар, Хаталар, Эпихъар, Чепехъанар, Татарханар, Палдабашар, Гъайдаарар, Эскерар, Демирчияр, Адияр). Старожилы рассказывают, что прежде почти в каждом сихиле были определенные тухумы, которые постоянно обменивались невестами, а внутри тухума браки вообще запрещались<sup>7</sup>.

Сходные сведения получены и от других информаторов.

Подобных примеров, свидетельствующих об изначальной экзогамности в наиболее близких родственных объединениях на территории Южного Дагестана, можно было бы привести немало. Касаясь этого вопроса, М. А. Агларов пишет, что «экзогамия у большинства народов исчезает вместе с родовым строем. Так оно, видимо, случилось и в Дагестане, где, как известно, нет экзогамии и браки внутри тухума (или патронимии, по М. О. Косвену) разрешены вплоть до кузенных, как это имеет место и у других народов Переднего Востока (особенно у мусульман)»<sup>8</sup>. Более определенно датирует время исчезновения экзогамии Л. И. Лавров, который, ссылаясь на средневековые источники, считал, что тухумная эндогамия существует в Дагестане и Азербайджане не менее тысячи лет<sup>9</sup>.

Следующий вопрос — о причинах того, почему у народов Дагестана (как и у некоторого, впрочем, ограниченного числа других народов мира) родственная экзогамия не просто прекратила свое существование, а сменилась родственной эндогамией. В нашей литературе этот вопрос рассматривался как на общеэтнографическом<sup>10</sup>, так и на собственно дагестанском<sup>11</sup> материале. Предложенные решения не противоречат одному другому и применительно к народам Дагестана выявляют главным образом экономические, но отчасти и идеологические мотивы. Обращалось внимание на следующее: во-первых, земельный надел, выделяемый дочери некоторыми народами Нагорного Дагестана, оставался в пределах своего тухума; во-вторых, особенно у народов Южного Дагестана, когда девушку выдавали замуж внутри тухума, размер калыма бывал меньше обычного; в-третьих, девушка из своего тухума, как считали в народе, более предана мужу, чем чужеродная; в-четвертых, были более затруднены разводы. У жителей табасаранского с. Хучни бытовала песенка, в которой говорится о том, как девушка просит двоюродного брата жениться на ней:

Амим оглу ал мени,  
Ал джибина сал мени,  
О джибинда йерлешмесем,  
Ал яйлыга сал мени. (азерб. яз.)

Двоюродный брат, возьми меня замуж,  
Возьми и положи меня в карман,  
Если не умешься в кармане,  
Оберни меня в алый платок.

Следует указать и на то, что при выдаче девушки замуж в пределах своего тухума ее родственники, как это было принято у табасаранов, де-

<sup>6</sup> Полевые материалы автора. 1986. Информатор Залов К. (92 года, с. Куруш Ахтынского р-на).

<sup>7</sup> Там же. Информатор Азизова К. (более 80 лет, с. Зрых Ахтынского р-на).

<sup>8</sup> Агларов М. А. Сельская община как эндогамный круг в Дагестане//Брак и свадебные обычаи у народов Дагестана в XIX — начале XX в. Махачкала, 1986, с. 5.

<sup>9</sup> Лавров Л. И. Указ. раб. С. 31.

<sup>10</sup> Ольдерогге Д. А. Из истории семьи и брака (Система лобола и различные формы кузенного брака в Южной Африке)//Сов. этнография (далее — СЭ). 1947. № 1; Першиц А. И. Из истории патриархальных форм брака (нахва — ортокузенный брак у арабов)//Краткие сообщения Ин-та этнографии АН СССР (далее — КСИЭ). Вып. 24. М., 1955.

<sup>11</sup> Никольская З. А. История семейно-брачных отношений аварцев XIX века//КСИЭ. Вып. 8. М., 1949; Гаджиева С. Ш. Кумыки. М., 1961. С. 268; Агаширинова С. С. Свадебные обряды лезгин XIX — начала XX в./Уч. зап. Ин-та истории, языка и литературы Даг. филиала АН СССР. Т. 12. Махачкала, 1964; Агларов М. А. Формы заключения брака и некоторые особенности свадебной обрядности андийцев в XIX веке//СЭ. 1964. № 6; Булатова А. Г. Лакцы. Махачкала, 1971; Лавров Л. И. Указ. раб. С. 31, и др.

лали ей дополнительные подарки (ковры, платки, шерстяные чулки и т. д.), которые они приносили ей в день свадьбы<sup>12</sup>. Отметим также, что у агулов, если девушка была очень хозяйственна, хорошо обученавязанию, ткачеству и т. д., умна, знала арабский язык, коран, то ее, как правило, отдавали замуж только за представителя своего тухума<sup>13</sup>.

Возможно, были и другие причины экономического и идеологического характера. Их еще предстоит выявить. Однако относительно предпочтительности браков внутри тухума в Дагестане в XVII—XIX вв. сомневаться не приходится, хотя в это время равно разрешались браки внутри сельской общины и между представителями разных тухумов. Нельзя согласиться с мнением М. А. Агларова и Б. Р. Рагимовой, которые в своих работах подвергают сомнению то, что у народов Дагестана, в том числе и у самурских лезгин в XIX в., предпочитались браки внутри тухума<sup>14</sup>.

В этом случае необходимо уточнить понятия обязательных и предпочтительных браков. В частности, у народов Южного Дагестана, где мы проводили исследования и собирали полевой материал в 1986 и 1987 гг., во всех селениях старожилы единодушно утверждали, что в прошлом однотухумные браки не предписывались, а предпочитались. Но и межтухумные одноаульные браки предпочитались по сравнению с межаульными. Последние в XIX в. заключались очень редко. К женщинам, привезенным из других сел, односельчане относились немного свысока, с насмешкой. Их никогда не называли собственным именем, а именем того села, откуда привезли. Даже дома мужья не называли их собственным именем, а обращались к ним: «Кира, Маки, Ичти» — и т. д., т. е. по имени того села, откуда они родом. Со временем они сами забывали собственное имя. Таким образом, можно сказать, что в XVII—XIX вв. у народов Южного Дагестана наряду с предпочтительной тухумной эндогамией существовала предпочтительная аульная эндогамия.

О наличии тухумной эндогамии свидетельствуют и литературный материал, и архивные источники данного периода. В памятнике обычного права Дагестана, записанном в 60 годах XIX в. в Табасарани говорится, что «степеней родства, когда прекращается принадлежность к тухуму, не имеется; родство поддерживается тем, что преимущественно они жениются на членах своего же тухума, поэтому связь родства в тухуме постоянно возобновляется. Женитьба из двух различных тухумов бывает только в исключительных случаях, когда нет соответственной пары в своем тухуме. В особенности обычай жениться на своих сохраняется в сильных тухумах»<sup>15</sup>.

Последнее замечание подтверждается также нашими полевыми материалами 1986 и 1987 гг. по цахурам, рутульцам, агулам, лезгинам и табасаранам. Традиции однотухумных браков больше придерживались многолюдные, состоятельные, влиятельные тухумы. Или же богатые тухумы отдавали своих девушек за представителей таких же богатых тухумов, юноши же из бедных тухумов женились на девушках из бедных тухумов.

Отметим еще одно любопытное явление, характерное для многих селений Южного Дагестана. Информаторы единодушно утверждали, что жители местных тухумов не выдавали своих девушек замуж за мужчин из пришлых тухумов и не брали замуж их девушек. Такая же была участь и так называемых рабских тухумов<sup>16</sup>. Поэтому пришлые в сель-

<sup>12</sup> Полевые материалы автора. 1987. Информатор Агабаев Г. (62 года, с. Ничрас Табасаранского р-на).

<sup>13</sup> Там же. Информатор Ахмедов А. (59 лет, с. Рича Агульского р-на).

<sup>14</sup> Агларов М. А. Сельская община... С. 9; Рагимова Б. Р. Общинное регулирование брачных норм у самурских лезгин//Брак и свадебные обычаи у народов Дагестана в XVII — начале XX в. С. 120.

<sup>15</sup> Поручик Сотников. Сведения о Табасарани//Памятники обычного права Дагестана XVII—XIX вв. М., 1965. С. 47.

<sup>16</sup> Полевые материалы автора 1986—1987 гг. Села Мишлеш, Гельмец, Калял и др. Рутульского р-на; села Смугул, Хнов, Фий, Мискинджа и др. Ахтынского р-на; села Буркихан, Чираг, Тпиг Агульского р-на.

ской общине тухумы в большей степени сохраняли эндогамность, нежели местные тухумы, сихилы, ахалы и другие кровнородственные объединения. Очевидно, что в этих случаях при заключении браков важную роль играли экономические, сословные, психологические факторы. Это было связано прежде всего с тем, что в XVIII—XIX вв. классовая дифференциация сельских обществ Южного Дагестана достаточно усилилась и происходило быстрое обособление феодализирующейся верхушки в связи с процессами перехода общинных земель в частную собственность, проникновением товарно-денежных отношений, усилением концентрации поголовья овец в руках общинной верхушки и т. д.

Таким образом, судя как по литературным, так и по полевым материалам 1986—1987 гг., собранным на территории Южного Дагестана, до XX в. тухум здесь оставался преимущественно эндогамным и преимущественно эндогамной была также сельская община. Эта тухумная и общинная эндогамия у лезгин, рутульцев, агулов, цахуров и табасаран продолжала существовать вплоть до начала XX в. В дальнейшем можно говорить о процессе уменьшения тухумной эндогамии за счет усиления эндогамии общины.

Наименее исследован и, пожалуй, наиболее интересен последний вопрос — о судьбах тухумной эндогамии в советское время. Полевые материалы свидетельствуют, что после Великой Октябрьской социалистической революции в результате всесторонних изменений в жизни народов Дагестана тухумная эндогамия стала постепенно исчезать, переходя в тухумную экзогамию. Этот процесс стал особенно заметен в послевоенные десятилетия.

Причины исчезновения тухумной эндогамии представляются ясными. Рост материального благосостояния и культурного уровня народов Дагестана, существенное изменение положения женщины в обществе и семье, начавшийся отход от прежнего межполового разделения труда, демократизация структуры семьи в целом и т. п.— все это остановило действие тех причин, которые вызвали к жизни тухумную эндогамию. В настоящее время ни в одном из обследованных нами селений Южного Дагестана почти не встречается браков, заключенных внутри тухума. За последние 5—8 лет зафиксировано лишь два-три брака на двоюродных или троюродных сестрах, а в некоторых селениях, как Койсун, Горах, Магарамкент, Зрых, Хлют, Рутул, Смугул, Буркихан, Тпиг и др., за последние 5 лет не было ни одного случая внутритухумных браков<sup>17</sup>. Женятся и выходят замуж юноши и девушки в основном в пределах одного селения. Но частыми стали также случаи выхода девушек замуж за юношей из соседних сел, соседних районов, а в отдельных случаях даже за представителей других национальностей.

Этот процесс в современных условиях естествен и этнографически понятен. Менее понятно другое: почему отход от родственной эндогамии повел у народов Дагестана не к характерной для населения современных развитых стран относительной гетерогамии, а к возрождению другой архаической формы — родственной, тухумной экзогамии или по крайней мере тенденции к такой экзогамии?

Когда спрашиваешь у местных жителей, чем можно объяснить такую тенденцию, и сами брачующиеся, и их родители ссылаются на нежелательность и предосудительность близкородственных браков. Говорят о том, что двоюродные и троюродные братья или сестры почитаются у народов Дагестана как родные, о том, что от родственных браков могут родиться неполноценные дети и т. п. Словом, информаторы высказываются таким образом, как будто бы в самом недалеком прошлом народов Дагестана не существовало прочной традиции тухумной эндогамии.

<sup>17</sup> Полевые материалы автора 1986—1987. Села Мишлеш, Гельмец, Калял Рутульского р-на; села Ахты, Хнов, Фий, Мискинджа Ахтынского р-на; села Койсун, Магарамкент, Гильяр, Гарах и др. Магарамкентского р-на; села Буркихан, Тпиг и др. Агульского р-на.

По-видимому, уверенно говорить о замещении тухумной эндогамии тухумной же экзогамией еще рано, так как не исключено, что наметившаяся тенденция останется нереализованной. В такой же степени еще требуется дальнейшее углубленное исследование того, почему тухумная эндогамия стала уступать место не гетерогамии, а экзогамии. Пока же в самой предварительной форме выскажем лишь некоторые предположения о причинах наблюдаемого процесса.

С ростом материального благосостояния у народов Дагестана не только отпала необходимость в «льготных» внутритухумных браках. Как и у большинства других народов страны, создалось известное опережение материальным достатком культурного уровня, дававшее условия для тяги к различным, и прежде всего свадебным престижным тратам и поступлениям<sup>18</sup>. Но если тратиться на родственников, одаривать их – в традициях народов Дагестана, то получение с них свадебных платежей идет вразрез с традициями. Это противоречие снимается перородственными, вне тухумными браками. В том же направлении действует еще один фактор. С исчезновением былой изолированности и замкнутости народов Дагестана, с расширением контактов между ними и другими народами Кавказа не могло не сыграть своей роли влияние на дагестанские брачные порядки почти общекавказской родственной экзогамии.

<sup>18</sup> Подробнее см. Смирнова Я. С. Свадебный дарообмен у народов Северного Кавказа и его современная модификация//СЭ. 1980. № 1.

## **X. Рахматиллаев**

### **ИЗМЕНЕНИЯ В ЭТНИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДОВ УЗБЕКСКОЙ ЧАСТИ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ ЗА ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ**

Как известно, городское население по своей этнической структуре в подавляющем большинстве случаев бывает более сложным, чем население сельское.

Города узбекской части Ферганской долины не являются в этом плане исключением. Их этнический состав существенно отличается от этнического состава сельских районов, в связи с чем изучение этноструктуры городского населения может иметь самостоятельное значение. Целью настоящей статьи является анализ изменений этнического состава городского населения Ферганской долины за годы советской власти. Как мы увидим, изменения были весьма значительны.

Анализ этот несколько затрудняется тем, что городское население меняется не только в результате естественного прироста самих горожан и переселения в города жителей из других городских населенных пунктов и сельских районов, но также вследствие расширения границ городов за счет прилегающих сельских районов и преобразования некоторых крупных сел в города. Поэтому при сравнении данных об этническом составе городского населения за несколько лет следует всегда помнить, что это сравнение в определенной степени условно, так как сравнивается трудносопоставимый материал: в разные годы число городов было различным, да и границы городских территорий заметно различались.

Прежде чем перейти к анализу динамики этноструктуры городского населения узбекской части Ферганской долины, рассмотрим вкратце, как менялся в исследуемый период сам перечень населенных пунктов, имевших статус города, и как росла численность городского населения.

Первые городские поселения возникли в этом районе очень рано. Еще в кушанскую эпоху был известен город Касан (он находился по-

близости от современного Касансая). Становление большинства местных крупных городских центров связано с так называемым «шелковым путем», который пролегал через Ферганскую долину. Из городов нашего времени Маргилан (Маргинан) существует по меньшей мере с VIII в.<sup>1</sup>, Андижан (Андукан) — с IX в.<sup>2</sup> и Коканд — с X в.<sup>3</sup>. Примерно в этот же период возникли города Риштан и Кува. Позже, в XV в., был основан Наманган<sup>4</sup>. Как видим, все эти города появились задолго до того, как этот край вошел в состав Российской Империи. После присоединения Кокандского ханства (куда входила Ферганская долина) к Российской Империи Фергана становится основным внутренним поставщиком хлопка для российского рынка<sup>5</sup>. В регионе развиваются капиталистические отношения, усиливаются его экономические связи с другими областями страны. Все это способствует росту городского населения Ферганской долины. Вскоре после присоединения к Российской Империи, в 1877 г., был заложен город Новый Маргелан (позже Скобелев, ныне Фергана)<sup>6</sup>. Когда в 1897 г. в Российской Империи была проведена первая всеобщая перепись, то статус городов имели Маргелан<sup>7</sup>, Андижан, Коканд, Наманган, Новый Маргелан, а также небольшой городок Чуст<sup>8</sup>.

После Октябрьской социалистической революции по всей стране начался процесс преобразования крупных сельских поселений в города. В целом он отражал быстрое экономическое развитие страны, хотя порой решения о преобразовании сел в города были поспешными и недостаточно оправданными. Особенно такое «забегание вперед» было характерно для отдельных районов страны в первые послереволюционные годы. К переписи 1926 г. число городов в узбекской части Ферганской долины возросло по сравнению с 1897 г. и достигло 9. К 6 упомянутым выше городам добавились такие как Ассаке, Шахрихан, Касансай<sup>9</sup>. Однако многие из этих населенных пунктов были объявлены городами без должных оснований. По роду занятий жителей и своему облику они оставались типичными селами и поэтому через некоторое время были лишены городского статуса.

Вследствие этого при проведении переписи 1959 г. в узбекской части Ферганской долины было зафиксировано лишь 7 городов: Фергана, Маргилан, Коканд, Андижан, Наманган, Ленинск (получил статус города в 1938 г.) и Кувасай (был преобразован в город в 1954 г.). Кроме этого, насчитывалось еще 17 поселков городского типа: Шорсу, Кирово, Риштан, Хамза, Чимион, Комсомольский (около станции Горчаково, подчинен Маргиланскому горсовету), Яйлан в Ферганской области, Палванташ, Шахрихан, Южный Аламышик, Андижан, ст. Андижан II, Ханабад в Андижанской обл., Касансай, Чуст, Уйгурсай, Черкесар в Наманганскои обл.

В 1969 г. городами были объявлены Чуст и Учкурган<sup>10</sup> (как мы отмечали, первый из них имел статус города еще до революции, но затем его потерял), в результате чего ко времени переписи 1970 г. в регионе стало 9 городов. С 1959 по 1970 г. к ним добавилось 5 новых поселков городского типа: Кува в Ферганской обл., Советабад и Кургантепа в Андижанской обл., Алтынкан и Халкабад в Наманганскои обл.

Резкое увеличение числа поселений с городским статусом произошло в 70-е годы, когда его получили 13 населенных пунктов: Шахрихан

<sup>1</sup> Смирнов Н. В. Города Ферганской долины. Ташкент, 1957. С. 69.

<sup>2</sup> Там же. С. 110.

<sup>3</sup> Там же. С. 89.

<sup>4</sup> Там же. С. 133.

<sup>5</sup> Акрамов З. М. Жемчужина Средней Азии. М., 1960. С. 18.

<sup>6</sup> Рахимов М. История Ферганы. Ташкент, 1984. С. 4—6, 41.

<sup>7</sup> В те годы русская транскрипция названия этого города несколько отличалась от современной — Маргилан.

<sup>8</sup> Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Т. 89. СПб., 1904. С. 60, 61.

<sup>9</sup> Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. XV. М., 1928. Табл. X. С. 144, 148.

<sup>10</sup> Административно-территориальное деление союзных республик. М., 1971. С. 365,

(в 1970 г. восстановлен в правах города), Советабад (1972 г.), Касанай (1973 г.), Кува, Хамза, Хаккулабад (1974 г.; первая, как мы знаем, уже имела прежде статус города), Яйпан, Пахтаабад, Мархамат, Ахунбаев (1975 г.), Кургантепа, Чорток (1976 г.) и Риштан (в 1977 г. вновь был объявлен городом)<sup>11</sup>. Таким образом, к моменту проведения переписи 1979 г. насчитывалось 22 города. Кроме того, 7 населенных пунктов стали в период между переписями 1970 и 1979 гг. поселками городского типа: Янгиурган, Язъяван и Ташлак в Ферганской обл., Куйтагер в Андижанской обл., Акташ, Джумашуй и Новбахар в Наманганской обл. В отличие от резкого увеличения числа городов в первые послереволюционные годы, когда городской статус порой не подкреплялся экономическим значением населенного пункта, рост числа городов в 70-е годы отражал реальные экономические процессы в регионе.

Как уже отмечалось, все крупнейшие города узбекской части Ферганской долины (кроме Нового Маргелана — Скобелева — Ферганы) возникли много столетий назад. Небольшие же города сформировались из разросшихся сельских населенных пунктов за годы советской власти (некоторое исключение из этого правила составляет, как уже говорилось, лишь Чуст, который формально считался городом еще до революции). В отличие от некоторых других регионов Советского Союза в Ферганской долине совершенно новых городов («на пустом месте») создано не было. Последнее, по-видимому, связано с тем, что этот регион остался по преимуществу сельскохозяйственным (хотя, конечно, и получило определенное индустриальное развитие).

Как и города других регионов страны, городские поселения узбекской части Ферганской долины заметно различаются по своим функциям. Среди них имеются административные центры: областные (Фергана, Андижан и Наманган) и районные, культурные центры, промышленные, торговые и транспортные узлы, центры организации сельскохозяйственного производства и т. д. Некоторые города, прежде всего крупные, выполняют сразу несколько функций, из которых иногда бывает трудно выделить главную.

Из всех перечисленных функций городов наибольшее влияние на рост численности городского населения оказывали экономические. Особенно стимулировало приток в города окружающего сельского населения создание в них крупных промышленных предприятий. Промышленное строительство за годы советской власти приобрело в Ферганской долине широкие масштабы. Наряду с традиционными отраслями промышленности — легкой и пищевой — стали развиваться машиностроение, химическая промышленность, энергетика, горная промышленность. Одновременно с организацией новых предприятий расширялись и переоборудовались старые промышленные предприятия.

Несколько меньшее значение для роста городов имеют их торгово-транспортные функции, однако некоторые небольшие города и поселки городского типа в Ферганской долине развиваются в первую очередь именно как торгово-транспортные центры. Широкие транспортные функции выполняет и такой крупный город, как Коканд<sup>12</sup>.

Определенную лепту в увеличение численности горожан внесло и культурное строительство. За последние десятилетия в Ферганской долине созданы восемь вузов, значительное число техникумов. Эти учебные заведения, где преподавание ведется как на узбекском, так и на русском языке, неизменно привлекают большое число молодежи, что также способствует росту городского населения. Объектами притяжения населения являются и некоторые другие городские учреждения культуры.

В результате всего этого численность населения городов в узбекской части Ферганской долины росла довольно быстро.

<sup>11</sup> Административно-территориальное деление союзных республик. М., 1983. С. 371 372, 381, 382, 393, 394.

<sup>12</sup> Акрамов З. М. Ферганская долина. Ташкент, 1957. С. 81.

Если по данным переписи 1897 г. население 6 имевшихся тогда городов составляло 250 тыс. чел.<sup>13</sup> (по приблизительной оценке, около 20% всего населения региона), то в 1926 г. в 13 городах жили 341 тыс. чел. (23,2%)<sup>14</sup>, в 1959 г. в 7 городах и 17 поселках городского типа — 630 тыс. (27,4%)<sup>15</sup>, в 1970 г. в 9 городах и 20 поселках городского типа — 938 тыс. (29,0%)<sup>16</sup>, в 1979 г. в 22 городах и 18 поселках городского типа — 1330 тыс. (32,1% всего населения)<sup>17</sup>.

Таким образом, в 1897—1926 гг. среднегодовой прирост городского населения составил 1,3%, в 1926—1959 гг.— 2,6, в 1959—1970 гг.— 4,4 и в 1970—1979 гг.— 4,6%. Следовательно, темпы роста городского населения неуклонно нарастают.

Сравним среднегодовой прирост городского населения в последние два указанных периода со среднегодовым приростом всего населения узбекской части Ферганской долины. Последний составил в 1959—1970 гг. 3,7 и в 1970—1979 гг.— 3,1%, т. е. городское население растет с большей скоростью, чем все население долины.

Население 5 крупнейших городов региона росло разными темпами. За 82 года между первой и последней переписями население Ферганы выросло более чем в 13 раз, население Андижана — в 4, Наманганда и Маргилана — в 3, Коканда — в 1,8 раза.

Рассмотрим, как изменялась в XX в. этническая структура городского населения.

В 1897 г. из общей численности городского населения 250 тыс. чел. 213 тыс. составляли узбеки (вместе с сартами и кипчаками), 16 тыс.—таджики, 7 тыс.— русские, 1,4 тыс.— украинцы, 1,3 тыс.— евреи (в основном бухарские), 672 — татары, 267 — киргизы, 139 — уйгуры (кашгарцы), 314 — немцы и 94 — армяне. Таким образом, подавляющее большинство населения узбекской части Ферганской долины составляли узбеки (84,7%), им сильно уступали таджики (6,5%) и русские (2,7%), все остальные национальности — составляли лишь десятые или даже сотые доли процента населения<sup>18</sup>.

Самым пестрым в этническом отношении был построенный после присоединения к России город Новый Маргелан (нынешняя Фергана). Наиболее крупной группой населения в нем в 1897 г. были русские (42,9%), затем следовали узбеки (29,2%), значительными группами были представлены украинцы и поляки (каждая — 8,1%), жили в городе также таджики (2,6%), евреи (2,0%), почти исключительно бухарские, немцы (1,7%), татары (1,6%), киргизы (0,9%), армяне (0,5%), китайцы (0,3%), уйгуры (0,2%) и др.

В противоположность Новому Маргелану в городах Маргелан, Андижан, Коканд и Наманган узбеки составляли подавляющее большинство населения. Первые два из них были почти исключительно узбекскими городами (в Маргелане узбеков — 97,6% населения, в Андижане — 96,5%). В Маргелане помимо узбеков жила небольшая группа евреев (1,7%), в Андижане — маленькие группы русских (1,5%), украинцев и поляков (по 0,4%). В Коканде и Намангане узбеки также резко преобладали (соответственно 92,9 и 85,2% жителей), однако неузбекское население было здесь несколько более значительным. В Коканде жили также таджики (3,3%), русские (1,5%), украинцы (0,3%), евреи (0,3%), цыгане (0,5%), татары (0,2%); в Намангане — так называемое тюрко-татарское население (11,7%), русские (1,3%), таджики (1,1%), татары, украинцы и поляки (по 0,3%).

<sup>13</sup> Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Т. 89. С. 1.

<sup>14</sup> Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. XV. Табл. IV. С. 6; Табл. V. С. 7.

<sup>15</sup> Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. Узбекская ССР. М., 1962. Табл. 1. С. 11; Табл. 4. С. 12.

<sup>16</sup> Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. Т. I. М., 1972. Табл. 2. С. 18; Табл. 5. С. 116, 118, 120.

<sup>17</sup> Численность и состав населения СССР. По данным Всесоюзной переписи населения 1979 г. М., 1984. С. 13.

<sup>18</sup> В переписи 1897 г. население определялось не по национальной принадлежности, а по родному языку.

Совершенно иную этническую структуру населения имел небольшой городок Чуст, расположенный к западу от Намангана. По составу телей это был типичный таджикский город: таджики составляли 92,1% его населения, узбеки — только 4,5%.

Таким образом, в 1897 г. в той части Ферганской долины, которая входит в Узбекскую ССР, в 4 из 6 городов подавляющим большинством населения были узбеки, в одном — таджики, а в одном недавно основанном городе было много как русских, так и узбеков.

К 1926 г. этническая структура городского населения узбекской части Ферганской долины существенно изменилась. При общей численности населения городов этого региона 341 тыс. чел. узбеков насчитывалось 236 тыс. (69,1%), таджиков — 39 тыс. (11,3%), русских — 38 тыс. (11,1%), евреев — 9 тыс. (2,5%), татар и армян — по 4 тыс. (2,4%), украинцев — 3 тыс. (0,9%), уйгуров — 2 тыс. (0,6%), немцев — 526, киргизов — 252 и т. д.<sup>19</sup>

Если резкое увеличение числа русских, украинцев, татар и армян можно легко объяснить миграционным перемещением, связанным с начавшимся уже в 20-х годах хозяйственным и культурным строительством, то более тонкого анализа требуют существенное снижение процента узбеков (с 84,7 до 69,1), удвоение доли таджиков (с 6,5 до 11,3%), многократное увеличение числа евреев.

Следует прежде всего напомнить, что в переписи 1897 г. наряду с узбеками учитывались сарты, которых мы с некоторой долей условности объединили с узбеками. Как известно, сарты представляли собой группу с недостаточно четким этническим самосознанием, среди них наряду с лицами, близкими к узбекам, могли быть и лица таджикского происхождения, которые после того, как в Средней Азии было проведено национальное размежевание, могли определить себя как таджики. Возможно, этот процесс более четкого этнического самоопределения привел также к выделению уйгуров из общей массы тюрок, точнее той их части, которая в 1897 г. не указала себя в качестве отдельного этноса (до революции этнонима «уйгуры» не существовало, вместо него использовался термин «кашгарцы», и именно эта группа названа нами при анализе данных переписи 1897 г. уйгурами). Кстати, не исключено что более четким этническим самоопределением тюркских групп послестроительства советской власти обусловлено и большое увеличение численности татар.

Что же касается многократного увеличения численности евреев, согласно данным переписи 1926 г., по сравнению с переписными данными 1897 г., то оно, по-видимому, также не отражает истинной динамики численности этой этнической группы и, как можно предположить, вызвано следующей основной причиной. Определение в 1897 г. языкового а не национального состава населения, вероятно, обусловило то, что часть евреев во время переписи из-за не вполне ясной формулировки вопроса о языке указало в переписных анкетах таджикский язык, а не свой бухарско-еврейский диалект этого языка.

В 1926 г. произошли существенные изменения и в этнической структуре населения отдельных городов Ферганской долины. Прежде всего удельный вес узбеков в населении г. Ферганы (как стал теперь называться Новый Маргелан) уменьшился с 29,2 до 21,1%, а русских увеличился с 42,9 до 55,6%. Еще более резкое снижение доли узбеков и повышение доли русских произошло в Коканде (соответственно с 92,1 до 62,2% и с 1,5 до 23,1%). Ту же тенденцию можно было наблюдать в Андижане (соответственно с 96,5 до 75,4% и с 1,5 до 12,0%). Можно предположить, что повышение в большинстве городов Ферганской долины процента русского населения началось еще до революции (туда ехали чиновники, специалисты, рабочие) и в послереволюционные годы лишь усилилось.

<sup>19</sup> Всесоюзная перепись населения 1926 года. Т. XV. Табл. X. С. 144—149.

В Намангане удельный вес русских также увеличился (с 1,3 до 5,2%), но одновременно выросла и доля узбеков (с 85,2 до 91,1%). Это было, очевидно, связано с тем, что в их состав вошла часть лиц, отнесенных в 1897 г. к неопределенной по этническому самосознанию «турко-татарской группе».

Из других этнических групп в Фергане, Коканде, Андижане и Намангане увеличилась доля татар (в Фергане — с 1,6 до 5,1%, Коканде — с 0,2 до 1,9%, Андижане — с 0,3 до 2,0%, Намангане — с 0,3 до 0,7%).

Удельный вес таджиков заметно уменьшился (вероятно, за счет ассимиляции их узбеками) в Фергане, Коканде и Намангане (соответственно с 2,6 до 0,9%, с 3,3 до 0,7% и с 1,1 до 0,2%) и, наоборот, несколько увеличился в Андижане и Маргелане (соответственно с 0,1 до 0,4% и с 0,0 до 0,1%). Чуть по-прежнему сохранил свой таджикский характер (доля в его населении таджиков за этот период даже увеличилась с 92,2 до 95,4%).

Доля украинцев в населении всех городов, кроме Ферганы, повысилась. Уменьшение удельного веса украинцев в Фергане (с 8,1 до 4,6%) было, очевидно, вызвано их частичной ассимиляцией русским большинством.

Составлявшие заметную группу в Фергане (Новом Маргелане) немцы более чем в 2 раза снизили свою долю в общем населении города (с 1,7 до 0,7%), а армяне, наоборот, увеличили (с 0,5 до 2,7%).

Во всех городах узбекской части Ферганской долины существенно возросла численность евреев.

Как отмечалось выше, некоторые населенные пункты рассматриваемого региона получили в 1926 г. статус городов. Большинство из них имело преимущественно узбекское население, а Риштан и Касансай — таджикское.

По данным переписи 1959 г., за треть века, со времени переписи 1926 г., вновь произошли заметные изменения в этническом составе городов исследуемого района. Среди 630 тыс. чел. городского населения узбекской части Ферганской долины было 326 тыс. узбеков (51,7%), 145 тыс. русских (22,9%), 65 тыс. татар (10,3%), 33 тыс. таджиков (5,1%), 11 тыс. украинцев (1,7%), 5 тыс. армян (0,8%), 3 тыс. немцев (0,4%), 2 тыс. евреев (0,3%), по 1,5 тыс. киргизов и уйгуров (0,4%)<sup>20</sup>.

Приведенные цифры показывают, что в этот период продолжалась наметившаяся еще до революции тенденция некоторого снижения доли узбеков (с 69,1 до 51,7%) и повышения доли русских (с 11,1 до 22,9%). Тенденция эта, как и прежде, была связана с въездом в Ферганскую долину значительных групп русских для работы на промышленных и прочих объектах. В Ферганской долине остались и отдельные группы эвакуированного во время войны населения.

Новым моментом в динамике этнической ситуации было сильное сокращение (как абсолютное, так и особенно относительное) числа таджиков (с 39 тыс. до 33 тыс., или с 11,3% городского населения до 5,1%), что было обусловлено происходившими в те годы в районах совместного узбекско-таджикского проживания ассимиляционными процессами, а также значительным притоком узбеков в некоторые города республики.

Еще одной «неожиданностью» было резкое увеличение в межпереписной период числа татар (с 4 тыс. до 65, или с 1,2% до 10%). В основном это объясняется переселением в 1944 г. крымских татар, не выделенных особо переписью 1959 г.

Доля украинцев в период 1926—1959 гг. повысилась вдвое (с 0,9 до 1,7%), армян, наоборот, несколько снизилась (с 1,2 до 0,8%).

Довольно сильно как абсолютно, так и относительно уменьшилась численность евреев (с 8,5 тыс. до 2,3 тыс., или с 2,5 до 0,3%), что, вероятно, вызвано их миграцией в другие города Узбекистана, и прежде всего в Ташкент, а частично и выездом в другие республики.

<sup>20</sup> Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. Узбекская ССР. Табл. 54. С. 148, 150.

Выросла численность немцев, переселенных в 1941 г. из западных районов страны, и киргизов, и уменьшилось число уйгуров.

Отмеченные особенности динамики этнической структуры населения по отдельным городам долины заметно варьировали. Так, доля узбеков особенно сильно снизилась в Маргилане (с 96,9 до 70,1%), Намангане (с 91,1 до 74,4%), Андижане (с 75,4 до 58,9%), поселке городского типа Шахрихане (с 91,8 до 58,1%), несколько менее в Коканде (с 62,1 до 50,8%) и Ленинске (с 62,2 до 57,8%) и почти не изменилась в Фергане (с 21,1 до 18,5%). В целом можно заметить, что наибольшее снижение удельного веса узбеков произошло в населении именно тех городов, где их доля прежде была особенно высока. Интересно также отметить, что в тех городских поселениях, где узбеки составляли незначительное меньшинство, их доля в населении несколько возросла (в Риштане — с 3,1 до 13,7%, в Касансае — с 4,5 до 5,1, в Чусте — с 4 до 11,1%).

Динамика численности русских испытала сходные по своему характеру колебания. В Фергане, где русские составляли абсолютное большинство, их доля несколько уменьшилась (с 55,6 до 50,7%), во всех же других городах и поселках городского типа возросла, причем в некоторых городских поселениях весьма сильно. Например, в Маргилане процент русских поднялся с 0,4 до 10,7, в Риштане — с 0,5 до 9,2, в Шахрихане — с 1,2 до 8,9 и т. д.

Доля таджиков тоже резко упала в тех городских поселениях, где они составляли большинство населения, что обусловлено переселением туда большого числа узбеков. Так, в Риштане доля таджиков в населении города уменьшилась на  $\frac{1}{3}$  — с 95,4 до 75,8%, в Касансае — с 94, до 83,6%.

Процент татар вырос во всех городских поселениях. Наиболее стремительный рост татар наблюдался в поселке городского типа Шахрихане, где их доля увеличилась за треть века с 0,2 до 25,3% и где они (вместе с крымскими татарами) составили вторую по численности этническую группу. Большую группу образовали татары и в поселке городского типа Хамза Ферганской обл. (22,6%), который во время переписи 1926 г. считался сельской местностью.

В этом поселке появилась еще одна этническая группа, которой прежде в Средней Азии не было. Речь идет о корейцах, переселенных в 1937 г. с Дальнего Востока. В Хамзе корейцы составили 4,7% населения, в поселке Шахрихан — 3,3%.

В 3 раза увеличилась за период с 1926 по 1959 г. доля немцев в Фергане (с 0,7 до 2,1%).

В Коканде и Андижане образовались заметные группы армян (соответственно 2,0 и 1,3% населения).

Существенные сдвиги в этническом составе населения городов узбекской части Ферганской долины произошли и в период между переписями 1959 и 1970 гг. В 1970 г., по данным переписи, 938 тыс. чел., живших в городах и городских поселках, делились в этническом отношении на следующие группы: узбеки — 537 тыс. (57,2%), русские — 185 тыс. (19,7%), татары (вместе с крымскими) — 86 тыс. (9,1%), таджики — 52 тыс. (5,4%), евреи — 15 тыс. (1,5%), украинцы — 12 тыс. (1,2%), армяне — 6 тыс. (0,6%), азербайджанцы — 5 тыс. (0,5%), немцы — 5 тыс. (0,5%), киргизы — около 5 тыс. (0,4%)<sup>21</sup>.

Если сравнить эти цифры с данными более ранних переписей, то прежде всего бросится в глаза то, что ранее существовавшая тенденция постепенного снижения удельного веса узбеков в городском населении и повышения доли русских более уже не наблюдается. Наоборот, процент узбеков начал увеличиваться, а русских — уменьшаться. За 1959–1970 гг. доля узбеков возросла с 51,7 до 57,2%, а русских — снизилась с 22,9 до 19,7%, (хотя абсолютный прирост русского населения бы-

<sup>21</sup> Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. Т. IV. М., 1973. Табл. 12. С. 21214, 220.

довольно значительным — с 145 тыс. до 185 тыс.). Увеличение это (2,5% в год) было, конечно, обусловлено не только естественным приростом (который вряд ли в этот период превышал у русских 1% в год), но и въездом значительного числа русских из других районов страны. Таким образом, снижение доли русского населения и увеличение доли узбеков можно объяснить в первую очередь очень высоким естественным приростом, характерным для узбеков, и миграцией из сел в города.

В отличие от предыдущего периода доля татар за эти годы несколько уменьшилась (с 10,3 до 9,1%), а доля таджиков чуть увеличилась (с 5,1 до 5,4%).

Последний факт весьма примечателен. Он говорит о том, что ассимиляция таджиков узбеками не шла в этот период достаточно интенсивно, хотя в городах Ферганской долины заключалось довольно много смешанных узбекско-таджикских браков. Какую-то роль в сложившейся ситуации мог сыграть и тот факт, что естественный прирост среди таджиков — самый высокий в стране: он даже несколько выше естественного прироста у узбеков.

Из других изменений в этнической структуре городского населения Ферганской долины Узбекистана за данный период следует отметить некоторое уменьшение доли украинцев (с 1,7 до 1,2%), вероятно, за счет ассимиляции их русскими, существенное увеличение доли евреев (с 0,3 до 1,5%), наконец, появление заметной группы азербайджанцев (0,5% населения), приехавших сюда в основном для работы на промышленных объектах.

По отдельным городским населенным пунктам изменения в этноструктуре существенно не отличались от выявленных общих тенденций.

Так, доля узбеков росла в этот период почти во всех городах и поселках городского типа. Единственным исключением был таджикский по основному населению поселок Касансай, где процент узбеков чуть снизился (с 5,1 до 5,0). Доля же русских повсюду снижалась, хотя и не очень значительно.

Довольно стабильной оставалась в городских поселениях доля татар и таджиков. В поселениях, где таджики составляли большинство населения, их процент несколько возрос. Так, если в Чусте таджики составляли в 1959 г. 75,8% населения, то в 1970 г. — 78,0%, в Касансае их доля за тот же период повысилась с 83,6 до 88,2%, в Риштане — с 64,0 до 66,7%. Процент украинцев во всех городских поселениях понизился. Сократилась в большинстве городских поселений и доля армян. В то же время в городе Кувасай появилась значительная группа азербайджанцев, составившая там 9,6% населения.

Некоторые, хотя и не очень существенные, изменения произошли в этноструктуре населения городов узбекской части Ферганской долины и за период с 1970 по 1979 г. В 1979 г. все городское население этого региона составило 1330 тыс. чел. Среди городских жителей было 849 тыс. узбеков (63,8%), 201 тыс. русских (15,0%), 98 тыс. татар вместе с крымскими (7,3%), 74 тыс. таджиков (5,5%), 13 тыс. евреев (0,9%), 12 тыс. украинцев (0,9%), 8 тыс. киргизов (0,6%), 7 тыс. азербайджанцев (0,4%), 6 тыс. армян (0,4%), 5 тыс. немцев (0,3%).

Приведенные цифры показывают, что в рассматриваемый период продолжалась наметившаяся еще в предыдущие десятилетия тенденция к увеличению в городском населении доли узбеков (она возросла за период 1970—1979 гг. с 57,2 до 63,8%) и уменьшению доли русских (она снизилась с 19,7 до 15,0%). Как и в предыдущем десятилетии, основную роль в таком изменении этнической структуры населения играл тот факт, что естественный прирост узбеков был намного выше естественного прироста русских (примерно в 5 раз). Впрочем, есть в динамике русского населения в 1959—1970 и в 1970—1979 гг. и существенные различия. Если в первый период абсолютный прирост русского населения в городах Ферганской долины был весьма значительным (свыше 40 тыс. чел.), то во второй период он был намного меньше (15,5 тыс.). Поскольку показатели естественного прироста русских изменились за

это время мало, то снижение темпов роста русского городского населения в Ферганской долине скорее всего можно объяснить уменьшением въезда русских из других районов. Оно, как можно предполагать, было обусловлено в первую очередь происшедшим за годы советской власти ростом местных кадров — квалифицированных рабочих и интеллигенции.

Несколько уменьшилась в населении городов региона доля татар, в том числе и крымских, — с 9,1 до 7,3%, удельный же вес таджиков остался примерно на том же уровне (соответственно 5,4 и 5,5%).

Процент всех остальных, менее крупных групп (кроме киргизов) несколько снизился.

Несмотря на сильное повышение в 1970—1979 гг. доли узбеков в городском населении, в двух крупнейших городах Ферганской долины — Намангане и Андижане — их процент немного снизился (соответственно с 84,0 до 80,4% и с 77,7 до 71,5%), что связано, по-видимому, с созданием в этих городах новых промышленных предприятий и прибытием для работы на них рабочих и технических специалистов других национальностей. Уменьшилась также (с 43,5 до 36,4%) и без того сравнительно невысокая доля узбеков в Советабаде, получившем статус города в 1972 г. Зато в городе Хамза за 1970—1979 гг. процент узбеков повысился более чем в 2 раза (с 28,6 до 60,1).

Процент русских в большинстве городских поселений продолжал снижаться, что было связано со все усилившимся притоком в города узбеков, а также с более низким естественным приростом русского населения. Например, в Фергане он уменьшился за рассматриваемый период с 49,8 до 43,6%, в Коканде — с 23,1 до 18,9%, а в Хамзе — даже с 36,0 до 17,7%. Повысилась доля русских (по указанным выше причинам) лишь в трех городах: Андижане (с 12,5 до 14,6%), Намангане (с 7,8 до 8,9%) и Советабаде (с 18,7 до 33,8%).

В то же время в последнем городе сильно снизилась доля татар, включая крымских, — с 30,8 до 7,4%. Значительно уменьшился процент их и в населении таких городов, как Хамза (с 23,6 до 14,3%) и Шахрихан (с 19,7 до 8,1%). Наблюдалось снижение доли татар (вместе с крымскими татарами) и в населении большинства других городов и поселков городского типа региона. Это было обусловлено выездом части крымских татар за пределы Узбекистана.

Доля таджиков в большей части городских поселений Ферганской долины оставалась относительно стабильной. Особенно это характерно для 3 городов с преобладанием таджикского населения: Риштана (66,7% в 1970 г. и 65,6% в 1979 г.), Касансая (соответственно 88,2 и 86,7%) и Чуста (соответственно 78,0 и 78,4%). В поселке городского типа Алтынкан (Наманганская обл.) процент таджиков заметно вырос (с 21,8 до 31,8).

Довольно стабильной в течение 1970—1979 гг. в большинстве городских поселений оставалась и доля евреев. В большей части городов и поселков городского типа уменьшился процент украинцев, армян, азербайджанцев, корейцев.

Рассмотрев изменение за годы советской власти этнической структуры населения городов узбекской части Ферганской долины, можно сделать следующие основные выводы.

В городском населении региона на протяжении всего XX в. преобладали узбеки, причем вплоть до конца 1950-х годов их доля снижалась, а затем стала неуклонно повышаться. Из 5 крупнейших городов региона, только в одном — Фергане (бывшем Новом Маргелане) узбеки не составляли (и не составляют теперь) большинства населения. Доля русских, будучи в конце XIX в. очень невысокой, в XX в. вплоть до конца 50-х годов довольно быстро росла, однако затем начала снижаться. Процент таджиков в населении городов долины в течение нескольких последних десятилетий оставался стабильным. Все остальные этнические группы в городах Ферганской долины никогда не составляли существенной доли населения.



# ПОИСКИ ФАКТЫ ГИПОТЕЗЫ

Э. Х. Петросян

## ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИСТОКИ АНАТОЛИЙСКОГО КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА «КАРАГЁЗ»

В народно-профессиональном искусстве народов Востока большое место занимает театр объемных и плоских кукол. В Передней Азии, например, до сих пор распространен ряд традиционных кукольных представлений, в которых главными действующими лицами являются Карагёз и его друг-противник Хаджи Айваз<sup>1</sup>.

Представления «Карагёз» бытовали и у армян. Исследователи армянского народного театра Г. Левонян, Г. Гоян, Г. Степанян, Ж. Хачатрян, В. Папазян, а также писатели Д. Демирчян и И. Гришавили в той или иной степени останавливались на этом явлении<sup>2</sup>.

Анализировавшие эту традицию зарубежные и советские ученые пришли к следующим выводам:

1. В театре «Карагёз» чаще всего используются плоские куклы — черные или цветные, сплошные или прорезные.

2. Традиция представлений этого вида сложилась, видимо, в период первобытнообщинного строя и связана с почитанием души (тени, куклы), культом предков, фаллоса, с образом умирающего и воскресающего божества.

Действие разыгрывалось под музыкальное сопровождение, причем куклы могли вести диалог и с музыкантами, сидящими перед ширмой. Становясь персонажем, последний включался в систему действующих лиц на уровне сюжета.

Первые упоминания о кукольных представлениях, в частности о театре теней на Ближнем Востоке, появляются в литературе в VIII—IX вв.<sup>3</sup> С XIV в. отмечается популярность «Карагёза» на Ближнем Востоке, в Египте, Греции и его влияние на театральное ярмарочное искусство средневековой Европы.

Исследователь кукольного театра народов Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока О. Шпис вторую часть своей книги специально по-

<sup>1</sup> Вид кукольных представлений «Карагёз» изучался как зарубежными, так и довоенно-революционными русскими и советскими специалистами. Библиографию см.: Соловьев И. Н. Традиционный театр кукол Востока. М., 1983. С. 169—179. Имена героев этих представлений в разных странах имели свои варианты: Карагёз, Карагуз, Каракоз, Карагиозис, Арагоз, Каракус, Каракуш, Пехлеван кэчал, Хаджи Айваз, Хадживат, Хаджайват, Хаджи Эйваз, Хачивад.

<sup>2</sup> Левонян Г. Театр в древней Армении. Ереван, 1941 (на арм. яз.); Гоян Г. 2000 лет армянского театра. Т. 2. М., 1952; Степанян Г. очерк истории западноармянского театра. Т. 1. Ереван, 1962 (на арм. яз.); Хачатрян Ж. Карагёз (театр теней) // Армянская этнография и фольклор. Т. 7. Ереван, 1975. С. 107—124 (на арм. яз.); Музей литературы и искусства Арм. ССР. Фонд нар. арт. СССР В. Папазяна; Демирчян Д. Собр. соч. Т. 6. Ереван, 1964 (на арм. яз.); Гришавили И. Литературная богема старого Тбилиси. Тбилиси, 1977.

<sup>3</sup> См. Мец А. Мусульманский ренессанс. М., 1973. С. 327.

святил описанию «Карагёза» как вида театра, который в Турции называли «*Kukla oupsi*». Автор возводит это название к древнегреческому *κουκούλλα*, латинскому *cuculla* и приходит к выводу, что истоки данного вида театра надо искать в античном мире<sup>4</sup>. Аналогичное мнение ранее высказывали А. Талассо и Н. Мартинович, полагавшие, что «на современном „Карагёзе“ заметно влияние как Запада, так и Востока»<sup>5</sup>.

И. Н. Соломоник, рассматривая в своей работе различные аспекты народного кукольного представления, театра «Карагёз» непосредственно не касается, однако некоторые из высказанных ею соображений могут оказаться полезными для исследования этой проблемы<sup>6</sup>.

Наиболее исчерпывающий анализ «Карагёза» дан Т. А. Путинцевой. По ее мнению, театр теней берет свое начало в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. «Есть предположение,— пишет она,— что из Китая через Монголию теневой театр в XI—XII вв. был занесен в Персию и во владения сельджуков, а затем турки принесли с собой теневой театр и в побежденные страны Машрика»<sup>7</sup>. Кажется, вопрос генезиса «Карагёза» Т. А. Путинцевой решен, однако она замечает, что имя Карагёз, какие бы варианты его мы ни встречали в разных странах, напоминает греческое Карагиозис, а «Турция, имевшая обширные торговые связи с Венецией и Генуей, много почерпнула и из итальянской комедии дель арте... Завладев Константинополем, турки могли еще застать там и византийского мима, наследие которого также использовалось»<sup>8</sup>.

О бытовании «Карагёза» в армянской народной театральной традиции упоминают, как уже отмечалось, армянские театроведы. Известно, что турецко-османское военно-феодальное государство турки образовали на завоеванных землях, в том числе армянских (столица Византии — Константинополь была ими захвачена лишь в 1453 г.)<sup>9</sup>. В новых условиях турецкая знать восприняла многие местные традиции бытовой культуры, в частности теневой театр «Карагёз».

Расцвет средневекового армянского народного и народно-профессионального театра (Х—XIV вв.) связан с возвышением городов Van, Муш, Сис, Ромкла, Ани, Двин, Беркри, Хлат, Каирин, Себастия, Кейсария, Пруссия и др. Константинополь же издавна был многонациональным городом, где армяне составляли большую этническую группу с по-квартальным расселением. В армянских кварталах Серви, Едикула, Нарл кабуи и Калата при султане Селиме (XIV в.) работали труппы кукольников из армян и греков<sup>10</sup>. Известны убедительные факты, подтверждающие широкую популярность в XVII—XIX вв. армянского театра «Карагёз».

Народные профессионалы разыгрывали свои представления не только в Константинополе, Анкаре, Бурсе (Пруссии), Амшене, во всех культурных центрах исторической Армении, но и в городах Закавказья — Тифлисе, Баку, Александрополе (совр. Ленинакан), Ахалкалаки, Ахалцихе, Шуше и др. Армянские кукловоды (например, династия кукольников Тумасянов, творивших на протяжении последних 150 лет) разыгрывали сюжеты и «Карагёза», «Пехлеван кэчала».

В общих чертах «Карагёз» можно охарактеризовать как театр, где действуют определенные типажи-маски, создававшиеся на протяжении столетий и знакомые зрителям с самого первого появления на экране или над ширмой. Представление не имеет цельного сюжета. Это короткие, механически соединенные между собой комические сценки, в цент-

<sup>4</sup> Spies O. Türkisches Puppentheater. Emsdetten//West, 1959. P. 7.

<sup>5</sup> Thalasso A. Molière en Turquie//Le Moliériste. P., 1887, décembre. 1888, janvier.; Мартинович Н. Турецкий театр «Карагёз». СПб., 1910. С. 3.

<sup>6</sup> Соломоник И. Н. Указ. раб.

<sup>7</sup> Путинцева Т. А. Тысяча и один год арабского театра. М., 1977. С. 83.

<sup>8</sup> Там же.

<sup>9</sup> История армянского народа с древнейших времен до наших дней. Ереван, 1980. С. 160—161.

<sup>10</sup> Степанян Г. Указ. раб. С. 93.



Рис. 1. Инструментарий кукольника Х. Тумасяна

ре которых — проделки Карагёза. Разыгрывался спектакль на Масленицу, Рождество и в мусульманские праздники Рамазан и Байрам.

Отметим важную для нашей темы деталь: во многих вариантах представлений одним из действующих лиц обязательно был армянин, именовавшийся различно: Тигран<sup>11</sup>, Айваз Саркис — армянин из Вана, Карабет — коробейник<sup>12</sup>, Корапэт — учитель музыки<sup>13</sup>, безымянная кукла — армянин из Вана<sup>14</sup>, армянин Саркиз<sup>15</sup>.

Почти все исследователи приводят сохранившуюся у кукольников легенду о происхождении театра теней в Передней Азии, две версии которой записал Игац Кунеш. По одной из них, главные действующие лица — Карагёз и Хаджеват — были придворными султана Орхана (1326—1359). По навету завистников их казнили. Шейх Кюштери, желая заставить султана раскаяться, сделал куклы — изображения обоих пострадавших и разыграл представление. По другой версии, Карагёз был рабочим, а Хаджеват — надсмотрщиком на постройке мечети в г. Бурсе. Оба были шутниками и отвлекали строителей, затягивая работу. По жалобе архитектора их казнили. Но однажды султан захотел их увидеть, чтобы развлечься. Тогда шейх Кюштери изготовил кукол, изображающих Карагёза и Хаджевата, и разыграл театр теней<sup>16</sup>.

Несколько иной вариант этой легенды слышал в начале 1920-х годов И. Гришашили в Тифлисе. Согласно этому варианту, Карагёз и Хадживат тоже были каменщиками на строительстве мечети в Бурсе, тоже шутками отвлекали строителей, и Султан Мурад их казнил, о чём потом пожалел. И тогда шейх «выкроил из верблюжьей кожи фигурки двух каменщиков, привязал к их рукам и ногам шелковые нитки, спрятался за занавес и потянул за нитки. Потянет вниз — поднимается у фигурки рука, опустит — опустится; и задвигались фигурки, заговорили, и были они, как живые Карагёз и Хадживат,— ведь шейх говорил их голосами и рассказывал истории, услышанные от них»<sup>17</sup>.

<sup>11</sup> Spies O. Op. cit. Приводятся тексты пяти пьес.

<sup>12</sup> Sıjavusgil S. Қaragöz. İstanbul, 1961. P. 11.

<sup>13</sup> Mapp Ю. Н. Кое-что о Пэхлэван кэчэле и других видах народного театра в Персии//Иран. Т. 2. Л., 1928.

<sup>14</sup> Ritter H. Қaragöz, türkische Schattenspiele. İstanbul, 1941.

<sup>15</sup> Мартинович Н. Указ. раб. С. 2.

<sup>16</sup> Там же. С. 3.

<sup>17</sup> Гришашили И. Указ. раб. С. 50.



Рис. 2. Карагёз и Хаджи Айваз

В египетских хрониках указывается, что имя турецкого Карагёза произошло от имени Каагуз — везира Салах ад-Дина. Комические выходки Каагуза легли в основу анекдотов и пасквилей, сделав его своего рода «героем». «Слава» везира достигла Константинополя, где он превратился в персонаж теневого театра. После завоевания Константинополя турками (1453 г.) ими были унаследованы и разыгрывавшиеся там представления<sup>18</sup>.

Т. А. Путинцева приводит также вариант предания, опубликованного И. Куношем, А. Талассо, Г. Якобом, по которому кузнец Карагёз и его друг каменщик Хадживат (XIV в.) работали на строительстве мечети в Бурсе и «своими шутками и выдумками... задерживали строительство»<sup>19</sup>. Далее следуют гнев Орхана, гибель шутников, изготовление шейхом (первый кукольник?) Қюштери кукол, изображающих Карагёза и Хадживату.

Еще один вариант предания записала Ж. Хачатрян: «Турецкий султан Махмед имел двух шутов — Карагёза и Аджи Айваза. Они всегда веселили султана и занимали его своими выходками. Султан их очень любил и щедро платил им. Приближенные от зависти донесли на них, и обоих по велению султана обезглавили. Но потом султан пожалел о содеянном. А умные люди из ослиной кожи вырезали куклы по образу и подобию Карагёза и Аджи Айваза, пошли к султану и разыграли представление, повторив их выходки и шутки. Султану понравился спектакль, и он разрешил разыгрывать эти сценки и в других местах. К этим двум куклам постепенно прибавились и другие»<sup>20</sup>.

Анализ всех этих вариантов выявляет очень важную деталь: в них кукольное представление обязательно отнесено к XIII—XIV вв., т. е. ко времени захвата турками-османами Армянского нагорья и вторжения на

<sup>18</sup> Путинцева Т. А. Указ. раб. С. 80.

<sup>19</sup> Там же. С. 83—84.

<sup>20</sup> Предание записано в с. Вале Ахалцихского р-на ГССР в 1965 г. от кукольника Х. Тумасяна и от многих других жителей армян. См. Хачатрян Ж. Указ. раб. С. 108.

запад Малой Азии. Сама же легенда — в этом единодушны все исследователи «Карагёза» — исторически не достоверна, и истоки «Карагёза» восходят к древней традиции культовых и зрелицких представлений в Передней Азии.

Город Прусс (Бруса, Бурса), упомянутый в предании о Карагёзе, — один из старинных греческих городов, в котором проживало очень много армян. Этот город наряду с Константинополем, Никомидией (Измиром) и прилегающими к ним селами входит в армянский историко-этнографический регион Бутанио. Одно из очередных крупных переселений туда армян связано с падением Киликийского государства в 1374 г. Письменные же свидетельства об официальном основании в Бутанио колонии относятся к XVI в. В селах и городах Бутанио вплоть до 1915 г. — геноцида армян — жили также переселенцы из Акна, Карина, Кейсарии, Ерзика, Вана, Нахчваны и других мест<sup>21</sup>.

Численность турок-османов Бутанио не могла быть особенно велика. Большинство населения составляли греки и армяне — земледельцы, строители церквей, мечетей и дворцов, рабочие и ремесленники. И не случайно, что таковыми были и Карагёз, и Хаджи Айваз. Согласно вариантам предания, оба мешали строительству мечети. Можно предположить, что они были христианами, вероятно жителями окрестных сел, приехавшими в Бурсу на заработки.

Важное значение в освещении проблемы генезиса кукольного спектакля имеет семантика имени главного действующего лица. Все исследователи кукольного театра, в том числе и армянские, рассматривают театр «Карагёз» как явление архаичное, испытавшее влияние и Востока и Запада, однако при выяснении этимологии имени героя спектакля используют данные только тюркского языка: *kar* — «черный», *göz* — «глаз», т. е. черноглазый.

В театре теней сюжетом о Карагёзе и без него применяются черные либо разноцветные плоские куклы, вырезанные из кожи. Весь силуэт куклы — черный, а прорезанный глаз светится. Трудно понять, почему герой получил такое имя, ведь у всех остальных персонажей тоже прорезанные светящиеся глаза.

Символика черного цвета обычно связана с землей, но сакральный смысл понятия «черные глаза» мы затрудняемся объяснить. Непонятно и другое: почему «Карагёз» возник в среде мусульман, где религиозная традиция запрещала изготавливать скульптуры и рисовать людей? Как могло «в странах нравственного пуританства» сложиться, как правильно отметила Т. А. Путинцева, «искусство теневого театра», которое «было самым распущенными и скабрезными из всех теневых театров Востока?»<sup>22</sup>.

Заслуживает внимания и связь предания о «жизни и смерти». Карагёза с г. Бурса; слово *bursa* в древнегреческом означает «содранная шкура, кожа; барабанная шкура, барабаны; мех для вина»<sup>23</sup>. Эти понятия в ритуальном отношении символизируют растерзание, страдание некоего божества. «Еще и поныне прусийцы справляют нечто вроде празднества — блуждание по горам с вакхическими шествиями и призыванием Гила»<sup>24</sup>.

Все эти соображения дают нам основание предположить иную этимологию имени Карагёз. По нашему мнению, генетические корни этого кукольного представления в изучаемом ареале восходят к индоевропейской театрально-ритуальной традиции. Полагаем, что в основе имени Карагёз лежит армянский корневой элемент *kar* со значением «сила, крепость, твердость, камень, скала»<sup>25</sup>, «голова, вершина, рог»<sup>26</sup>.

<sup>21</sup> Тумаджян М. Армянские народные песни. Т. 1. Ереван. С. 33 (на арм. яз.); Акопян Т. Х. Историческая география Армении. Ереван, 1968. С. 330—337 (на арм. яз.).

<sup>22</sup> Путинцева Т. А. Указ. раб. С. 84.

<sup>23</sup> Дворецкий И. Х. Древнегреческо-русский словарь. М., 1958 (см. фронт.).

<sup>24</sup> Страбон. Кн. XII. Гл. IV. 3.

<sup>25</sup> Ачарян Гр. Этимологический коренной словарь армянского языка. Т. 2. Ереван, 1973. С. 542.

<sup>26</sup> Джасукян Г. Б. Хаясский язык и его отношение к индоевропейским языкам. Ереван, 1964. С. 42.

В. Н. Топоровым было высказано соображение, что «Петр, Петрушка (петрушка как сниженный образ Петра — растение и кукла) — поздняя трансформация образа младшего сына Громовержца»<sup>27</sup>. Этот вывод помогает нам раскрыть значение имени Карагёз, используя следующие сопоставления:

1. В греческом *petros* — означает «камень»; в армянском *kär* — «камень».

2. В греческом *Petr* — имя собственное, означающее «камень»; в армянском *Kar*, *Karo* — тоже имя собственное с тем же значением, а *Karapet* — «глава камней» (от *kär* — «камень» и *pet* — «глава»).

3. Личные имена «святой Петр» и «святой Карапэт» являются сакральными.

4. В греческом *petroselinon* (чешское *petrzel*, польское *pietruszka*) — «петрушка», „каменный“ сельдерей»<sup>28</sup>; в армянском *karos*, *karaus* — «петрушка», «сельдерей».

Эти сопоставления, на наш взгляд, дают возможность предположить, что если у европейских народов героя кукольного театра звали Петрушка, то у армян он мог носить имя Каракус.

Турки-сельджуки, захватившие в XI в. Армянское нагорье, оказались в гуще различных народов. Они не могли не слышать о кукольном театре и не видеть его. Несомненно они приглашали странствующих гусанов (народных певцов), мимов, кукольников. В турецком языке слово *karos* (*karaus*) могло подвергнуться народной этимологизации, вследствие чего имя Карос — Каракус — Карагуз (*Pietruszka* — петрушка) постепенно превратилось в Карагёз — Гарагёз.

Мотив сельдерея-петрушки связан с мифологией Талоса — критского Зевса и с «сарданским (сардоническим) смехом»<sup>29</sup>. А. Ф. Лосев приводит несколько выдержек из произведений античных писателей. «Некоторые говорят, что на острове Сардиния растет такой сельдерей, поевши которого чужестранцы гибнут, ощерившись с конвульсиями»<sup>30</sup>. По свидетельству Таррея, «в Сардинии произрастает некое растение, близкое к сельдерею, отведавши которое, люди, с одной стороны, разражаются смехом, а с другой — начинают умирать от конвульсий»<sup>31</sup>. По Павсанию, «на острове Сардинии нет ядовитых растений, причиняющих смерть человеку, кроме одного,— его вредоносная зелень похожа на петрушку (сельдерей), и говорят, что тот, кто ее съест, умирает от смеха»<sup>32</sup>. Этот смех Гомер и все античные писатели называли сардоническим или сарданским<sup>33</sup>.

В древности петрушку (сельдерей) называли часто сардонской или сардонийской травой, поскольку миф о Талосе — Кроносе, по-видимому, зародился в Сардинии, на что указывает свидетельство Зенобия: «Симонид говорит, что Талос перед отбытием на Крит жил в Сардинии»<sup>34</sup>.

Итак, петрушка (сельдерей) связана с понятием смерти, трагикомизма: «смех сквозь слезы», «сарданский смех» — маска смеха при внутреннем страдании. Этот смех был, несомненно, ритуальный: так смеялись жертвы Кроноса и медного Талоса — критского Зевса перед смертью<sup>35</sup>.

Интересен и следующий факт: Дион Хрисостом сравнивает тщеславных участников спортивных состязаний с козлами, которые стараются

<sup>27</sup> Топоров В. Н. Еще раз о балтийских и славянских названиях божьей коровки в перспективе основного мифа//Балто-славянские исследования. М., 1980. С. 288.

<sup>28</sup> Шанский Н. Н., Иванов В. В., Шанская Т. В. Краткий этимологический словарь русского языка. М., 1961 (см. петрушка).

<sup>29</sup> Лосев А. Ф. Античная мифология в ее историческом развитии. М., 1957. С. 126—142.

<sup>30</sup> Там же. С. 137.

<sup>31</sup> Там же.

<sup>32</sup> Там же. С. 138.

<sup>33</sup> Там же.

<sup>34</sup> Там же. С. 139.

<sup>35</sup> Во многих регионах армяне вплоть до наших дней верят в демона Талалоса. Считается, что он вызывает у детей спазмофилию и конвульсии. Первая неделя Великого поста называется «Неделя Талалоса», а ее суббота — «Воскресение Талалоса».

ухватить «немножко зеленого сельдерея, ветку маслины или сосны». Венок из сельдерея служил наградой для победителей на Истмийских и Немейских играх, а оливковый — на Олимпийских<sup>36</sup>.

Уже в доисторической Греции была широко распространена вера в магическое действие некоторых трав и деревьев. Известно около двадцати пяти демов, наименования которых происходят от названий растений и деревьев, например Эгилия (дикий овес), Гагнус (ива), Марафон (укроп), Мирринус (мирт), Рамнунт (крушина). В числе магических трав была и петрушка, о чем еще во II в. знал Дион Хрисостом — общественный деятель города Прусы в Вифинии, с которым связано место жительства Карагёза — Каракуса.

Петрушка (сельдерей) — съедобная трава, имеющая лечебные свойства, хотя нам неизвестен эффект от потребления большого количества ее. Не исключено, что в древности петрушку отождествляли с цикутой, тоже относящейся к семейству сельдереев (зонтичных) и внешне очень похожей на них. Армяне знали цикуту как возбудителя смеха, сводящего с ума, называли *molexind, xndamoli* (арм. *mol* и индоевроп. *mol* — «безумие», арм. *xind* — «веселье, смех, радость»)<sup>37</sup>.

По мнению Гр. Ачаряна, армянское *molil* — «гадание» — связано с возбужденным состоянием колдуна — *molilar*. Как заметила Србуи Лисициан, «все слова, производимые от корня *mol*, передают буйство, фанатизм, исступление... С целью гадания возжигали священный мол... Так, умирающий армянский царь Арташес II Парфен (I в. до н. э.) колдовал на дыму, стелющемся от мола, помещенного внутри трех семиугольников, чтобы удержать свою жизнь, отогнав смерть»<sup>38</sup>. Таким образом, и у армян предсмертное состояние было связано с сельдереем (петрушкой, цикутой), вызывавшим буйство, безумное веселье. Все эти данные указывают на сакральность петрушки — сельдерея — цикуты как трав Кроноса, Талоса и, по нашему мнению, Петроса, почитаемого в образе камня и *petroselinon* (петрушки), а также свидетельствуют о том, что петрушка входила в мифологический гербарий.

В армянском фольклоре издавна был распространен мотив о плетении креста из растений. Он засвидетельствован писателем и историком Степаносом Орбеляном (XIII в.) в передаче предания, согласно которому пастухи (овчары) сплели из гибкого тростника крест и водрузили его на каменном постаменте. Этот мотив плетеного из растений креста нашел отражение в армянском орнаментальном искусстве.

С конца XIX в. записано множество вариантов эпической песни «Կարօս խաչ» («Крест из петушки») о плетении креста из растений. Песня довольно длинная, поэтому передадим содержание только интересующей нас части. Овчары, находясь в поле, сплели из священного растения бол (кавкалис, семейство сельдереев, зонтичные) крест и стали молиться. На крест снизошла божья благодать. А когда его хотели перенести в село, он вырвался из рук, сам полетел и опустился на грядку с петрушкой (*karos*). Свершилось чудо: крест из кавкалиса превратился в крест из петушки<sup>39</sup>.

Архаичное воззрение на связь *karos* (*karaus*) — петушки («каменного» сельдерея — *petroselinon*), креста — языческого символа древа жизни и камня (*k'ar*) нашло отражение в сооружении каменных стел с высеченными на них изображениями крестов, сплетенных из растений, и мемориальных символовических орнаментальных рельефов опять-таки распределительного происхождения.

<sup>36</sup> Дион Хрисостом VIII, 15. Диоген, или о доблести//Поздняя греческая проза. М., 1961. С. 88. Дион Хрисостом — уроженец города Прусы.

<sup>37</sup> Ачарян Гр. Указ. раб. Т. III. 1977. С. 339—340.

<sup>38</sup> Лисициан С. Старинные пляски и театральные представления армянского народа. Т. II. Ереван, 1972. С. 73. Согласно преданию, Сократа отравили ядом цикуты. Греки растение *mol* наделяли магическим свойством.

<sup>39</sup> Собрание избранных армянских фольклорных произведений Васпуракана составил Айк Аджемян. Эчмиадзин, 1917. С. 23—28 (на арм. яз.).

Приводимый ниже диалог Карагёза (Карауса) и Хаджейвата подтверждает наше положение о семантической связи героя кукольного театра с растительным кодом.

Х а д ж. Как зовут твоего отца?  
К а р. Степной сельдерей.  
Х а д ж. А мать?  
К а р. Белая редька.  
Х а д ж. Тетку?  
К а р. Порей.  
Х а д ж. Брата?  
К а р. Кресс.  
Х а д ж. Ребятишек?  
К а р. Салат.  
Х а д ж. Деда?  
К а р. Коцанная капуста.  
Х а д ж. А всю семью?  
К а р. Зелень и овощи в лавке зеленщика...<sup>40</sup>

Нам кажется, что во многих текстах «Карагёза» сохранились элементы былых мифологических текстов. Приведем пример, в котором есть отголосок связи ядовитого растения с культом Кроноса — Талоса — Кароса — Петроса («сарданский смех»).

Х а д ж. Твое будет миртовое дерево, мое — ядовитое.  
К а р. Миртовое дерево — Карагёза.  
Х а д ж. Ядовитое дерево — Хаджейвату.  
К а р. Миртовое дерево — Карагёзу. Ядовитое дерево —  
Хаджейвату.  
Х а д ж. Что ты ешь, Карагёз?  
К а р. Ядовитое дерево, Хаджейват...<sup>41</sup>

В тексте не раз появляется отголосок мотива наказания сына, сидения в колодце и веревки как «посредника» между верхом и низом.

Х а д ж. Карагёз, ты знаешь этого бея?  
К а р. Боже мой, почему бы мне его не знать?  
Х а д ж. Его зовут Кыннап-зада (это имя, но Карагёз расшифровывает: кыннап — веревка, задэ — сын, потомок).  
К а р. Стало быть, его дед — колодезный канат...<sup>42</sup>

Мотив каната есть и в другом варианте текста.

Б е й. Меня зовут Кыннап-задэ.  
К а р. Теперь признал; как поживает твой покойный дедушка?  
Х а д ж. Кто его дедушка?  
К а р. Пароходный канат...<sup>43</sup>

И наконец, в едином диалоге появляются три мифологических понятия: веревка, колодец и наказанный сын. Приведем отрывок.

(Хаджейват и Байкир идут в кофейню, зовут Карагёза, но тот отвечает глухим голосом)

Х а д ж. Где ты, что тебя плохо слышно?  
К а р. В колодце.  
Х а д ж. Что ты там делаешь?  
К а р. Сын нездоров, так я его повесил в колодец, пусть пропотеет...<sup>44</sup>

Мотив спуска в колодец, сидения в колодце настолько популярен в мифологиях древнего мира и семантика его так разработана, что мы на ней останавливаться не будем; подчеркнем лишь момент наказания сына отцом, подтверждающий наш тезис о Каюсе — Караусе — Карагёзе как

<sup>40</sup> Мартинович Н. Указ. раб. С. 26. Здесь и далее все тексты пьес записаны Игнием Куношем.

<sup>41</sup> Мартинович Н. Указ. раб. С. 92.

<sup>42</sup> Там же. С. 93.

<sup>43</sup> Там же. С. 102.

<sup>44</sup> Там же. С. 103.

о наказанном сыне, превращенном в петрушку, куклу, камень, но во всех случаях наделенном священными функциями.

В армянском языке основа *kar* означает также толстую веревку, канат и, кроме того, связь, соединение. Это свидетельствует о том, что даже в записанном И. Куношем турецком тексте сохранилось то же значение основы *kar*, что и в армянском. Обратим внимание на то, что в греческом *petauristos* — «хождение по канату», а *petauristes* — «канатоходец, акробат»<sup>45</sup>, т. е. основа *pet* в данном случае, видимо, означает «канат».

В это семантическое поле вписывается и образ святого Карапэта — покровителя искусств, к которому вплоть до начала XX в. обращались музыканты, певцы, поэты, акробаты и кукольники. Еще со времен язычества его культовым центром был монастырь Иннакнеан («Девять родников», букв.: «из камней», «каменный»), расположенный на холме Каркэ (регион Тарон). Туда вплоть до геноцида 1915 г. продолжали стекаться страждущие получить поэтический дар и покровительство в искусстве хождения по канату.

Мы видим типологическую и генетическую связь между почитанием Карапэта (Каро, Кароса, Карписа) и критского Зевса через идентичность функции Талоса и Талалоса, ядовитой петрушки (цикуты) — сельдерея — карауса, вызывающей спазмофилию, тетанию (арм. *tálaloc'*).

Таким образом, намечается некая связь между армянским Тавром, киликийским Тавром, который в конце II — начале I тыс. до н. э. населяли карийцы и лидийцы, и островом Крит с его Кроносом в образе медного Талоса, ядовитой петрушки (цикуты) — сельдерея — карауса. Обозначенный ареал культа Кроноса — Кароса (Петроса) в основном совпадает с ареалом кукольного театра «Карагёз» и позволяет считать эпицентром традиции западную часть Малой Азии (Киликия). Это подтверждается данными о переселении армян, начавшемся после падения армянского Киликийского государства (XIV в.), в район Константинополя, Бурсы, Никомидии, Кутахьи, Амшена. И, видимо, не случайно турецкие легенды, передающие историю возникновения театра «Карагёз», связывают ее со временем правления Орхана (XIV в.).

Те же легенды донесли до нас имя первого изготовителя кукол и первого кукловода — шейха Кюштери (от перс. *koštar* — «избиение, побоище, резня, убийство»<sup>46</sup>). В армянском основа *koš* засвидетельствована письменно в V в. со значением «кулак»<sup>47</sup>.

Невольно возникает предположение, что Карагёз и Хаджи Айваз были убиты ударом кулака или в кулачной борьбе самим шейхом. Он сам и воскресил их в кукольном образе. Напомним, что кулачные бои были обязательны в масленичной обрядности, в основе которой лежала идея смерти Старого и победа Нового года, идея смерти и воскресения, рождения культурного героя, обучившего человечество ремеслам и искусству, земледелию и пр. Тогда шейх (шах) есть тот глава, старейшина, руководящий (рукой водит, машет кулаком) всемирным порядком. Шейх представляется реминисценцией образа Громовержца, его трансформацией.

В легенде есть упоминание профессии Карагёза и его друга Хаджи Айваза. В одном варианте Карагёз — кузнец, а его друг (он же противник) — каменщик. В другом варианте оба строители мечети.

Образ мифического строителя, главы камней, который тесал, точил, соединял, месил, идентичен образу Творца (Деуса, Тваштара) и соответствует, по всей вероятности (если учесть этимологию имени),protoармянскому Карту и Арташу (от *ar* — мужское начало, *taš* — индоевроп. основа *taks* — «тесать, точить»)<sup>48</sup>. Так, орудием Карагёза в одном из вариантов служит топор<sup>49</sup>.

<sup>45</sup> Дворецкий И. Х. Указ. раб. С. 1311.

<sup>46</sup> Миллер Б. В. Персидско-русский словарь. М., 1953 (см. *koštar*).

<sup>47</sup> Аачарян Гр. Указ. раб. Т. 2. С. 634.

<sup>48</sup> Топоров В. Н. Ведийское *RtA-*: к соотношению смысловой структуры и этимологии//Этимология. 1979. М., 1981. С. 139—156.

<sup>49</sup> Хачатрян Ж. К. Указ. раб. С. 118.



Рис. 3. Похороны Карагёза

С освоением меди и железа в мифологии появляется образ божественного кузнеца — тирана огня, ковала, который в армянской традиции идентифицируется с Артаваздом — подземным кузнецом. Артавазд — проклятый, наказанный за инцест с матерью сын Арташа (Арташира, в иранск. транскрипции — Арташеса, Артаксеркса), заточенный в гору Масис.

Согласно мифологической типологии, кузнец должен быть другом, помощником (вариант — близнецом) Творца, но с ущербными свойствами (например, хромота, горбатость, смертность и т. п.), его земной трансформацией, культурным героем, знакомящим людей со стихией огня, спускающимся, точнее, низвергаемым вниз, на землю или под землю<sup>50</sup>. Часто образы творца и кузнеца сливаются в одном лице. В этом случае он посредник между верхом и низом.

Как показали исследования Србуи Лисициан, образ канатного плясуня (пайлэвана, ларахагаца) связан с Карапэтом — покровителем канатоходцев и вообще всех видов искусств<sup>51</sup>. Он посредник между верхом и низом, храбро поднимающийся с земли к небу акробат — солнечный бог, имеющий своего антиподу и одновременно друга-помощника в лице шута-урода (яланчи) либо в образе куклы — Карагёза.

В мифологических системах часто наблюдается весьма своеобразный образ культурного героя. Для него характерны не столько физическая сила и смелость, сколько ум, хитрость, магические, колдовские способности. Таким героям является в армянском народном театре канатный плясун, пайлеван, он же языческий Карапэт (в христианский период св. Карапэт — покровитель канатных плясунов, канатоходцев), а трикстером — шут (яланчи), семантически идентичен которому в образе куклы Каракус — Карос — Карагёз — мифологический озорник.

Существенную черту циклов о трикстерах подметила Е. С. Котляр: эти герои не борются за справедливость, не отстаивают моральные нормы, а наоборот, их нарушают, проявляют жесткость по отношению ко многим<sup>52</sup>. Так, Карагёз — хитрец, пройдоха, а Хаджи Айваз — наивный,

<sup>50</sup> Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей. М., 1974. С. 158—163.

<sup>51</sup> Лисициан С. Указ. раб. С. 9—59.

<sup>52</sup> Котляр Е. С. Африканская сказка о животных и архаические формы повествовательного фольклора//Ранние формы искусства. М., 1972. С. 422.



Рис. 4. Карлик Джуджа

честный, доброжелательный человек, все время призывающий Карагёза к порядку. Но последний постоянно его обманывает, лупит по носу, животу. Как мим шут Карагёз дублирует поступки Хаджи Айваза, но все это происходит в виде пародии, розыгрыша, передразнивания с намеренным изменением смысла слова, со смешением причин и следствий, смешением даже в чисто физиологическом аспекте верха и низа органов тела.

Как представитель низа, кузнечного ремесла, он наделен ущербными свойствами, что в первую очередь выражается в размерах тела. Так, Карагёз с точки зрения генезиса театрального образа не человек нормального роста, а человечек, обитающий где-то в потемках и сам являющийся тенью, т. е. представителем иного, подземного, потустороннего мира. Малыш-кузнец Карагёз где-то под землей, несомненно, имел и свою наковальню.

В европейской мифологии, как мы полагаем, такими же существами были гномы, карлики, непрестанно бывающие в свою подземную наковальню, черты которых в случае мистериальной обработки мифа должны были придаваться куклам. Заметим, что в изобразительном искусстве Европы, видимо, в давние времена сложилась иконография карлика как существа с бородой, молотком и в высокой конусообразной шапке, столь напоминающей армянские и хеттские войлочные мужские головные уборы. Этот тип карлика, судя по множеству кукол Карагёза, очень похож на последнего. Отметим, что в слове *карлик*, т. е. маленький Карл, снова упорно слышится индоевропейский корень *kar*. А если вспомнить, что в европейской традиции карлики выступают как хозяева чего-то, имеют хтонические признаки, связаны с горами, камнями, с кузнечным ремеслом, боятся света, ибо от него могут превратиться в камень, то типологическая и генетическая параллели проступают довольно прозрачно.

Сюжет о карлике встречается и в ведийской мифологии. Так, Вишну превратился в карлика и попросил у Бали в дар пространство в три шага. Превратившись в великан, он первым шагом измерил небо, вторым — землю и только третьего шага Вишну не сделал, пожалев Бали —



Рис. 5. Карлик из турецкого варианта представления «Карагёз»

властителя вселенной и оставил ему подземное царство, куда изгнали асuros. Третий шаг Вишну считался коротким<sup>53</sup>.

В армянской традиции такими подземными существами — хозяевами камней, гор, спутниками и врагами тирана огня Артавазда — являются к'аджк'и (от *kaj* — «хороший, избранный»; позже дух, дэв)<sup>54</sup>. Тема каджков требует дополнительных изысканий, ибо в течение тысячелетий появилось множество наслоений, трансформаций, региональных вариантов, в которых наиболее стабильна одна важная черта — пристрастие этих существ к танцам, музыке, что сближает их с Карапетом — покровителем музыкантов, акробатов, танцов, певцов и т. п.

По преданию, в каджкой обратились дети Ноя, родившиеся после потопа в ковчеге. Они были прокляты богом, и, видимо, их представляли в виде маленьких человечеков. Как же выглядели эти «проклятые» человечки?

В армянском фольклоре сохранился довольно стабильный тип загадок, бытовавший в разных регионах, где морковь, баклажан, каштан, орех, изюм, лох (пшат), град ассоциируются с маленькими людьми, одетыми в красные (вариант: кожаные) штаны. Отметим, что отгадка загадок входит в фаллическую символику, прямым носителем которой является Карагёз, изображаемый подчас с фаллом, палкой либо с каким-то иным атрибутом того же значения.

Маленькие человечки как подземные кузнецы, бьющие в наковальню, должны были находиться в центре мира, в точке творения, ибо они сами

<sup>53</sup> Жизнь Викрамы. М., 1960. С. 207.

<sup>54</sup> Ачарян Гр. Указ. раб. Т. IV. 1979. С. 555.

тоже были творцами или помощниками Творца. Центр мира, как и ось, проходящая через него, был сакральным местом, откуда шла дорога вверх — к небу. В этом отношении интересно свидетельство Лукиана (I в. н. э.) о том, что в Гиерополисе, куда приходили на храмовые торжества и армяне, в пропилеях храма стояли фаллы, сооруженные Дионису, на которые взбирался человек и вступал в общение с богами<sup>55</sup>. По-видимому, исстари та же идея была заложена в ходьбе и плясках на ходулях, искусстве акробата, взирающегося на шест (перш), в танцах и трюках канатоходцев, называемых армянами *p'ahlevan* («борец»), *laraħaħac'* («танцовщик на канате»; от *lar* — «веревка, проволока, струна»).

По Лукиану же, на фаллы, посвященные Дионису, «помещали маленьких человечков из дерева, с большими фаллами,—фигурки эти называются невроспастами»<sup>56</sup>. И что интересно, невроспаст, как толкуют греческие словари,— «марионетка», т. е. кукла, которая пляшет, когда ее дергают за веревку (*nevron* — «сухожилие», «шнур», «струна»). Тогда кукла Карагёз находится в прямой связи с армянским «танцором на канате» и с греческим *petauristes* как кукольный вариант. Покровителем канатоходцев был св. Карапэт, а это позволяет предположить, что Карас — Каракус во времена Лукиана мог быть также вотивной фигуркой фаллического порядка, как и его европейский, в том числе и русский собрат Петрушка.

Все приведенные данные позволяют заключить, что Карагёз — мифический культурный герой, озорник, фигляр. Как обитатель огненной преисподней, он имеет хтонические черты и является к нам в виде тени. Театральные же представления «Карагёз» и само имя главного персонажа связаны с доисламскими верованиями. Эти представления восходят к ритуально-театральной традиции индоевропейских народов, в частности армян, живших в Западной Армении на территории современной Турции.

---

<sup>55</sup> Лукиан. О сирийской богине. 16.

<sup>56</sup> Там же.

# Наші ЮБІЛЯРЫ

## СПИСОК РАБОТ доктора исторических наук ДАНИИЛА ДАВЫДОВИЧА ТУМАРКИНА (к 60-летию со дня рождения)<sup>1</sup>

- К вопросу о формах семьи у гавайцев в конце XVIII — начале XIX в.//Советская этнография (далее — СЭ). 1954. № 4. С. 106—116.
- Рец. на кн.: Koskinen A. A. Missionary influence as a political factor in the Pacific Islands. Helsinki, 1953//СЭ. 1956. № 1. С. 168—170.
- Забытый источник//СЭ. 1956. № 2. С. 130—131.
- Рец. на кн.: Народы Австралии и Океании (серия «Народы мира. Этнографические очерки»). М., 1956//СЭ. 1957. № 5. С. 201—206.
- Рец. на кн.: Hayden H. Moturiki: a pilot project in community development. Sydney, 1954//СЭ. 1958. № 4. С. 174—179.
- Из истории гавайцев в конце XVIII — начале XIX в.//СЭ. 1958. № 6. С. 38—53.
- Рец. на кн.: Океанийский этнографический сборник (Тр. Ин-та этнографии АН СССР. Т. XXXVIII). М., 1957//СЭ. 1959. № 1. С. 198—204.
- «Сандаловый бизнес» американских колонизаторов на Гавайских островах (из истории колониальной политики США в Океании)//Страны Юго-Восточной Азии. История и экономика. М., 1959. С. 148—166.
- Перевод с нем. кн.: Коцебу О. Новое путешествие вокруг света в 1823—1826 гг. М., 1959. 312 с. Автор комментариев (с. 293—307). 2-е изд.— М., 1981. 351 с. Автор вступит статьи (с. 3—21) и комментариев (с. 317—334). 3-е изд.— М., 1987. 383 с. Автор вступит статьи (с. 3—21) и комментариев (с. 342—361).
- Две книги о Гаваях//СЭ. 1959. № 5. С. 194—197.
- Новые архивные материалы о гавайцах//СЭ. 1960. № 2. С. 158—160.
- Рец. на кн.: Coulter J. W. The Pacific dependencies of the United States. N. Y., 1957//СЭ. 1961. № 2. С. 153—158.
- Под маской ученого//Нева. 1961. № 12. С. 151—152.
- К вопросу о «просветительской деятельности» американских миссионеров на Гавайских островах//Крат. сообщ. Ин-та народов Азии. Т. 52. М., 1962. С. 3—16.
- Этнографическое изучение народов Океании в СССР//СЭ. 1962. № 1. С. 25—31. То же на англ. яз.//Soviet Anthropology and Archaeology. Vol. 1. № 3. White Plains, N. Y. Winter 1962/63. P. 33—38. То же на франц. яз.//Journal de la Société des Océanistes. T. XVIII. № 18. P. 1962. P. 1—10.
- Западное Самоа//СЭ. 1962. № 2. С. 98—109 (совместно с Бутиновым Н. А.).
- Письмо в редакцию//Изв. Всесоюз. Географ. об-ва. Т. 94. № 2. 1962. С. 189.
- Рец. на кн.: John Papa II. Fragments of Hawaiian history. Honolulu, 1959//СЭ. 1962. № 3. С. 229—230.
- Роль американских миссионеров в разрушении самобытной культуры гавайского народа и его колониальном порабощении//Проблемы истории и этнографии народов Австралии, Новой Гвинеи и Гавайских островов/Тр. Ин-та этнографии АН СССР. Т. LXXX. М.; Л., 1962. С. 200—265.
- Вторжение колонизаторов на Гавайские острова и борьба гавайцев за сохранение независимости в 1778—1820 гг. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1962. 28 с.
- Рец. на кн.: Suggs R. C. Archaeological excavations in Nuku Hiva, Marquesas Islands. N. Y., 1961//СЭ. 1963. № 3. С. 218—220.
- Великий русский ученый-гуманист (К 75-летию со дня смерти Н. Н. Миклухо-Маклая)//СЭ. 1963. № 6. С. 3—15.
- Первое в Океании//Глобус: Географический ежегодник. Л., 1963. С. 199—213.
- Вторжение колонизаторов в «рай вечной весны». М., 1964. 192 с.
- К вопросу о причинах вымирания коренного населения Гавайских островов в конце XVIII—XIX в./VII Международный конгресс антропологических и этнографических наук (3—10 августа 1964 г.). Т. 9. М., 1970. С. 87—93.
- Колониализм — основная причина вымирания гавайцев//Колониальная политика империалистических держав в Океании. М., 1965. С. 51—63.

<sup>1</sup> В список не включены публикации тезисов и краткого содержания докладов на конгрессах и конференциях, статьи в энциклопедических изданиях, в советских и зарубежных газетах. Всего опубликовано около 200 работ.

- Просвещение на островах Океании//Советская педагогика. 1966. № 1. С. 117—126.  
 Отв. ред. (совместно с Губером А. А., Маретиным Ю. В., Чебоксаровым Н. Н.) кн.: Народы Юго-Восточной Азии (серия «Народы мира. Этнографические очерки»). М., 1966. 762 с.
- Navigational conditions of sea routes to Polynesia (in connection with the discussion on the settlement of Polynesia). М., 1966. 16 р. (совместно с Войтовым Б. И.). То же с картосхемой//Archaeology at the Eleventh Pacific Science Congress. Honolulu, 1967. Р. 89—100.
- Антропология и этнография на XI Тихоокеанском научном конгрессе//СЭ. 1967. № 1. С. 155—165 (совместно с Чебоксаровым Н. Н.).
- Отв. ред. кн.: Бейтс М., Эббот Д. Остров Ифалук. М., 1967. 255 с. Автор предисловия (с. 5—20).
- Рец. на кн.: Пучков П. И. Население Океании. Этногеографический обзор. М., 1967//СЭ. 1968. № 2. С. 179—184.
- Рец. на кн.: Oceania. Vol. 1—34 (Bibliographies analytiques, I). Р., 1966//СЭ. 1968. № 4. С. 174—175.
- Первая всесоюзная конференция океанистов и австраловедов//СЭ. 1968. № 6. С. 140—143.
- Research in ethnography and archaeology carried out by Soviet scientists in North-East and South-East Asia, Australia and Oceania//Pacific Science Association. Information Bulletin. Vol. 20. № 5—6. Honolulu, 1968. Р. 15—17. (совместно с Арутюновым С. А.).
- Отв. ред. кн.: Стивенсон Ф. и Р. Л. Жизнь на Самоа. М., 1969. 239 с. Автор вступит статьи «Стивенсоны на Самоа» (с. 3—19) и комментариев (с. 230—238).
- Вторая всесоюзная конференция океанистов и австраловедов//СЭ. 1969. № 5. С. 126—129.
- Просвещение в Папуа-Новой Гвинее//СЭ. 1969. № 6. С. 66—83.
- Тур Хейердал и проблема заселения Полинезии//Австралия и Океания (История и современность). М., 1970. С. 151—173.
- К вопросу о сущности рода//СЭ. 1970. № 5. С. 93—101.
- Третья всесоюзная конференция океанистов и австраловедов//СЭ. 1970. № 6. С. 146—148.
- Гавайский народ и американские колонизаторы. 1820—1865 гг. М., 1971. 444 с.
- Проблемы образования и подготовки кадров на островах Океании//Новые тенденции в развитии Австралии и Океании. М., 1971. С. 152—181.
- Отв. ред. кн.: Выставка «Коренное население Австралии и Океании». Л., 1971. 24 с. (совместно с Бутиновым Н. А.).
- По островам Океании (Этнографические работы во время 6-го экспедиционного рейса «Дмитрия Менделеева»)//СЭ. 1972. № 2. С. 120—128.
- О тамо, кайе//Знание — сила. 1972. № 6. С. 30—33 (совместно с Бельской Г. П.).
- На Берегу Маклая сто лет спустя//Проблемы этногеографии Востока. М., 1973. С. 37—41.
- Soviet ethnographers in New Guinea//Social Sciences. 1973. № 2. Р. 209—211\*.
- Пятая всесоюзная конференция океанистов и австраловедов//СЭ. 1974. № 3. С. 139—141.
- Ошибки, на которых мы учимся//Латинская Америка. 1974. № 6. С. 166—170. То же в сокращенном виде//Знание — сила. 1975. № 1. С. 16—17.
- Рец. на кн.: Андреев И. Л. Общинные структуры и некапиталистический путь развития. Владимир, 1973//СЭ. 1975. № 1. С. 158—163.
- Отв. ред.: Наумов Д. В. На островах Океании. М., 1975. 167 с.
- Шестая всесоюзная конференция океанистов и австраловедов//СЭ. 1975. № 3. С. 136—138.
- Автор статей: «По следам „тамо русс“ (Советские ученые в Бонгу)» (с. 26—49), «Хозяйство папуасов Бонгу» (с. 87—109), «В Совете местного управления залива Астролябия» (с. 283—302) и отв. ред. (совместно с Бутиновым Н. А. и Токаревым С. А.) кн.: На Берегу Маклая (Этнографические очерки). М., 1975. 327 с.
- The traditional communal structures and some problems of the socio-economic development of the Pacific Islands peoples. 13th Pacific Science Congress. М., 1975. 27 р. (совместно с Андреевым И. Л.). То же на русск. яз./СЭ. 1976. № 3. С. 75—88. То же на нем. яз./Jahrbuch des Museums für Völkerkunde zu Leipzig. Bd 32. В. 1980. S. 243—255.
- XXV съезд КПСС и задачи советских этнографов (передовая)//СЭ. 1976. № 3. С. 3—9 (совместно с Крывелевым И. А.).
- Седьмая всесоюзная конференция океанистов и австраловедов//СЭ. 1976. № 5. С. 148—150.
- В Институте этнографии АН СССР//Советский национальный Тихоокеанский комитет АН СССР. Информационные сообщения (далее — ИС). 1976, июль — сентябрь. С. 19—24.
- Роль этнографической науки и смежных с ней научных дисциплин в комплексном изучении островных экосистем//Там же. С. 26—30.
- Communal structures and social development//Social Sciences. 1976. № 4. Р. 154—166. (совместно с Андреевым И. Л.).

\* Здесь и далее звездочка означает, что статья опубликована в тех же номерах изданий этого журнала на др. иностр. языках.

- Коллективный натуралист в тропических морях//Знание — сила. 1977. № 2. С. 32.
- Рец. на кн.: Бутинова М. С. Миссионерство и колониализм в Океании. Л., 1975//СЭ. 1977. № 2. С. 187—189.
- Папуасский Союз (Из истории борьбы Н. Н. Миклухо-Маклая за права папуасов Ново Гвинеи)//Расы и народы. Вып. 7. М., 1977. С. 103—127.
- Перевод с англ.: Миклухо-Маклай Н. Н. Проект развития Берега Маклая//Расы и народы. Вып. 7. М., 1977. С. 283—287. Автор комментариев (с. 287).
- Новая встреча с Океанией//СЭ. 1977. № 6. С. 71—88. То же на англ. яз./*Soviet Anthropology and Archaeology*. Vol. 17. № 3. White Plains, N. Y. Winter 1978/79. P. 75—103.
- Советские этнографы на островах Океании//ИС. 1977, октябрь — декабрь. С. 31—36.
- Soviet ethnographers on the islands of Oceania//Social Sciences*. 1978. № 2. С. 222—224 \*.
- Составитель кн.: Этнографы рассказывают. М., 1978. 167 с.
- Девятая всесоюзная конференция океанистов и австраловедов//СЭ. 1978. № 4. С. 158—160.
- Sovetskaya Etnografiya Journal//Social Sciences*. 1978. № 4. Р. 238—241 \*.
- Художники рядом с исследователями//Вестник АН СССР. 1978. № 9. С. 131—136.
- Материалы первой русской кругосветной экспедиции как источник по истории и этнографии Гавайских островов//СЭ. 1978. № 5. С. 68—84. То же на англ. яз./*Pacific Studies*. Vol. 2. № 2. Laie, Hawaii, 1979. P. 109—131.
- Этнокультурная проблематика на XIV Тихоокеанском научном конгрессе//СЭ. 1980. № 1. С. 160—167.
- On indigenous anthropology in Papua New Guinea//*Current Anthropology*. Vol. 21. № 2. 1980. P. 251—252.
- Однинадцатая всесоюзная конференция океанистов и австраловедов//СЭ. 1980. № 6. С. 147—149.
- Автор статей: «Науру» (с. 182—185), «Кирибати» (с. 185—188), «Тувалу» (с. 188—191), «Западное Самоа» (с. 195—201), «Гавайи» (с. 221—229)//Австралия и Океания. Антарктида (серия «Страны и народы мира»). М., 1981.
- XXVI съезд КПСС и задачи советской этнографической науки (передовая)//СЭ. 1981. № 3. С. 3—10.
- О новом академическом издании сочинений Н. Н. Миклухо-Маклая//СЭ. 1981. № 3. С. 140—143.
- Из истории борьбы Н. Н. Миклухо-Маклая в защиту островитян Южных морей//Расы и народы. Вып. 11. М., 1981. С. 228—236.
- Перевод с англ.: Н. Н. Миклухо-Маклай. Записка о похищении людей и рабстве в западной части Тихого океана//Расы и народы. Вып. 11. М., 1981. С. 236—246. Автор комментариев (с. 246—247).
- О подготовке нового издания сочинений Н. Н. Миклухо-Маклая//ИС. 1981, октябрь—декабрь. С. 27—30.
- О совместной публикации источников по истории и этнографии Аляски, Калифорнии и Гавайских островов//Традиционные культуры Северной Сибири и Северной Америки. М., 1981. С. 266—269. То же на англ. яз./*Cultures of the Bering Sea region: Papers from an international symposium*. N. Y., 1983. P. 283—288.
- Отв. ред. кн.: Плахова М. Л., Алексеев Б. В. Океания далекая и близкая. М., 1981. 254 с. Автор вступит. статьи «Художники на корабле науки» (с. 3—6).
- Bongu: Hundert Jahre sociale und kulturelle Wandlungen in Neuguinea//*Ethnographisch-Archaeologische Zeitschrift*. Vol. 23. № 1. B., 1982. S. 73—94.
- Рец. на кн.: Newbury C. Tahiti Nui. Change and survival in French Polynesia. Honolulu, 1980//СЭ. 1982. № 2. С. 165—167.
- Четвертое межконгрессное совещание Тихоокеанской научной ассоциации//ИС. 1982, январь—март. С. 212—213.
- Составитель кн.: Глазами этнографов. М., 1982. 272 с.
- Inter-Congress of the Pacific Science Association//Social Sciences. 1982. № 3. Р. 212—213 \*.
- Составитель кн.: Miklouho-Maclay N. Travels to New Guinea. Diaries. Letters. Documents. М., 1982. 520 р. Автор вступит. статьи «Miklouho-Maclay and New Guinea» (с. 5—56), комментариев (с. 489—509) и гlossария (с. 511—515).
- Nikolai Miklouho-Maclay: 19th-century Russian anthropologist and humanist//*Royal Anthropological Institute News*. № 51. L., 1982. P. 4—7.
- Отв. ред. кн.: Putilov B. N. Nikolai Miklouho-Maclay. Traveller, scientist and humanist. М., 1982. 240 р. То же на русск. яз. М., 1985. 280 с.
- Soviet scholars on urbanization//Social Sciences. 1982. № 4. Р. 110—122 (совместно с Покшишевским В. В.) \*.
- Новые материалы о Н. Н. Миклухо-Маклае//ИС. 1982, октябрь—декабрь. С. 21—24.
- XV Конгресс Тихоокеанской научной ассоциации//ИС. 1983, апрель—июнь. С. 3—12.
- USSR: the unknown northern neighbour//*Foreign Forces in Pacific Politics*. Suva, 1983. Р. 143—149. 2-е изд.—Suva, 1985. Р. 143—149.
- Тихоокеанский научный конгресс//Обществ. науки. 1983. № 5. С. 222—225.
- Июньский Пленум ЦК КПСС и задачи советских этнографов (передовая)//СЭ. 1983. № 6. С. 3—10.
- Материалы экспедиции М. Н. Васильева — ценный источник по истории и этнографии Гавайских островов//СЭ. 1983. № 6. С. 48—61. То же на англ. яз./*Pacific Studies*. Vol. 6. № 2. Laie, Hawaii, 1983. P. 11—32.
- Pacific Science Congress//Social Sciences. 1984. № 1. Р. 228—230 \*.

- К истории топонима Берег Маклая//СЭ. 1984. № 5. С. 102—106.  
На Пятом Межконгрессном совещании ТНА//ИС. 1985, январь-март. С. 6—10.  
Рец. на кн.: Siikala J. Cult and conflict in tropical Polynesia. Helsinki, 1983//СЭ. 1985.  
№ 1. С. 168—170.
- Fifth Inter-Congress of the Pacific Science Association//Social Sciences. 1986. № 1.  
P. 226—229 \*.
- Общество Миклухо-Маклая в Австралии//ИС. 1985, июль-сентябрь. С. 13—17.  
Gladstone on Miklouho-Maclay//Newsletter of the Miklouho-Maclay Society of Australia.  
Vol. 6. № 4. Sydney, 1985. P. 3—4.
- Отв. ред. кн.: Форстер Г. Путешествие вокруг света. М., 1986. 568 с. Автор коммен-  
тариев (с. 520—549) и заключит. статьи «Вокруг света с капитаном Куком»  
(с. 550—567).
- Letter to the Editor//Newsletter of the Miklouho-Maclay Society of Australia. Vol. 6. № 4.  
Sydney, 1985. P. 15.
- XXVII съезд КПСС и задачи советских этнографов (передовая)//СЭ. 1986. № 4. С. 3—  
13.
- Matka Oseaniaan. Journey to Oceania... Catalogue. Helsinki, 1987. 100 р. (совместно  
с Азаровым А. И., Ивановой Л. А., Путиловым Б. Н., Соболевой Е. С.).
- Выставка Академии наук СССР «Сокровища культуры народов Океании»//ИС. 1987,  
январь-июнь. С. 26—28.
- Traditional and modern means of transport in the Far North-East of the USSR: past  
and present//Pacific Science Association. 5th Inter-Congress. Proceedings. Manila,  
1987. P. 437—445. (совместно с Гуревичем И. С.).
- Выставка «Сокровища культуры народов Океании»//СЭ. 1987. № 6. С. 131—137.
- Наука и социально-экономическое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона//Обществ.  
науки. 1988. № 1. С. 222—225.
- Миклухо-Маклай и его наследие (к 100-летию со дня смерти)//СЭ. 1988. № 2. С. 3—  
15.
- Miklouho-Maclay: a great Russian scholar and humanist//Social Sciences, 1988. № 2.  
P. 175—189 \*.
- Анучин и Миклухо-Маклай (Из истории публикации научного наследия Н. Н. Мик-  
лухо-Маклая)//Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антрополо-  
гии. Вып. 10. М., 1988. С. 5—37.
- Pacific Science Congress//Social Sciences. 1988. № 3. P. 242—244 \*.
- Early Russian explorer's links with Australia and South Pacific//Survey. Vol. 11. № 4.  
Sydney, 1988. P. 13.
- Основные направления этнографического изучения народов Океании в СССР в 1961—  
1986 гг./СЭ. 1988. № 4. С. 141—150. То же на англ. яз./Pacific Studies. Vol. 11.  
№ 2. Laie, Hawai'i, 1988. P. 97—120.



## ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЖУРНАЛА «СОВЕТСКАЯ ЭТНОГРАФИЯ» В ГМЭ

20 января 1988 г. в Государственном музее этнографии народов СССР (ГМЭ) в Ленинграде состоялась конференция читателей журнала «Советская этнография».

Во вступительном слове главный редактор журнала К. В. Чистов предложил вниманию читателей общую концепцию журнала как ее понимает редколлегия: шесть номеров, которые издаются в год, не могут быть шестью сборниками; журнал должен не только отражать развитие советской этнографической науки, но и способствовать кристаллизации новых идей, методов и методик. Поэтому в нем следует в первую очередь публиковать теоретические и обобщающие статьи, статьи по наиболее актуальным проблемам современности, экспресс-информацию о новых находках и открытиях, информацию о научной жизни, обзоры этнографической литературы и рецензии.

К. В. Чистов призвал сотрудников ГМЭ считать журнал органом не только Института этнографии АН СССР, но и всех советских этнографов, обратил их внимание на слабое участие музеиных работников в журнале; так, в нем публикуется мало статей по теории и методике этнографического музееведения, скудна информация о новы экспозициях, передвижных выставках, истории этнографических музеев. Сотрудники ГМЭ, несмотря на свой богатый экспедиционный опыт, не опубликовали ни одной статьи, посвященной национальным проблемам, теории и практике современной обрядности, они не участвуют в дискуссиях, проводящихся в журнале.

В последовавших затем выступлениях участников конференции была дана оценка журналу в целом. Отмечались актуальность публикаций «Советской этнографии», рост читательского интереса к журналу, его демократичность, проявляющаяся, в частности в предоставлении возможности выступить в журнале и молодым исследователям. Были высказаны и конкретные замечания.

Так, А. Б. Островский, сопоставляя журнал «Советская этнография» с другими журналами в системе гуманитарных наук, отметил его большую содержательность, высокий уровень теоретических исследований, в частности концепций, сформулированных Ю. В. Бромлеем, С. А. Арутюновым, Ю. И. Мкртумяном. Выступавший отметил ценность журнала как важнейшего канала профессионального общения между сотрудниками Института этнографии и ГМЭ. Было высказано пожелание больше видеть обзоры зарубежной литературы и материалов, освещающих содержание этнографических архивов.

О. М. Фишман отметила неравномерность распределения публикаций по регионам; так, финно-угорским и балтским народам за последние годы было посвящено всего несколько статей; отсутствует информация о научной жизни такого значительного региона, как Прибалтика. В республиках есть свои журналы на национальных языках, возможно, и другие периодические издания, но они в силу языкового барьера недоступны специалистам. Может быть, «Советской этнографии» стоит чаще публиковать обзоры и рецензии на республиканские журналы или сборники трудов.

Далее выступавшая отметила, что на страницах журнала недостаточно освещена работа ГМЭ, проводимая им по музееведению. Музей мог бы предложить статьи по вопросам каталогизации, по комплектованию фондов, по методике полевой работы. По мнению О. М. Фишман, необходимо активнее публиковать материалы по музееведению 20—40-х годов, т. е. вернуться к забытым именам и школам. О. М. Фишман также высказала пожелание улучшить иллюстративное оформление журнала.

А. Б. Кунанбаева, отметив разнообразие журнальных публикаций, считает, что среднеазиатский материал в «Советской этнографии» представлен значительно лучше по сравнению с другими регионами. Указав, что в стране выходит очень много литературы на национальных языках, что исключает возможность широкого ознакомления с ней, она высказала пожелание ввести в практику журнала реферирование хотя бы наиболее общих работ. А. Б. Кунанбаева поддержала идею о необходимости публикаций музеиных материалов 20—40-х годов, что не только восстановило бы историческую справедливость, но и способствовало введению в научный оборот ранее недоступных материалов. Выступавшая отметила ценность дискуссионного раздела, поскольку он позволяет сопоставлять различные точки зрения.

Э. А. Корсун напомнила о принятом Всесоюзной научной конференцией «Этнографическая наука и пропаганда этнографических знаний», посвященной 70-летию Ве-

линого Октября, проходившей в 1987 г. в Омске, предложении увеличить периодичность журнала до 12 номеров в год.

Т. Ю. Сем отметила незначительный объем публикуемых журналом материалов по Сибири и Дальнему Востоку, недостаточность информации о деятельности сибирских музеев, отсутствие публикаций преподавателей Педагогического института им. А. И. Герцена в Ленинграде, где ведется подготовка кадров для Дальневосточного и Сибирского регионов. Было высказано пожелание, чтобы журнал помещал публикации зарубежных авторов по проблемам Севера. Т. Ю. Сем подчеркнула, что этнография связана со многими смежными науками, но по смежным дисциплинам публикации в журнале редки.

Б. В. Иванов выразил удовлетворение сотрудничеством «Советской этнографии» и ГМЭ, отметив, что ни одна работа, посланная в журнал, не была возвращена как несостоятельная, и пожелал, чтобы дальнейшее сотрудничество было еще активным.

Далее Б. В. Иванов высказал предложение, чтобы в состав редакколлегии вошел представитель ГМЭ. Музей приравнен к научно-исследовательскому институту первой категории, поэтому участие его сотрудника в составе редакколлегии представляется целесообразным.

Директор музея И. В. Дубов отметил, что «Советская этнография» выгодно отличается от других журналов тем, что в ней печатаются работы исследователей из различных регионов нашей страны, а не только из Москвы и Ленинграда. Он подчеркнул, что у музея должны быть более тесные связи с редакцией. Поступающие в журнал публикации пока носят спонтанный характер. ГМЭ — ведущий центр музейной работы — должен определять основные направления этнографического музееведения и иметь свой раздел в журнале. И. В. Дубов пожелал, чтобы такие встречи стали более регулярными, и не только с главным редактором, но и с другими членами редакколлегии, а также с авторами наибольше интересных статей.

К. В. Чистов, отвечая на вопросы и выступления, заметил, что предложение об участии сотрудников ГМЭ в составе редакколлегии журнала очень существенно, но редакколлегия утверждается один раз в пять лет. Однако музей уже сейчас мог бы выделить в помощь редакколлегии сотрудника, который способствовал бы своевременному отражению научной жизни музея в журнале с помощью статей, информаций, сообщений. Пока это функцию приходится выполнять редакколлегии.

Отвечая на вопрос И. И. Шаниной, связанный с проведением дискуссий, К. В. Чистов выразил готовность редакции высыпать ксерокопии дискуссионных статей для активизации участия в дискуссиях сотрудников ГМЭ. Наряду с этим К. В. Чистов призвал участников конференции к более активному сотрудничеству с журналом в освещении экспозиционной и выставочной работы не только ГМЭ, но и других музеев СССР и за рубежом, где бывают сотрудники ГМЭ. Журнал не располагает штатом корреспондентов, и потому вся информация поступает от различных авторов — сотрудников Института этнографии, музеев, высших учебных заведений и др.

Говоря о неравномерно «представленных» региональных материалах в журнале, главный редактор отметил, что здесь многое зависит не столько от личных контактов членов редакколлегии, сколько от личной инициативы на местах. Отвечая на пожелание видеть на страницах журнала больше публикаций из различных регионов страны, К. В. Чистов выразил сожаление, что республики неохотно откликаются на просьбы редакции, хотя в Армении, Грузии, Эстонии и других республиках имеются сильные научные школы и серьезные работы по этнографии, которые публикуются на национальных языках.

Сейчас в связи с оживлением культурной деятельности в стране и созданием Фонда культуры необходимо заняться вопросами краеведения 20—30-х годов. Что же касается освещения в журнале фондов музея, то журнал, конечно, не сможет печатать каталоги, но охотно опубликует сообщения об «уникальных предметах» или группе памятников. Косянувшись издания избранных статей из журналов, К. В. Чистов заметил, что основополагающие статьи, возможно, и стоит перепечатывать. Такой опыт уже есть.

Решением ЦК КПСС, продолжал К. В. Чистов, при Секции общественных наук создан Центр по изучению национальных отношений, редакколлегия считает нужным ввести в журнале раздел, который мог бы отражать работу этого центра; для такого раздела желательны также сообщения с мест, в том числе и из ГМЭ.

Говоря об обзорах литературы, главный редактор отметил, что у журнала нет штатных рецензентов и обозревателей. Редакколлегия ждет инициативы читателей, в том числе и сотрудников ГМЭ.

**Л. Н. Молотова**

## **СОВЕТСКО-ФИНСКИЙ СИМПОЗИУМ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ**

4—7 мая 1988 г. в Турку (Финляндия) состоялся X Советско-финский симпозиум по социально-экономическим проблемам. По сложившейся традиции в подобного рода симпозиумах принимает участие ограниченное число специалистов и собираются они поочередно в Финляндии и в Советском Союзе. Каждый раз для обсуждения намеча-

ются две основные темы, актуальные для ученых той и другой страны. Обычно на симпозиумах происходит не только обмен фактами, информацией о том или ином круге источников, но и обмен методическими идеями, результатами исследований.

Для симпозиума 1988 г. было намечено две темы, предопределившие и состав участников, и характер дискуссии,—«Традиционное хозяйство доиндустриального периода и природа» и «Миграции и методы их изучения». Обе темы, как следует из их формулировок, в равной степени близки историкам, занимающимся социально-экономическими проблемами, и этнографам, изучающим хозяйствственно-экологические проблемы и проблемы миграций, формирование населения определенных районов, их традиции и т. д. (миграции — это всегда перемещение не только людей, но и их культурно-бытовых традиций). Поэтому нельзя считать случайным, что в составе советской делегации были и этнографы (Э. Э. Эпик — Таллин, Л. А. Думпе — Рига, К. В. Чистов — Ленинград), и известные специалисты по проблемам миграций и исторической географии (Я. Е. Водарский, Р. Н. Пуллат — Таллин, А. А. Эйдинтас — Вильнюс), и историки, совмещавшие интерес к обеим проблемам (Э. В. Тарвел — Таллин, В. Е. Возгрин и В. В. Лапин — Ленинград). С финской стороны кроме историков (Ю. Лаппалайнен, П. Вирранкоски, Р. Керо, С. Юнгари, А. Юнтуунен и др.) активное участие в симпозиуме приняли известные этнографы — И. Талве, М. Ясчинен и др.

Первый день работы симпозиума, после официального обмена приветствиями (Ю. Лаппалайнен и Р. Н. Пуллат), открылся докладом Э. В. Тарвела «Влияние природной среды на сельскохозяйственное производство в Эстонии в XIII—XVI вв.». Докладчик посвятил свое выступление критике упрощенных представлений о генезисе трехполья. Ссылаясь, в частности, на опыт польских историков, Э. В. Тарвэ показал, что в Эстонии также длительное время существовало двух- и трехполье, причем и того, и другого крестьяне придерживались не очень строго, поэтому применительно к этому периоду следует говорить об архаическом и неупорядоченном трехполье. Систематическое же трехполье начинает появляться, по мнению докладчика, не ранее XV в. Определенное влияние на этот процесс оказали как ливонские войны, так и системы налогообложения.

В докладах М. Торнберг (Турку) «Климат и развитие сельскохозяйственного производства в Финляндии», Э. Эпик «Природная среда и сельскохозяйственное производство в Эстонии в XVIII в.» и Л. А. Думпе «Экологический фактор и традиционная хозяйственная деятельность в Прибалтике в XIX в.» обсуждалась роль различных факторов в формировании локальных экологических ситуаций (изменение климата, нарушение экологического равновесия в результате истощения лугов, высвобождения участков из-под моря, совершенствование системы удобрения почвы, прогресс сельскохозяйственной техники, социальные факторы и др.). Дискуссия по этим докладам показала, что даже для ограниченных в историческом отношении периодов трудно выделить какой-либо один из перечисленных факторов или даже их комплекс в качестве преобладающего.

В докладе В. Е. Возгриной «Связь между природой и производством на Русском Севере (XVI—XVIII вв.)» и Т. Мюллентаус «Использование природной энергии в доиндустриальной Финляндии» затрагивались интереснейшие проблемы сложного сочетания экофильных и экофобных традиций и навыков, характерных для архаического крестьянского хозяйства.

По докладам развернулась оживленная дискуссия, которая показала, однако, что принципиальных методических расхождений по большинству затронутых вопросов у финских и советских историков нет. Экологические проблемы в их историческом и современном значении привлекают все большее внимание ученых и в той, и в другой стране. Это дало возможность обсудить способы и средства совершенствования исследований, обменяться важнейшими фактами, которые могут считаться надежно установленными.

Формулировка тем докладов, круг источников, которые использовали докладчики, и способы их обработки и интерпретации продемонстрировали еще раз происходящее во многих странах заметное сближение историко-культурных, историко-социальных и этнографических исследований (ср. работы французской школы «Annal», скандинавско-западногерманской «Volkstraditionfixierungstheorie», в СССР — исследования новосибирских историков и др.).

Второй день симпозиума, как уже говорилось, был посвящен проблеме миграций. Заметим при этом, что данная проблематика весьма важна для понимания существенных особенностей не только русской, но и финской истории. Не случайно в Турку уже несколько лет существует специальный институт по изучению миграционных процессов. Были прочитаны доклады А. А. Эйдинтаса «Роль эмиграции из Литвы. 1868—1915 гг.», Р. Керо «Финская эмиграция в США», «Методологические проблемы исследования истории миграции в Финляндии», В. В. Лапина «Воинская повинность и миграция населения России в XIX в.», Я. Е. Водарского «Миграционные процессы в России, Прибалтике и Финляндии в XVII — начале XX в.», П. Мякиля «Использование церковных источников при исследовании миграционного движения».

Среди перечисленных особенно выделялись доклады Я. Е. Водарского и Р. Керо. Добротное знание источников и соответствующей литературы сочтось в них с четкостью методических идей. Я. Е. Водарский представил обстоятельный обзор причин развития миграций в разные периоды истории России, связь их с экономическими, социальными и политическими факторами. Он показал ложность распространенного в прошлом в России, а в наше время и в работах некоторых зарубежных историков психологического съяснения миграций («бродяжничество», свойственное загадочному русскому характеру), необоснованность преувеличения значения монастырей в истории

лонизации окраин и одновременно роль миграций в истории классовой борьбы в оссии, включая крестьянские войны XVII—XVIII вв.

Р. Керо остановился на анализе исторически менявшихся причин миграции из Финляндии в США, в частности на роли воинской повинности. Весьма содержательными или его анализ состояния источников, как финляндских, так и американских, оценка измеров незарегистрированной эмиграции через Швецию и значения реэмиграции, которая достигала 15—25% мигрантов.

Внимание участников симпозиума привлек также доклад В. В. Лапина, продемонстрировавший роль армии и воинской службы в развитии миграций, а также роль иммиграции как экономического фактора, воздействовавшего на хозяйствственные ситуации в которых губерниях России, особенно западных. Он коснулся также роли отставных ляд в миграционных процессах.

А. А. Эйдитас построил свой доклад на документах, выявленных им в архивных анилищах США. Он показал, как сложно переплеталась так называемая «трудовая иммиграция» с миграцией, обусловленной социальными и политическими причинами.

Следует отметить прекрасную организацию работы симпозиума. Здесь, несомненно, играла свою роль сложившаяся традиция предварительного ознакомления с материалами предстоящего симпозиума, ограниченное число участников, их открытая заинтересованность в обсуждавшихся проблемах и то внимание, которое проявляли учебные заведения и общественные организации Турку к проходившему симпозиуму.

В заключение двусторонней встречи состоялось обсуждение тем следующего, XI симпозиума, который намечен на 1990 г. в Вильнюсе. По обоюдному согласию приняты две темы: «Формирование национальной интеллигенции в Финляндии, Прибалтике и оссии» и «Производство сельскохозяйственных продуктов и торговля ими в восточной части Балтийского моря в XIX—XX вв.».

**К. В. Чистов**

### **III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОМИТЕТА ПО ЭТНОГРАФИЧЕСКОМУ ИЗУЧЕНИЮ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

С 5 по 10 апреля 1988 г. в г. Мишкольце (ВНР) состоялась очередная III Международная конференция Комитета по исследованию этнографического изображения при Международном обществе этнологии и фольклора Европы (МОЭФЕ). Конференция была проведена совместно с Отделом по исследованию визуальной культуры Музейного управления Боршодской области и Музеем имени Отто Германа.

Институт этнографии АН СССР с 1967 г. является коллективным членом Международного общества этнологии и фольклора Европы и принимает активное участие в его деятельности. Директор института Ю. В. Бромлей является вице-президентом МОЭФЕ и вместе с Л. М. Дробижевой входит в состав Бюро Административного совета МОЭФЕ.

В последнее время в отечественной и зарубежной этнологии значительно возрос интерес к относительно новым видам этнографических источников, в частности к иконографическим. Как правило, визуальный материал привлекался в качестве иллюстративного и рассматривался как предмет народного творчества. По этой причине исследовались немногие виды изобразительного искусства, а также узкий круг проблем. Созерценно новый подход к изучению иконографического материала был продемонстрирован на первой конференции, состоявшейся в 1984 г. в г. Лунд (Швеция); ее результаты были опубликованы в недавно вышедшем сборнике «Человек и изображение»<sup>1</sup>. На этой конференции был поставлен вопрос об исследовании коммуникативной функции изобразительного материала; в таком понимании важен не столько анализ внешних достоинств «картинки», сколько степень ее воздействия на человеческое сознание и роль в жизни общества. Вторая конференция, которая состоялась в 1986 г. в г. Геттингене (ФРГ), уточнила сведения об истории, распространении, функциях и значении технических средств производства европейских народных картинок.

Основная тема третьей конференции — «Изобразительные традиции — народные традиции». Целью мероприятия было рассмотреть визуальную культуру крупной социальной группы — крестьянства. Особое внимание было обращено на традиционные познания, относящиеся к изображению и его применению. В понятие «этнографическое изображение» («картинка») были включены гравюры, книжные иллюстрации, скульптура, настенные росписи, фотографии и т. д.

В работе конференции приняли участие 34 ученых из 14 стран Европы: ВНР, ГДР, НРБ, СРР, СССР, ЧССР, Австрии, Бельгии, Дании, Западного Берлина, Испании, Норвегии, ФРГ, Швеции. На церемонии открытия участников приветствовал президент МОЭФЕ, норвежский фольклорист Р. Квиделанд, который отметил регулярность созываемых международных мероприятий в рамках общества и связал это с успешным проведением II конгресса МОЭФЕ в 1982 г. (Сузdal).

<sup>1</sup> Man and Picture. Papers from the First International Symposium for Ethnological Picture Research in Lund 1984. Stockholm, 1986.

Основу научной программы конференции составили те выступления, которые были непосредственно связаны с аспектами этнографического исследования изобразительного материала. К ним относится прежде всего доклад шведского ученого Н.-А. Бригеса «Каргинка как исторический источник». Докладчик отметил, что большую роль в Швеции и других европейских странах сыграла книга Амоса Коменского, изданная 1658 г. в Германии, в ней на 152 гравюрах изображены сцены труда крестьян. Многие шведские популярные гравюры были созданы по аналогичным образцам и имели саму непосредственную связь с рабочим календарем крестьянина и годичным циклом его сельскохозяйственных работ. Наиболееенным фактологическим материалом был и доклад С. Ко вачевича (ЧССР) «Картинки как источник непрерывности народного искусства». Основной целью выступавшей было показать историческое развитие народного искусства в Словакии на примере почти 10 000 изображений, определить связь между культурой различных слоев общества, место и значение историко-этнографического метода, символику различного рода визуальных источников. Экскурс в далекое прошлое проделал В. Брюкнер (ФРГ), обратившись к крестовому походу против крестьян в XIII в. На широком изобразительном материале он попытался вскрыть идеологическую мотивировку преследования крестьян со стороны церкви.

В следующих сообщениях картина служила иллюстрацией повседневного образа жизни крестьян, а также их обычаем и обрядов.

В итоге сравнительного анализа символьских изображений на предметах домашнего быта крестьян — посуде, мебели, свадебных сундуках и т. п.— К. Чиллерн (ВНР) в докладе «Картинка в моей деятельности как исследователя-этнографа» пришла к выводу, что они дают ценный материал для исследования основных традиционных институтов сельской общины. Об этом же говорил австрийский ученый Л. Петзольд («К проблеме изображения крестьянских обычаяв: на примере одного народного праздника»). Даже такой тривиальный вид изобразительного искусства, как почтовая открытка XIX—XX вв., по мнению Г. Волфа (ФРГ), отражает многочисленные обряды народов Европы («Народные обряды на почтовых открытках»).

На сравнительно небольшом материале А. Хартманн (ФРГ) удалось показать, как важно не просто увидеть в картинке иллюстрацию того или иного обряда, но и определить его социальную значимость. Именно поэтому он продемонстрировал иллюстрации одной книги XIX в. («Изображения танцующих крестьян»), которые являются источником сведений о характере жителей Альтенбурга: их лица, жесты, позы создают исторически стереотипный образ крестьянина. Как отметил докладчик, важно не то, как одет крестьянин, а как он стоит. Ту же мысль продолжает М. Андерсен (Дания), более полно раскрывая проблему самоутверждения крестьянства в буржуазной Дании XIX в. на примере широкого изобразительного материала. При этом он показывает не столько тенденцию сохранения народных традиций, сколько стремление перенять городскую, преимущественно мещансскую, интерпретацию образа жизни и манеры поведения, что особенно отразилось в элементах одежды.

Объектом исследования чехословацкого ученого Р. Ержабека стали чешские и моравские рукописные книги рубежа XVIII—XIX вв. («Маргинации: к методологии народной иконографии»), большинство которых относится к периоду национального Возрождения. На примере иллюстраций книги 1831 г. автор поставил проблему классификации этих иконографических источников с точки зрения той социальной среды, в которой они создавались.

В докладе «Венгерский крестьянин как восточная тема» К. Синко (ВНР) показала, как постепенно складывался образ крестьянина в национальной культуре XIX—XX вв., подтвердив это различным фольклорным материалом. В сообщении О. Дагголовой (ЧССР) «Пейзаж как тема народного искусства» идиллические картинки на стекле 50—70-х годов XIX в. предстали как яркий пример фольклоризации профессионального художественного стиля в сельской среде. Они носят черты графических традиций этого художественного стиля XIX в., который отвечал «улучшенному» провинциальному вкусу. В целом они являлись выражением романтических идеалов сельской общины, поэтизацией прошлого, тем самым компенсацией банальности повседневной жизни.

Следующую группу составили доклады, ориентирующиеся на выявление культовых предназначения изображения. Цель сообщения испанского ученого Д. Переса «Апотропейские печатные листы в Испании» — проанализировать барселонские и каталонские картинки XVIII—XX вв., имевшие религиозную функцию. Адресуя их определенному святому, люди искали защиту против болезней, природных катастроф и «дьявола ского духа». В докладе анализ наиболее важных элементов этих изображений дополняется исследованием других источников, превращающих популярные картинки в настоящие «объекты силы». По существу их можно сравнить и с русскими апокрифическими картинками, которые распространялись преимущественно в старообрядческой среде того же времени.

Ряд изображений на культовых сооружениях продемонстрировал румынский ученый Л. Марку («Некоторые аспекты визуальной антропологии: на примере погребальных монументов из Сапинты в Марамуреше»). Автор предложил своеобразный материал цветные изображения на надгробиях сопровождаются стихами, в которых повествует о жизни покойного. Известный под названием «Веселое кладбище» вследствие красочности картинок и текста стихотворных биографий, этот погребальный комплекс в Северо-Западной Румынии дает уникальную возможность познакомиться с проявлением народного способа мышления. Изображения должны не только обессмертить покойного и увековечить историческую память. К докладу Л. Марку примыкает доклад Л. Микова (НРБ) «Антropоморфная ритуальная пластика: знаки, символы, мастера», по

зященный ритуальным атриутам в славянской культурной традиции периода позднего средневековья. На обширном материале, включающем религиозную символику усских, украинских, польских, болгарских и других народных обрядов, он убедительно показал социальную универсальность этих антропоморфных изображений.

Многие картинки XIX в. как бы иллюстрируют те или иные черты материальной культуры крестьянского населения Саксонии, Баварии, Швейцарии (доклад Г. Бенкера, ФРГ, «Изображения хозяйственных дворов»). В Швеции виды традиционной усадьбы тужили не просто частью живописного интерьера крестьянских домов первых десятилетий XIX в., они несли сведения о постройках в прежние времена, садах, украшениях омов (выступление К. Хемингса, Швеция, «Изображение усадьбы художником из Упланда: его работы и легенды о нем»). Картины такого рода были особенно популярны у шведских эмигрантов в США: они помогали сохранять память о далекой одине и были распространены вплоть до начала второй мировой войны.

Продолжительными дискуссиями сопровождался доклад М. Пельтцера (Бельгия) «Интерпретация русской картинки XVIII—XIX вв.». Сатирическая графика 1812 г. была представлена как образец «академического» искусства. Сопоставляя ее с традиционными видами народного творчества, а также с западной иконографией (преимущественно английской), автор дала свое «прочтение» русских картинок 1812 г. Их создали, по ее мнению, идеализировали образ русского крестьянина, представляя его как символ моральных ценностей и прогивополагая его «бессовестному» иностранному авоевателю. Эта идеализация подтверждается цитатами из прессы того времени. Логичным продолжением этого выступления был доклад Т. А. Ворониной (СССР) «Место и функции лубка XIX в. в системе народной культуры». Докладчица остановилась на тех причинах, которые в 20—60-е годы XIX в. обусловили тематический спектр лубочных картинок, и на особенностях их бытования среди горожан и крестьянства. Она подчеркнула важность историко-этнографического аспекта исследования проблемы, который позволяет более четко выявить роль лубка в жизни общества, его официальную обусловленность и ориентированность. Это предполагает также определение связи лубка с другими областями культуры (устный фольклор, народное и профессиональное искусство и т. д.). Интерес к русскому лубку не случаен. Он вызван значительным сходством отечественного материала с западноевропейской иконографией. Этот факт стал поводом для ряда публикаций за рубежом и продолжающихся исследований в последние годы, особенно после ретроспективных выставок лубка во многих странах Европы.

В группе других докладов была дана оценка работам профессионального уровня: С. Пиеске (ФРГ) — «Особенности жанровой графики XVIII—XIX вв.»; К. Бозель (ГДР) — «Дети в картинках». Особое внимание Г. Тюсеш и Э. Кнапп (ВНР) уделили текстам, сопровождающим серию иллюстраций из книг «чудес» эпохи барокко.

В течение XX в. и особенно после второй мировой войны произошли существенные изменения во всех областях жизни, что запечатлела фотография. В 50—60-е годы она становится одним из средств выражения массовой культуры. Это стало темой еще одной группы докладов. Фотография отражает не только наиболее важные личные моменты, но зачастую передает хронику общественной жизни локальной этнической группы (Э. Вайнлих, Австрия, — «Фотография как часть народного обряда»). В другом случае она рассматривается как источник для более полного раскрытия этнической идентификации, например фотографии венгров, живущих в США (М. Хоппаль, ВНР, — «Визуальная антропология: рефлексивность в антропологии»). Венгерский ученый Э. Кунт использовал фотоснимки в качестве таких символов культурной идентификации, как память и забывание («Вспомнить и забыть: на примере семейных фотографий венгерских крестьян»). В докладе У. Хейсинг-Пильсинг (ФРГ) «К проблеме частной фотографии» говорилось о появлении определенных стереотипных форм.

В качестве еще одного визуального источника было привлечено телевидение. Так, в докладе К.-Д. Рат (Западный Берлин) «Жизнь крестьян в программе телевидения — телевидение в жизни крестьян» говорилось о том, как крестьяне используют телевидение для борьбы за свои права (например, активно выступают против употребления химических средств в сельском хозяйстве).

Все доклады сопровождались демонстрацией слайдов, видеофильмов, но некоторые отличались излишней иллюстративностью и не ставили конкретных проблем. Заключительная дискуссия показала различные подходы: часть специалистов была склонна рассматривать картинку очень узко, другие же призывали этнографов привлекать адекватный инструментарий других дисциплин. С их точки зрения, этнографы должны изучать не только народную (популярную) визуальную культуру, но и развитие визуальной семиотики. Поэтому решено было разработать более точные определения таких терминов, как «картинка», «изображение», «визуальная антропология», «визуальная культура».

В итоге состоявшихся выступлений многие западные коллеги отметили небольшой объем информации о ведущихся в социалистических странах и особенно в СССР исследованиях: резюме периодических журналов этих стран явно недостаточны. В такой ситуации международные конференции МОЭФЕ позволяют обменяться информацией, дополнить библиографический багаж той или иной области науки и в целом осуществить плодотворную научную кооперацию с целью дальнейших совместных исследований.

Т. А. Воронина

## ПОЛЕВАЯ СЕССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ЧАСТИ ИНСТИТУТА ЭТНОГРАФИИ АН СССР

2 февраля 1988 г. в Ленинградской части Института этнографии АН СССР состоялась очередная сессия по итогам полевых исследований ЛЧ ИЭ 1987 г. На сессии были прочитаны 13 докладов, в которых освещался широкий круг вопросов традиционной современной культуры народов СССР и некоторых зарубежных этносов, а также методика сбора полевого материала.

Во вступительном слове руководитель Ленинградской части Ин-та этнографии Р. Ф. Итс отметил, что полевые исследования института в 1987 г. велись не только на территории СССР, но и в ряде зарубежных стран. В них участвовали сотрудники не только Института этнографии, но и Государственного музея этнографии народов СССР, других научных учреждений, а также студенты кафедры этнографии и антропологии ЛГУ.

Выступление Е. А. Алексеенко было посвящено полевой работе Туруханской группы Института в Туруханском районе Красноярского края. Это был второй сезон сбора материала по традиционному мировоззрению кетов. В докладе приводились примеры новых данных, важных для реконструкции системы традиционного мировоззрения кетов, а также его проявления в современной жизни. Докладчица затронула также вопросы методики сбора полевого материала по данной теме в условиях современно этнографического поля.

Г. Н. Грачева рассказала о Колымской экспедиции в Верхне- и Нижнеколымский районы Якутской АССР, проводимой совместно с лингвистами ЛО Института языкоznания. Тема экспедиционных исследований — «Этнолингвистическая ситуация у народов Крайнего Севера». Сбор данных проводился по программе, позволяющей путем сопоставления установок, взглядов, оценок, сравнения черт народных традиций судить о сохранении специфики каждой народности, степени утраты ею языка и культуры, степени национального самосознания. По словам докладчицы, много внимания уделялось старым экологическим установкам, направленным на сохранение флоры и фауны территории обитания.

Доклад В. П. Дьяконовой был посвящен работе Совместной Тувинской историко-культурной экспедиции (ЛЧ ИЭ, ТНЦ ЯЛИ). Экспедиция проходила в Пий-Хемском районе, в Северо-Восточной части Тувы. Программа полевых исследований имела комплексный характер. Были получены материалы по фонду тувинских этнонимов, ХК1 аборигенных и пришлых групп. Особое внимание уделялось изучению тувинцев групп Маады, Байкара, Оюн, Тюлюш. Выявлены особенности их происхождения, занятий семейно-брачные связи, конфессиональная специфика. Собирался также материал по культуре и быту русского старожильческого населения. По теме «Отгонное животноводство Тувы» получены данные по структуре чабанских бригад, хозяйственным комплексам, условиям быта семей чабанов. Получены данные по фольклору по программе «Тувинские мифы, легенды и предания».

В. И. Дьяченко и Н. В. Ермолова во время экспедиции в Амурскую область собирали материал по традиционной и современной этнографии эвенков и якутов. Основной аспект исследования — функционирование народных традиций в современной культуре. Также собран материал по этнокультурным контактам якутов и эвенков, по современной хозяйственной деятельности и языковой ситуации этих народностей.

О работе Приамурско-Тихookeанской группы, проводившей сбор полевого материала по традиционной и современной культуре коренных прибрежных жителей Камчатки, рассказал руководитель группы Ч. М. Таксами. Основное внимание докладчик уделил вопросам этнических традиций в хозяйственной деятельности, в материальной культуре, народно-прикладном искусстве, природопользовании. В результате полевых исследований были также получены материалы, отражающие современное состояние экономики и культуры коренных жителей Корякского автономного округа. Во время экспедиции проводилась работа по пропаганде этнографических знаний (лекции и беседы с местным населением, с работниками окружного радио и окружной газеты, выступление по местному радио).

Сообщение Е. Г. Федоровой было посвящено полевым исследованиям у ивдельских манси (Свердловская область), проводившимся совместно с сотрудниками МГУ (НИИ и Музей антропологии) и Томского государственного университета (Проблемная лаборатория истории, археологии и этнографии). Докладчица остановилась на особенностях сохранившихся жилых и хозяйственных построек традиционного типа, традиционной одежды, средств передвижения.

Ю. В. Кнорозов рассказал о работе Курильского отряда, который в 1987 г. продолжил начатые ранее изыскания в области материальной культуры предполагаемых предков айнов. Были выявлены и обследованы древние селения и входящие в них про мысловые угодья, святилища на о. Итуруп. Главное внимание было удалено поискам пиктографических надписей.

А. Б. Спекаковский, руководитель Южно-Курильского отряда, сообщил о палеоантропологических и палеоэтнографических исследованиях на о. Шикотан. Предварительные исследования показали, что по антропологическому типу население состояло на о. Шикотан отличается от древнейшего и сближается с континентальными жителями Восточной Сибири, хотя по зубной системе, а также по способам захоронения и элементам культуры оно может быть соотнесено с айнами. Докладчик

считает, что на юге Курильских островов произошло смешение двух различных популяций, обитавших в пределах Дальневосточного региона на рубеже новой эры.

А. Е. Финченко рассказал об итогах экспедиции в Тарногский район Вологодской области и Шенкурский район Архангельской, проведенной сотрудниками сектора этнографии восточных славян. Исследовались различные аспекты материальной и духовной культуры двух локальных групп — «кокшаров» и «ваганов». В результате проведенного обследования были выявлены границы расселения этих групп в конце XIX — начале XX в., установлен ряд элементов сложной системы их этносоциальных связей. Выявлены и некоторые специфические особенности культуры «кокшаров» и «ваганов», что в значительной мере разрушает укоренившееся в этнографии мнение о «монолитности» русского этноса в центральных и северо-восточных районах Русского Севера. Собрана коллекция (около 200 предметов), иллюстрирующая различные стороны материальной культуры исследуемых локальных групп.

Об итогах работы Таджикского отряда в северных районах Таджикской ССР рассказал начальник этого отряда Р. Рахимов, отметивший, что основное внимание уделялось сбору материала по форме и структуре современной сельской семьи у таджиков, а также по развитию тюркско-иранского двуязычия у населения г. Самарканда. Докладчик высказал предположение о том, что этноязыковая ситуация, которая сложилась в г. Самарканде в наше время, по-видимому, не совсем адекватно отражает реальную этнодемографическую картину. Проблема этнолингвистических процессов в г. Самарканде требует дальнейших исследований.

Выступление А. В. Курбанова было посвящено результатам экспедиции в южные районы Туркмении. Получены полевые этнографические материалы, относящиеся к социальным институтам туркмен в конце XIX — начале XX в., в том числе к традиционной военной организации. Собрана также информация по половозрастной стратификации традиционного и современного туркменского общества, воспитанию в семье, играм у туркмен в прошлом и настоящем. Проанализированы некоторые моменты современных отношений между туркменами среднеазиатского массива и туркменами Северного Кавказа, в частности основы заключения брака. В докладе были также затронуты вопросы постановки музыкального дела в сельских школьных музеях, в которых сосредоточены значительные исторические и этнографические ценности, о необходимости помочь этим музеям со стороны Института этнографии АН СССР.

Н. Е. Грысык

## ПЕРВЫЕ ФИННО-УГОРСКИЕ ЧТЕНИЯ

С 1 по 3 марта 1988 г. в Ленинграде состоялись первые финно-угорские чтения, организованные по инициативе Государственного музея этнографии народов СССР, при участии Ленинградской части ИЭ АН СССР и Ленинградского отделения Института археологии АН СССР. В качестве основных были заявлены две темы: итоги и перспективы финноугроведения в Ленинграде и координация научно-исследовательских направлений. В работе чтений участвовали этнографы, археологи, лингвисты, фольклористы, музыканты и историки 10 научных учреждений Ленинграда.

В ходе чтений было заслушано 38 докладов и сообщений информативного и проблемного характера, посвященных историографии и современному состоянию финно-угроведения, междисциплинарному исследованию этнокультурных процессов, опыту и методике современного изучения культуры финно-угорских народов и их контактов со славянами, тюрками и самодийцами.

Со вступительным словом выступил К. В. Чистов (ЛЧИЭ), давший оценку исследований в области финноугроведения и их связей со славянской проблематикой с XIX в. по сегодняшний день. Отметив, что г. Ленинград — старый центр финноугроведения, где в настоящее время сложились серьезные исследовательские кадры, К. В. Чистов поддержал идею организации чтений.

А. И. Терюков (ЛЧИЭ) в докладе «Финно-угорская этнография в Петербурге — Ленинграде» проследил основные этапы становления и развития отечественного финно-угроведения, начиная с деятельности А. М. Шёгрена, П. И. Кеппена и др. до 30-х годов XX в., когда активное этнографическое обследование осуществлялось ленинградским обществом исследователей культуры финно-угорских народов (ЛОИКФУН) и Этнографическим отделом Русского музея (ныне ГМЭ народов СССР).

В сообщении Г. Н. Грачевой (ЛЧИЭ) был сделан обзор выступлений ленинградских исследователей на VI Международном конгрессе финноугроведов; докладчик отметил нехватку специалистов в области финно-угорсамодийской лингвистики.

К. В. Чистов осветил научную и научно-организационную деятельность В. Штайница, известнейшего лингвиста, фольклориста, этнографа ГДР, явившегося основоположником современного финноугроведения в ГДР, организатора Академии наук ГДР, ряда гуманитарных институтов, в том числе Финно-угорского института при Берлинском университете.

В докладе И. П. Шаскольского (ЛОИИ) сделан аналитический обзор дореволюционной и советской научной литературы, посвященной исследованию истории Финляндии. Поворотными в изучении этой темы стали 60-е годы XX в., когда ученые Петрозаводска, Москвы, Ленинграда подготовили труды по важным историческим про-

блемам XIX — начала XX в. (Л. Б. Суни, М. Н. Власова, А. С. Жербин, В. В. Похлебкин). Этому способствовали советско-финляндские симпозиумы, регулярно проводимые с 1966 г.

Итоги сорокалетней деятельности филологов ЛГУ по изучению русских говоров Северо-Запада, составлению и изданию словарей говоров Карелии, Псковщины, Поморья, Пинежья и бассейна Печоры, топонимике Русского Севера были изложены в докладе А. С. Герда (ЛГУ).

И. П. Сорокина (ЛЧИЯЗ), подводя итоги современного изучения самодийских языков, дала реферативный обзор опубликованных и наиболее важных работ, оценила современный этап как начало сопоставительных самодийских штудий. Определенный научный потенциал для организации подобной работы в Ленинграде заключается в национальных кадрах научной интеллигенции, подготавливаемой кафедрой народов Севера ЛГПИ им. А. Герцена.

Новаторский характер носили доклады ряда археологов, этнографов и музыколов по Северо-Западу. В докладе Е. Е. Васильевой (ЛГИК им. Н. К. Крупской) «Вепсская мелострофа в межэтнических отношениях причетной традиции» рассматривалась специфический музыкально-песенный феномен, устойчиво существующий в фольклоре карел, вепсов, отчасти ижор. Композиционная идея мелострофы, будучи не связана с определенным этносом, типом культуры и языка, в конкретном структурно-intonационном виде выявляется по материалам авторского исследования как достояние не только прибалтийско-финской, но и русской традиции Заонежья и Пинежья.

В. А. Лапин (ЛГИТИМ), отталкиваясь от устойчивых и этнически определяемых структурных стереотипов в фольклоре вепсов и карел — вепской мелострофы и карельских рун, поставил проблему историко-этнической интерпретации музыкально-фольклорных материалов. По мнению автора, подобный подход дает возможность «прочтения» русских традиций, сформировавшихся на иноэтнической основе, и определения относительной исторической глубины подобных процессов.

В докладе Т. А. Бернштам (ЛЧИЭ) «Формирование русских регионально-локальных вариантов культуры в процессах межэтнического взаимодействия» проблема контактов славян (русских) с финно-угорскими народами ставится на примере двух регионов: Северо-Запада и Поволжья, где русское население отдельных областей либо не входит в локально-культурные группы русского народа (Поволжье), либо границы районов его расселения неопределенны (юго-запад Севера). В докладе определены задачи предпринятого в настоящее время изучения локальных групп Русского Севера, их этнических компонентов и «субстратов». Докладчик анализирует мужские и женские сферы народной культуры русского и финно-угорского населения, в которых отражены их межэтнические контакты (эпос и другие формы фольклора, бытовой уклад, религиозный синcretизм).

Основное внимание в докладах археологов было уделено проблемам изучения финно-угорского населения Северо-Запада в эпоху средневековья, характеристики этно-культурных процессов и реконструкции взаимодействия древних племенных общностей со славянами.

В докладе Г. С. Лебедева (ЛГУ) «Археологическое изучение средневековых древностей Ленинградской области (1968—1988 гг.)» подведены итоги новейших полевых изысканий и намечены узловые проблемы северорусской и финно-угорской тематики. По мнению докладчика, исторические судьбы полиглотического населения региона в VIII—XI вв. определялись «балтийской субконтинентальной цивилизацией», проводником которой являлась древняя Ладога. Важнейшей задачей исследований должно стать создание целостной картины средневековых древностей Ленинградской области и сопредельных территорий.

Доклад Е. А. Рябинина (ЛОИА) был посвящен вопросам историко-археологического изучения летописных финно-угорских этнических объединений Северо-Запада — води, карелы, ижоры и веши. В результате полевых работ в зоне расселения современной води на западе Ленинградской области удалось впервые выявить оригинальные памятники, относящиеся к I тыс. н. э. и свидетельствующие об участии в этногенезе древней води западной группы прибалтийских финнов. О дифференциации средневековой води от своих западных сородичей свидетельствуют самобытные памятники XII—XV вв., а материалы XVI—XVII в.—о трансформации племенной общности в народность.

Д. А. Мачинский (Гос. Эрмитаж) в докладе «Роль финноязычного населения бассейнов рек Волхова и Великой в формировании этносоциального организма „Русь“ в VIII—IX вв.» на основе комплексного анализа материалов археологии, письменных источников и топонимических данных предпринял попытку реконструкции финно-угорских племенных образований средневекового Поволжья и бассейна р. Великой, высказав предположение об установлении связей местных прибалтийских финнов с проникавшими на их земли скандинавами уже в VIII—IX в.

В докладе Н. В. Хвощинской (ЛОИА) «Погребальный обряд финского населения западной окраины Новгородской земли» дается характеристика исследованного ею могильника у д. Залахтovье на восточном берегу Чудского озера. Памятник подтверждает существование на этой территории обособленного финноязычного населения, близкого древнеэстонскому населению с западного побережья озера, но в начале II тыс. н. э. оказавшегося в древнерусском этническом окружении.

Доклад А. И. Саксы (ЛОИА) был посвящен итогам и перспективам археологического изучения древних карел, которое особенно активизировалось в 1970—1980-е годы и в ряде случаев принесло качественно новую информацию о сложении древне-

карельской общности: в частности, о преемственности «классической» карельской культуры XII—XIV вв. и местных прибалтико-финских древностей I тыс. н. э.

В докладе О. И. Коньковой (ГМЭ) приведены некоторые результаты раскопок 17 средневековых памятников ижор на южном побережье Финского залива. Грунтовые кладбища расположены, как правило, рядом с современными ижорскими поселениями; обнаружены специфические элементы обрядов и некоторые вещи. По мнению автора, материалы раскопок позволяют предполагать спорный процесс формирования ижоры и поставить вопрос о более раннем, чем считается, выделении ижор из древнекарельского «ядра».

Результатам систематического этнографического обследования жилища русского и прибалтико-финского населения Ленинградской обл. за 1980—1985 гг. был посвящен доклад Н. В. Ушакова (ЛЧИЭ). Основной вывод докладчика заключается в обнаружении двух региональных комплексов жилища XIX — начала XX в.: западнорусского у води, ижор и финнов в западных районах Ленинградской обл. и севернорусского у вепсов и карел в восточных районах; граница комплексов проходит по Волховскому району. Определенной спецификой отличаются жилые комплексы поздних переселенцев эстонцев и финнов-суюми.

В сообщении М. Г. Сметанина освещена деятельность дирекции объединения музеев Ленинградской области (1983—1987 гг.) по сбору этнографического материала у вепсов, води, ижор и финнов в связи с созданием экспозиций и выставок в районных центрах (города Тихвин, Кингисепп) и предполагаемым строительством историко-этнографического заповедника в д. Лампово.

Оживленную дискуссию вызвал доклад С. А. Беляева и Н. К. Рогожиной (ГМЭ) «Праздник „Дерево жизни“». К проблеме сохранения и развития вепской культуры», в котором авторы, как устроители праздника, состоявшегося 14—15 июня 1987 г. в Подпорожском районе Ленинградской области, изложили художественные задачи и общественное значение праздника, а также резолюцию научно-практической конференции. Основной вывод докладчиков — необходимость систематического проведения подобных праздников как реальной и эффективной формы сохранения и развития вепской культуры, языка, этнического самосознания.

В докладе О. А. Кондратевой (ГМЭ) «Древние традиции в изготовлении некоторых предметов туалета у крестьян Северной России XVIII—XX вв.» изложены конкретные этногенетические выводы об отражении в зооморфных коньковых гребнях, бытовавших у русского и финского населения региона, общих культурно-бытовых традиций и верований, уходящих корнями в эпоху активных славяно-финских контактов IX—X вв. Сопоставление археологических и этнографических материалов дало возможность установить преемственность некоторых типов, устойчивость ряда этнических признаков.

Основные итоги изучения карел Верхневолжья историками, лингвистами и этнографами обобщены в докладе О. М. Фишман (ГМЭ). Опыт системного подхода к исследованию культуры карел позволил автору определить факторы образования общих и специфических элементов этнической традиции, дать их характеристику, выявить этногенетические соответствия в культуре верхневолжских и североуральских (Средняя Карелия) карел. Новый этап в изучении карельского субэтноса автор связывает с исследованием механизма воспроизведения культуры в таких устойчивых признаках группы, как язык, самосознание, образ жизни, этническая психология и обрядовая культура.

Дискуссионной проблеме генезиса саамов было посвящено два доклада: В. Я. Шумкина (ЛОИА) «Истоки формирования народности саами», в котором докладчик на основе анализа археологических источников разных эпох приходит к выводу, что бытующее представление о былом широком распространении саамов и их активном участии в этногенезе других народов не подтверждается современными научными данными.

В докладе А. Н. Анферьева (ЛЧИЭ) на основании письменных источников (Тацит, Иордан, Олаус Магнус) ставится вопрос о южной границе расселения саамов в I тыс. н. э. Характеристика образа жизни местного населения на основании этих источников дает основание предполагать, что описывается «финны» (саамы) восточной части Балтийского моря. Тем самым южной границей их расселения можно считать юг современной Ленинградской области.

В части докладов затрагивались общие и частные вопросы этнической истории и этнокультурных контактов в Поволжско-Уральском регионе.

В докладе В. А. Лапшина (ЛОИА) рассмотрен вопрос об участии летописной мери в сложении древнерусского населения Волго-Окского междуречья. Сделан анализ памятников, документирующих начало взаимодействия мери со славянами, постепенную их ассимиляцию в ходе массовой земледельческой колонизации Сузdalского Ополья и полное растворение в среде новопоселенцев в начале II тыс. н. э.

Г. Н. Романова (ГМЭ) дала итоговую характеристику культурного и этнического взаимодействия коми с их соседями — ненцами, хантами, манси и русскими, начиная со времени появления коми на новых территориях проживания до сегодняшнего дня. Анализируя основные результаты этих процессов, докладчик приходит к выводу об их адаптационном характере.

Э. А. Корсун, Л. Л. Добрачева (ГМЭ) в докладе «Этнокультурные связи коми и русских (на примере набивных тканей XIX — начала XX в.)» выделяют общие и специфические закономерности в развитии производства тканей, в терминологии, сюжетах и элементах орнаментальных композиций.

В докладе Л. М. Лойко (ГМЭ) введены в научный оборот полевые материалы, собранные докладчиком у группы так называемых бавлинских удмуртов, переселивших-

шихся в XVII в. с территорией современной Южной Удмуртии в сопредельные районы Татарии и Башкирии. Л. М. Лойко выявляет характер тюркско-финно-угорских контактов в сфере традиционно-бытовой культуры (поселения и жилище, одежда), терминологии родства, элементах этнического самосознания.

Основные итоги современного изучения контактных зон Поволжья и Приуралья, осуществляемого с 60-х годов по настоящее время сотрудниками ГМЭ народов СССР, подведены в докладе Е. Н. Котовой (ГМЭ). Главные выводы доклада: в контактных зонах (КЗ) сохраняются наиболее архаичные элементы традиционно-бытовой культуры, зачастую утраченные на территориях, заселенных основным этническим маслом; КЗ ярче всего иллюстрируют характер современных этнических процессов.

А. Ю. Заднепровская (ГМЭ) в докладе «Сравнительное изучение украшений финно-угорских народов Среднего Поволжья» подводит итоги дифференцированного сопоставления названного компонента традиционной культуры у мордвы и марийцев в соответствии со структурой комплексов украшений, основными типами изделия, материалом, техникой изготовления, способами ношения, семантикой, характером бытования. В числе этнических специфических черт докладчик указывает на предпочтение определенных материалов для изготовления украшений и сочетание этих материалов, избирательность конкретных форм, декоративных, цветовых и орнаментальных решений.

В докладе С. А. Старostenкова (ЛЧИЭ) «Этноконфессиональное движение Кугу сорта среди марий. Хронология мифическая и реальная» время существования данной религиозной группы выявляется с позиций собственно этнической традиции представлений о начале и конце истории. Докладчик пересматривает начальную дату активной пропаганды Кугу сорта среди различных групп марий.

Источниковедческий характер носили сообщения Л. Л. Добрачевой (ГМЭ) «История комплектования и атрибуции коллекций по мордовской этнографии» К. Ю. Соловьевой (ГМЭ) «Вклад С. И. Руденко в изучение обских угров».

Е. Г. Федорова (ЛЧИЭ) анализирует историю изучения материальной культуры марси отечественными и зарубежными исследователями. Докладчик предполагает осуществить сравнительное исследование традиционно-бытовой культуры всех групп марси, выявить общее и специфическое.

Этногенетический аспект изучения детских колыбелей предложен в докладе Л. В. Хомич (ЛЧИЭ) «Колыбель угросамодийских народов как историко-этнографический источник». Изучение конструкций колыбелей дало основание докладчику предположить, что истоки происхождения данного предмета у самодийских, а возможно, и угорских, и тунгусских народов следует искать в оленеводческой культуре Южной Сибири.

Этнические традиции в современной художественной промышленности Прибалтики — такова тема доклада М. Л. Засецкой (ГМЭ). Анкетные обследования различных предприятий Эстонии, Латвии и Литвы 1983—1987 гг. позволили автору осуществить классификацию современного промышленного производства с целью выявления в нем региональных и этнических традиций. Основной акцент был сделан на анализе художественной промышленности ЭССР.

Лингвистические и фольклорные изыскания ленинградских специалистов были представлены на чтениях в основном угросамодийской тематикой. Л. Г. Афонина (ЛЧИЯЗ) сделала сообщение «Место инганасанского языка в системе уральских языков». В докладе А. И. Гашилова (ЛГПИ) дана оценка современной этнолингвистической ситуации у верхнетазовских селькупов (Красноселькупский р-н Красноярского края), изложены факторы, способствующие сохранению языка и других традиционных явлений культуры. Он сообщил также, что в начальных классах местных школ в настоящее время сочли возможным ввести преподавание селькупского языка на верхнетазовском диалекте.

М. П. Баландина (ЛГПИ) рассмотрела героический эпос хантов и марси как исторический источник, проанализировала основные сюжетные линии эпоса, определила типические черты и функции героев богатырей.

Доклад Е. Г. Пушкаревой (ЛГПИ) был посвящен слабо изученному явлению в фольклорной традиции марийцев — личным песням, которые докладчик представляет как переходный жанр от собственно фольклорного произведения к авторскому. В докладе поставлены вопросы происхождения личных песен, определены особенности их исполнения и бытования, проанализированы поэтические средства.

О значительном интересе к междисциплинарному обсуждению финно-угорской проблематики свидетельствовали прежде всего число и состав участников чтений, количество присутствующих на заседаниях (более 200 человек), активное обсуждение выступлений и конкретные предложения о перспективах сотрудничества представителей различных гуманитарных направлений, формах и возможностях координации научных исследований в Ленинграде.

В заключение работы чтений была принята резолюция, в которой одобрялся опыт проведения первых финно-угорских чтений, отмечался в целом высокий профессиональный уровень специалистов, актуальность тематики, традиционно связанный в Ленинграде с изучением Северо-Запада (финно-угры и славяне), а также с угросамодийской. Признано целесообразным проведение регулярных чтений как формы координации специалистов различных учреждений Ленинграда и других центров финноугроведения, создание постоянно действующей рабочей группы из представителей ЛЧИЭ, ЛОИА, ГМЭ народов СССР, ЛГУ, ЛГИТИМК, ЛЧИЯЗ и Дирекции объединения музеев Ленинградской области. Следующие чтения состоятся в 1990 г. и будут посвящены 100-летию со дня рождения Д. В. Бубриха.

Е. А. Рябинин, О. М. Фишман

# РАБОТА СЕКЦИИ СЛАВЯНСКОГО ЭТНОГЕНЕЗА ЛЕНИНГРАДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАУЧНОГО СОВЕТА АН СССР ПО КОМПЛЕКСНЫМ ПРОБЛЕМАМ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ И БАЛКАНИСТИКИ

За 10 лет деятельности совета (с 1976 по 1986 г.) археологи, историки, лингвисты, фольклористы и этнографы 9 раз собирались, чтобы обсудить проблемы этногенеза и ранней истории славянства. Начало было положено в 1976 г. большим и обстоятельным докладом Д. А. Мачинского «Современное состояние проблемы происхождения славян и перспективы ее разрешения», во многом определившим дальнейшую деятельность секции этногенеза совета.

В докладе был представлен анализ трех систем этногенетических источников — лингвистических, исторических, археологических.

Обзор данных лингвистики позволил докладчику присоединиться к мнению тех языковедов, которые предполагают существование балто-славянского языкового единства в III—I тыс. до н. э., накануне единства общеславянского. Балто-славянские предки исторических славян на рубеже новой эры обитали, по мнению докладчика, восточнее Западного Буга, севернее Днестра и украинской лесостепи, южнее Западной Двины и вплоть до верховьев Десны и Оки на востоке. Общеславянский язык был реальностью по меньшей мере до X в.

Анализ письменных исторических источников показывает, что славянство существовало в условиях функционирования двух постоянных миграционных потоков на его пограничье — регулярной «пульсации степи» (каждые 200—300 лет в Европу с востока вторглась новая волна кочевников) и фиксируемого с III в. до н. э. по V в. н. э., хотя и не столь регулярного, передвижения населения южной Прибалтики на юго-восток, в восточное Прикарпатье, в область украинских черноземов и в Нижнее Подунавье.

Впервые на исторической арене славяне (или их непосредственные предки) появились под именем венетов. Сведения о венетах юго-восточной Прибалтики в трудах Плиния и Птолемея, восходя к концу IV—I в. до н. э., вряд ли имеют прямое отношение к истории славян. Более вероятно тождество славян или их предков с венетами Тацита, хотя пока и оно недоказуемо. Тацит обрисовал ситуацию, относящуюся к 50—80-м годам I в. н. э., и поместил венетов в так называемую зону «обоядного страха», лежавшую между германцами и сарматами, т. е. между Вислой и Днепром. Д. А. Мачинский вслед за рядом польских исследователей выступил против прямого отождествления венетов с носителями пшеворской культуры, видя в последних скорее соответствие племенному союзу лугиев.

Древнейшее достоверное событие в истории славянства — война рекса готов Германарики в IV в. с венетами (по Иордану, непосредственными предками антиков и склавинов), которые тогда были расселены к востоку от Западного Буга и среднего Немана, западнее верховьев Оки и к северу от украинской лесостепи. Анты, с которыми готы столкнулись в конце IV — начале V в., тоже обитали, по-видимому, в юго-западной части этой области.

Около 512 г. склавины отмечены Прокопием в области, непосредственно прилегающей с севера и востока к Карпатам. Западнее находилась большая пустующая область. С начала VI в. огромные массы славянства двинулись на юг, в Подунавье. Склавины отмечены в 520—540 годах на Дунае к западу от Железных Ворот, а анты — в нижних водах Дуная. В конце 540 годов анты были вытеснены склавинами из Подунавья к востоку, за Днестр. А склавины во второй половине VI в. расселились по всему Подунавью, достигли верховьев Вислы, затем Эльбы и Балтийского побережья. В конце VI — начале VII в. византийская армия, а вслед за ней какие-то группы романоязычного населения («волохи» русской летописи), поддержанные аварами и антами, переходят в контрнаступление против склавинов. Часть населения Дунайского левобережья переселилась на юг, в Грецию, часть ушла на северо-восток, встречая здесь отдельные группы древнего славянского, балто-славянского и балтского населения. В VII—VIII вв. двинулась на восток и часть славян Повисленья. К VIII в. и те и другие достигли озера Ильмень и верховьев Оки.

Изучение археологических материалов, по Д. А. Мачинскому, подтверждало данные письменных источников о миграционных потоках в пограничье праславянского (балто-славянского) мира. Но и в его пределах, и в зонах, где зафиксированы исторические славяне, состается целый ряд «белых пятен».

Со II в. до н. э. по II в. н. э. среднее течение Западного Буга было границей двух культурных областей — восточной и западной. К западу находились пшеворская и оксыцкая культуры, а к востоку — близкая им зарубинецкая в Поднепровье и весьма отличные от них культуры лесной зоны — штрихованной керамики и днепро-динская.

Ко времени, описываемому Тацитом, зарубинецкая культура прекратила существование, и в зоне «страха и ужаса», где должны были обитать венеты, практически отсутствуют памятники середины I — середины II в. н. э. По мнению Д. А. Мачинского, не обнаружено археологического единства и в западной части зоны расселения славян-венетов и славян-антов IV в.; лишь в восточной ее части известны поселения и могильники, объединяемые в «памятники киевского типа» и сохранившие некоторые зарубинецкие традиции. Основная часть их синхронна с образовавшейся южнее черняховской культурой III—IV вв. Последняя, по мнению докладчика, вряд ли имеет прямое отношение к славянскому этногенезу, и ее сопоставление с антами IV—VI вв. неправомерно.

Склавины, зафиксированные Прокопием в начале VI в. к северу от Карпат и л. нижнем Дунае, тоже не имеют археологических соответствий, их древности невозможны выделить среди памятников славянской культуры второй половины VI в., эпохи актического расселения славян. Это культуры керамики пражского типа или типа Корчака, а также типа Пеньковки в восточной части ареала, распространенные от Эльбы до Среднего Днепра. К северу от Корчака и Пеньковки, в зоне прежнего расселения славян-венетов, лежит культура типа Колочина, возможно, как и памятники типа Пеньковки, тоже восходящая к культуре «киевского типа».

Отмечено письменными источниками обратное движение славян в середине VII–VIII в. с Дуная на северо-восток находит лишь слабые и косвенные подтверждения в археологическом материале.

В заключение Д. А. Мачинский упомянул о некоторых данных фольклористики и этнографии, позволяющих утверждать, что «дунайский эпизод» оставил заметный след в сознании и культуре восточных славянства. Отмеченные «белые пятна», где отсутствуют памятники, соответствующие появляющимся на исторической арене славянским племенам или их непосредственным предкам, совпадают с зонами их военной экспансии.

Большинство выступавших в дискуссии го докладу Д. А. Мачинского приветствовали прежде всего примененный докладчиком принцип — отдельное рассмотрение трех систем источников и сопоставление лишь наиболее строго синхронизированных результатов.

Краеугольным камнем концепции Д. А. Мачинского был тезис о балто-славянской единстве. Тема заседания совета, состоявшегося в апреле 1977 г., была следующей: «Проблема балто-славянских отношений и этногенез народов Центральной и Восточной Европы». Хотя прочитанные там доклады носили частный характер, дискуссия вилась в обсуждение широких проблем, в частности методических: о соотношении данных лингвистики и археологии.

Выступавшие во время дискуссии языковеды В. М. Мокиенко и В. В. Колесов говорили, что археологи, пользуясь работами лингвистов, зачастую представляют себе глоттогенетические процессы несколько упрощенно, в то время как тот или иной этнический может охватывать группу носителей различных, подчас смешанных диалектов. В выступлении Г. А. Хабургова прозвучала та же мысль о реальном сосуществовании разнообразных диалектов, в том числе и смешанных, в частности балто-славянских. Таким, например, мог быть язык ятвягов. Аналогичная картина, возможно, существовала на каждом предшествующем этапе развития прайзыка. Заметим, что приведенной постановке вопроса проблема прародины может вообще отпасть.

Как отмечали в своих выступлениях археологи, лингвисты тоже нередко понимают их упрощенно. Пользуясь археологическим материалом, языковеды принимают лишь одну из возможных версий и зачастую недоучитывают тот факт, что большинство археологических культур восходят сразу к нескольким культурным явлениям.

К сожалению, за 10 лет это был, пожалуй, единственный случай столь откровенного обмена мнениями между представителями различных дисциплин. Чаще происходил лишь обмен информацией о последних достижениях в той или иной области.

Осенью 1977 г. на заседании «Балтийские славяне и Русь» историки и археологи обсуждали конкретные данные о контактах балтийских и восточных славян в раннем средневековье. В 1978 г. на заседании «Палеославистика и проблемы этногенеза славян» в основном излагались результаты исследований лингвистов в Полесье. Выступали Н. И. Толстой, А. В. Десницкая, Г. Я. Семина и др. Однако докладов, претендующих на создание целостной картины славянского этногенеза, здесь не было.

В конце 1980 г. на заседании совета под общим названием «Между скифами и славянами» выступали только археологи. А. Ю. Алексеев в докладе «Конец Великой Скифии» показал, что в начале III в. до н. э. (не позднее 275 г. до н. э.) почти одновременно исчезают степные и лесостепные памятники скифского типа. Вывод весьма важный, поскольку он ставит под сомнение широко бытующий тезис о перерастании культуры скотов лесостепи в зарубинецкую культуру.

Проблеме происхождения последней был посвящен доклад К. В. Каспаровой. Согласно ее данным, формирование зарубинецкой культуры происходит в первые десятилетия II в. до н. э. и завершается к 170–150 годам до н. э. Этот процесс протекал в бурной обстановке, когда после круха «Великой Скифии», павшей под ударом сарматов, «скифский вакuum» попытались заполнить другие народы, выходцы из северо-восточной части Центральной Европы. Такая обстановка нашла отражение и в письменных источниках — в Ольвийском декрете Протогена и в известиях о «bastarnах-пришельцах». С последними докладчица связала зарубинецкую культуру.

Таким образом, зарубинецкая культура, считавшаяся многими археологами славянской, «выпадала» из процесса славянского этногенеза. Впрочем, не полностью. Потомки ее носителей сыграли в нем определенную роль, что было продемонстрировано М. Б. Щукиным, в докладе «Конец зарубинецкой культуры и его последствия» обрисовавшим ситуацию, возникшую в украинской лесостепи в первые века нашей эры. В середине I в. н. э. новая волна миграций сарматов на запад привела к распаду единства зарубинецкой культуры. Часть ее территории запустела, часть была занята сарматами. Остатки зарубинецкого населения искали спасения в пограничье лесостепной и лесной зон, постепенно утрачивая признаки, унаследованные от зарубинецкой культуры. Одновременно в глубине лесной зоны происходит трансформация днепровско-двинской культуры в среднетушемлинскую. По мнению докладчика, все население лесостепной и лесной зон, включая постзарубинецкое, носителей среднетушемлинской культуры Смоленщины и культуры штрихованной керамики Белоруссии и Восточной Литвы,

соответствует венетам Тасита, жившим «между бастарнами и феннами». К концу II в. происходит интеграция различных постзарубинецких групп в киевскую культуру Среднего Поднепровья, Подесенья и лесостепного Левобережья, в формировании которой известную роль должны были сыграть выходцы из более северных районов.

Наконец, Е. А. Горюнов и М. М. Казанский в совместном докладе «Памятники киевского типа и раннеславянские культуры» доказали, что киевская культура стала основой для формирования трех очень близких по общему и структуре раннеславянских культур — пеньковской, колочинской и корчакской.

После заседания 1980 г. стало ясно, что многие явления и процессы, представлявшиеся Д. А. Мачинскому в 1976 г. несколько смутными, постепенно начали приобретать более четкие очертания. Назревала необходимость нового синтеза.

Попыткой осуществить его был доклад М. Б. Щукина «О трех путях изучения проблемы этногенеза славян в археологии», зачитанный на заседании совета в 1984 г. Археологи, указал автор, используют в своей работе ретроспективный метод, они выстроили две «цепочки» преемственных культур, уходящих в эпоху бронзы: западную (польскую) и южную (украинскую). Но в обоих случаях между отдельными звенями цепочек наблюдаются хронологические разрывы, а культуры, непосредственно предшествующие раннеславянским, особенно сильно отличаются от них по структуре. Столь резкая утрата всех культурных традиций маловероятна у моноэтничного населения. В лесной зоне Восточной Европы подобного явления не наблюдается, там культурные традиции значительно более устойчивы. Но лесные культуры расположены в зоне балтской топонимики и поэтому считаются балтскими. Если же принять тезис о наличии балто-славянского единства, этот «балтский барьер» становится проницаемым. В таком случае можно считать перспективным путь, намеченный П. Н. Гретьяковым (от зарубинецкой культуры к киевской, минуя черняховскую), но с одним уточнением. Киевская культура имеет два корня, один из которых восходит к зарубинецкой культуре, а второй — к культурам лесной зоны. Но произошло ли в рамках именно этой культурной общности отделение балто-славянских диалектов от балтских или славянских от балто-славянских?

На том же заседании совета Д. А. Мачинский обратил внимание еще на один момент. С конца I в. н.э. лесную зону «пронизывают» некие взаимные культурные импульсы между Прибалтикой и Поднепровьем-Подоньем. О них можно судить, например, по распространению фибул «прусской серии» конца I в. н.э., по ранним типам изделий с эмалью (III в.) и др. Позднее такого рода импульсы по торгово-военно-сакрально-дипломатическим путям играли немаловажную роль в сложении Древней Руси. Возможно, начало подобным контактам было положено именно в эпоху выделения славянства из довольно аморфной балто-славянской среды населения лесной зоны, способствуя процессам, о которых шла речь в докладе М. Б. Щукина.

Следует упомянуть еще об одном заседании совета. Оно состоялось в 1985 г. и было посвящено проблеме так называемых «Велесовых книг». Как докладчик (А. А. Творогов), так и все участники дискуссии выразили большое сомнение в достоверности этого источника.

Заседание совета, прошедшее в апреле 1986 г., было посвящено культурно-историческим контактам населения лесной зоны Восточной Европы в середине I тысячелетия н. э. А. Н. Анферьев в докладе «Лесная зона Восточной Европы по данным Тасита и Иордана» рассказал о различиях в сохранившихся списках труда Иордана и выразил сомнения в достоверности сведений готского историка о народах лесной зоны, якобы завоеванных Германарием в IV в.

О завоеваниях в данном случае действительно судить трудно, но И. А. Бажан в докладе «К распространению некоторых типов поясного убора» показал, что некоторые типы пряжек и наконечников поясов III—IV вв., происходящие из Южной Прибалтики, проникают не только по пути движения готов на юг, но и далеко на восток, достигая Поволжья и вызывая там местные подражания. Контакты в последнем случае, вероятно, осуществлялись по одному из тех торгово-сакрально-военных путей, о которых говорил Д. А. Мачинский на заседании 1984 г.

Проблеме контактов Поволжья с украинской лесостепью в VIII в. было посвящено и сообщение О. А. Шегловой «О восточных связях памятников волынцевского типа».

Г. С. Лебедев сделал доклад «Прусы, русы, чудь». По его мнению, все три названия представляют собой германские этносоциальные термины, перенесенные на вновь формирующиеся в балтской, славянской и финской среде этносы.

Подводя итоги десятилетней деятельности совета, можно констатировать, что в значительной мере именно в его рамках происходило формирование новой «лесной» концепции происхождения славянства (создаваемой, правда, по преимуществу археологами). Основной цели — объединения представителей различных дисциплин и создания обобщающего труда по славянскому этногенезу — пока достигнуто не удалось. Но не исключено, что ее удастся осуществить в не столь отдаленном будущем.

М. Б. Щукин

## КОРОТКО ОБ ЭКСПЕДИЦИЯХ

В 1987 г. этнографы Казанского государственного университета провели свой 41-й полевой сезон в сельских районах Марийской и Чувашской АССР (руководитель экспедиции — Е. П. Бусыгин). В ходе экспедиции группа из трех научных сотрудников и шести студентов побывала в трех районах МАССР (Горномарийский, Юринский, Кильмарский) и девяти районах ЧАССР (Вурнарский, Канашский, Красноармейский, Красночетайский, Маринско-Посадский, Моргаушский, Цивильский, Чебоксарский, Ядринский). Опрошено свыше 300 человек, проживающих на территории 26 сельских Советов.

Программа экспедиционных исследований, проводившихся этнографами КГУ по теме «Этнокультурные процессы в Среднем Поволжье», включала два блока вопросов. Первый был нацелен на изучение традиционной культуры русского населения, и в частности русской сельской семьи и семейной обрядности конца XIX — начала XX в. (руководитель — Н. В. Лештаева). Был применен метод расспроса сельских жителей в возрасте от 70 до 90 лет, знающих традиционные ритуалы. Опрос велся с помощью специально составленного этнографического вопросника, отдельные разделы которого касались внутрисемейных взаимоотношений (имущественные отношения, главенство, распределение трудовых ролей и т. д.), а также семейной обрядности (родильной, свадебной, погребальной). Материал оформлен в виде полевых записей и дополнен статистическими сведениями, полученными в сельских Советах. Данные свидетельствуют о некоторых локальных различиях в семейно-бытовой сфере русских края в зависимости от их расселения и культурно-бытовых взаимовлияний с поволжскими народами, выявляют некоторые закономерности поведения семейного коллектива в иноэтническом окружении.

Во второй блок вошли вопросы, связанные с изучением современных межнациональных отношений в семейно-брачной сфере (руководитель — Г. Р. Столярова). Был произведен опрос 136 межнациональных брачных пар, попавших в выборочную совокупность в результате предварительного многоступенчатого отбора. В выборку попали разнообразные варианты национально-смешанных семей (с участием русских, поволжских народов, других национальностей Советского Союза); пропорционально представлены основные социально-профессиональные и возрастные

группы лиц, образующих национально-смешанные семьи в сельских районах Марийской и Чувашской АССР. Опрос проходился при помощи стандартизированного вопросника «Этнокультурные процессы в национально-смешанных семьях», (составлен автором и апробирован в предшествующие полевые сезоны), в который в качестве основных вопросов включены социально-демографические характеристики, материальные условия жизни, внутрисемейные отношения, досуг, языковые процессы, этническое самосознание. Сбор материалов в ряду разделов (пища, праздничная, календарная и семейная обрядность) осуществлялся методом расспроса.

Изучение бытовой сферы жизни национально-смешанных семей в сельских районах Чувашской и Марийской АССР подтвердило полученные ранее на материалах Татарской АССР выводы о преобладании интеграционных процессов в формировании и развитии быта этнически смешанных семей, об усилении интернационалистических проявлений в быту и самосознании членов национально-смешанных семей. В ходе экспедиционного изучения национально-смешанных семей удалось выделить несколько зон этноконтактов: зона двусторонних чувашско-марийских контактов; зоны преимущественно русского влияния; зоны преимущественного влияния коренной национальности.

Экспедиционные материалы, полученные по традиционной культуре и современным культурно-бытовым процессам, позволяют очертить западную границу Среднего Поволжья, определяемую этнографами КГУ в рамках Волго-Уральской историко-этнографической области как территорию Казанского Поволжья (термин был введен при изучении традиционной культуры) — своеобразного региона, исторически сложившегося в условиях первоначального расселения русских в среде коренных поволжских народов и сохранившего свои особенности до настоящего времени.

Все полученные в ходе экспедиции материалы переданы в архив этнографического музея КГУ и будут использованы в публикациях и научных докладах членов этнографической группы.

Г. Р. Столярова

\* \* \*

С 10 августа по 25 сентября 1987 г. в Монголии в соответствии с планами научного сотрудничества между АН СССР и АН МНР в рамках Комплексной Совет

ско-Монгольской историко-культурной экспедиции продолжал работу этнографический отряд в составе А. М. Решетова (нач. отряда), Г. С. Авакьянц (Ленинград) и А. Е. Пахутова (Москва).

Члены отряда вместе с монгольскими коллегами Г. Цэрэнханд и Г. Мэнэсом собирали полевой этнографический материал по теме «Современные этнокультурные процессы в МНР» у хотогойтов в Хубсугульском (Цээрлэг сомон), у хотонов и дюрбетов в Убсунурском (Тариалан и Тургэн сомоны), у казахов, тувинцев, алтайских урянхайцев в Баянульгийском Цэнгэл и Буянт сомоны, г. Ульгий), у чанту, казахов в Кобдоском (Буянт сомон, г. Кобдо) аймаках. Повсеместно опрашивались и халха.

В основу работы положен региональный принцип обследования. По согласованной между советскими и монгольскими учеными программе, с учетом временных рамок полевых исследований каждый регион посещался однажды. Поэтому материал собирался по широкой программе (история заселения региона, этнический состав, изменения административно-территориального деления, хозяйство, материальная и духовная культура, семья и т. д.).

В гг. Ульгий, Кобдо и Улан-Баторе изучались смешанные браки, быт городского населения различных национальностей.

Материалы собирались методом наблюдений и бесед с информаторами. Всего было проинтервьюировано свыше 30 человек, преимущественно лиц пожилого возраста.

Материалы, собранные в полиглоссических по составу населения западных аймаках, позволяют глубже обосновать выдвиннутое раньше положение о том, что среди монголоязычных народов МНР ведущим является процесс формирования единой монгольской нации на основе халха. Для народов страны в целом характерен процесс формирования единой интернациональной общности независимо от языковой принадлежности входящих в нее народов. В структуре этой общности определенное место занимают тюркские народы, компактно расселенные преимущественно на западе страны.

Казахи — второй после халха по численности народ (свыше 100 тыс. чел), играющий важную роль в социально-экономической и общественно-культурной жизни Монголии, консолидируются здесь в самостоятельную этническую единицу. Прочьные позиции у них сохраняет родной язык в общественном, производственном

и семейном быте. Распространены не только многие отдельные элементы, но даже комплексы традиционной казахской культуры, подразделений *кереготов* и *найманов*. Это особенно касается жилища и пищи, мужской одежды, некоторых видов традиционных занятий, например охоты с беркутом, а также песенно-танцевального фольклора. У казахов Монголии широко распространены национальные имена. Ряд традиций, сформировавшихся в свое время под влиянием ислама, ныне воспринимаются казахами как этнические. Вместе с тем среди казахов все большее распространение получают монгольский язык и монгольская культура.

У тувинцев также сохраняется четко выраженное этническое самосознание (самоназвание — *дыва*). Хотя они живут среди казахов и говорят на родственном языке, однако между тувинцами и казахами сближения не происходит. С переходом на один из диалектов монгольского языка тувинцы меняют национальное самосознание и начинают причислять себя к алтайским урянхайцам. В прошлом эти два народа исповедывали ламаизм, что способствовало формированию общего конфессионального самосознания и общих черт культуры, а ныне является основой для интеграции тувинцев в состав алтайских урянхайцев.

Экспедиционные материалы дают возможность расширить и углубить этнографическую характеристику хотонов и алтайских урянхайцев, а также утверждать, что чанту являются не узбеками, как официально принято считать в МНР, а уйграми.

Все члены отряда работали в аймачных и различных сомонных музеях. Особенно тщательно были изучены этнографические коллекции Убсунурского, Баянульгийского, Кобдоского аймачных музеев и Цэнгэльского сомонного музея. Были сделаны на магнитофоне записи тувинского и чантусского фольклора. У тувинцев записаны сказки и фрагмент шаманского камлания, у чанту — сказки и свадебные песни. Проведено фотографирование этнографических объектов (жилище, одежда, утварь).

Для МАЭ собрана хотя и немногочисленная, но довольно ценная этнографическая коллекция предметов традиционной культуры монгольских и тюркских народов Северо-Западной Монголии.

Полевые материалы, включающие дневники с записями, рисунки, фотопленки, слайды сданы в архив Ленинградской части Института этнографии АН СССР.

**А. М. Решетов**



## КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ И ОБЗОРЫ

Е. А. Веселкин

### ЛЮДИ В НАУКЕ

[по поводу книги А. А. Никишенкова

«Из истории английской этнографии.

Критика функционализма». М., 1986. 215 с.]

А. Купер, видный ученый, много работавший в британской антропологической традиции и знающий британскую этнографию «изнутри», в свое время написал о ней историографическую монографию «Антрапологи и антропология». В качестве «включенного наблюдателя» он провел исследования в академическом «буше». Неизвестно, где автору было труднее проводить исследования — на Ямайке, в пустыне Калахари или среди своих коллег в академической общине. Однако его горькие признания в связи с неоднозначной и во многом резкой реакцией академической общественности на книгу свидетельствуют о том, что труд историографа не всегда можно назвать благодарным.

Тот факт, что «наблюдатель» и «информанты» говорили на одном языке и пользовались одним академическим жаргоном, отнюдь не предрасположил автоматически к установлению должного контакта и взаимопонимания. И вряд ли стоит тому удивляться. На наши оценки часто влияют явные или скрытые научные пристрастия, наша гражданская позиция, моральный климат общества и различные факторы, лежащие вне сугубо научной сферы, но тем не менее достаточно важные, такие как события текущей истории, изменение общественного мнения и многие другие, привходящие, но достаточно весомые и не всегда явные и учитываемые обстоятельства, вплоть до характера личных отношений.

Диалог на одном языке еще не подразумевает достижения истины. Серьезным препятствием может оказаться методологический барьер как между учеными разных стран, так и работающими в одной стране. И здесь решающие аргументы остаются за историей науки.

О трудностях достижения взаимопонимания свидетельствует и судьба вышеприведенной работы А. Купера. В конце концов через 10 лет он выпустил второе издание книги с симптоматично измененным названием «Антрапология и антропология», снабдив ее примечанием «полностью переработанное издание»<sup>1</sup>.

Мы позволили себе такое довольно обширное вступление, чтобы подчеркнуть сложности, стоявшие перед автором рецензируемой книги. И то, что он «заочно» говорит с собеседниками, многих из которых уже нет в живых, только увеличивает трудности его задачи. И тут большое значение приобретает верно выбранный подход, который позволил бы сохранить объективность картины, обосновать свои этические оценки.

Социальную антропологию А. А. Никишенков рассматривает как некое системное единство, при исследовании которого в функциональной взаимосвязи используются несколько подходов: логико-гносеологический, социологический, психологический, историко-научный.

<sup>1</sup> Kuper A. Anthropologists and Anthropology. The British School 1922—1972. Harmondsworth, 1973; *idem*. Anthropology and Anthropologists. The Modern British School. L., 1983.

В центре анализа находится творчество двух крупнейших представителей британской этнологической науки — Б. Малиновского и А. Рэдклифф-Брауна. Сложны и неоднозначны отношения этих двух фигур и между собой и с другими членами научного содружества. Здесь и борьба самолюбий, научных амбиций, столкновение характеров и влияние момента: изменение настроений в академическом мире, колебания морального и политического тонуса отдельных социальных страт, событийная хроника текущего дня.

По-разному складывалась и их научная судьба. Малиновский — польский эмигрант времен первой мировой войны, обретший в Великобритании свою вторую родину. В период войны и после нее проводил исследования в западной части Тихого океана (главным образом на Тробриандах). Результаты своих исследований он впоследствии опубликовал в серии монографий. Написанные в живой и увлекательной форме в виде этнографических бестселлеров, они во многом способствовали популяризации этнографического знания и личности самого ученого, который объявил себя основателем функционализма и был признан в этом качестве широкой публикой и специалистами.

Искусный «серфинг» Малиновского на гребне научной моды имел под собой и более весомые основания. Волны «прилива», начавшегося в британской социальной антропологии, вынесли на поверхность зародившийся в ее недрах функционализм. Очень симптоматично и символично то, что монографии обоих авторов, ставшие классикой социальной антропологии, вышли одновременно, в 1922 г., и явились точкой отсчета в возникновении и развитии новой британской социальной антропологии. Это было объективным свидетельством назревшей необходимости перемен в науке, ее развития в изменяющихся социально-экономических и политических условиях.

А. Р. Рэдклифф-Браун, истый бритт из родовитой семьи, «джентльмен с моноклем», в первоначальный период «новой антропологии» находился в тени «малиновскианизма». Но постепенно эйфория ортодоксального функционализма стала развеиваться. Не сразу, но стали сказываться различия в методологической ориентации этих двух ученых. История и опыт опровергали одни схемы, и возникала необходимость в построении новых. Перед второй мировой войной уже более четко начала проявляться разность их подходов на общетеоретическом уровне и идеологического смысла их социально-политических доктринах. Научная общественность стала охладевать к ставшим к тому времени ретроградными в контексте социально-политического развития Содружества доктринах Малиновского. Вспомнились его нетерпимость и безапелляционность суждений, то, что он использовал в своих трудах идеи учеников. Свою роль сыграло и то, что Малиновский покинул свою вторую родину в тяжелые для нее времена. Социально-политические взгляды его выглядели уже одиозными в глазах либеральной части ученых. А на основе концепции Рэдклифф-Брауна вырабатывались более привлекательные для «третьего» мира и более учитывающие реальность текущего дня концепции. И на мой взгляд, уничтожающая критика научных и идейных воззрений ученого в работе М. Глакмэна «Анализ социологических теорий Бронислава Малиновского»<sup>2</sup> по сути дела явилась не только расчетом с научной молодостью Глакмэна и его поколения, но и концом ортодоксального функционализма, связанного с именем Малиновского. (Его идеи нашли благоприятную почву в культурной антропологии США, но это уже другая тема.)

Вместе с тем оба ученых были детьми своего времени и много сделали для создания и развития социальной антропологии, что убедительно показано в работе А. А. Никишенкова.

Такие мысли не новы. Тема оценки структур-функционализма по разным поводам затрагивается в работах советских авторов. Причем оценки получаются весьма противоречивые, а иногда просто противоположные. Это можно объяснить многими обстоятельствами. Авторов, обращавшихся к работам Рэдклифф-Брауна и Малиновского, интересуют разные аспекты их творчества, и большей частью они не задаются целью полного охвата всей проблемы. Поэтому один знак ставится при оценке их трудов по формуле «наука на службе империализма» и другой — при оценке, например, вклада Малиновского в создание лингвистической или экономической антропологии либо Рэдклифф-Брауна в изучение систем родства.

Разнобой и столкновение мнений по поводу структур-функционализма и в нашей

<sup>2</sup> Gluckman M. An Analysis of Sociological Theories of Bronislaw Malinowski. Cape Town, 1949.

и в зарубежной литературе создают трудности при воспроизведении целостной картины исследуемого феномена. Сочетая научноведческий и историографический подходы,<sup>1</sup> А. А. Никишенков разработал эффективную аналитическую модель. Последовательное применение выбранной процедуры позволяет ему свести до минимума возможный субъективизм оценок, показав движение этнографического знания в его моральном, культурно-психологическом и социально-политическом контексте.

В соответствии с выбранной стратегией исследования А. А. Никишенков в I главе на широком научном, культурно-историческом фоне освещает генезис идей британского социально-антропологического истеблишмента. Во II — анализируется структурно-функциональный подход в том виде, в каком он сложился в работах его классиков. Их методологию автор рассматривает как предмет специального исследования и в свою очередь определяет собственный подход к этому предмету.

На мой взгляд, II главу можно назвать ключом к пониманию всей работы. А. А. Никишенков справедливо подчеркивает, что важнейшим моментом для понимания структурно-функционального подхода является методология как учение об исследовательском методе. Отсюда перед исследователем встает задача выявить роль методологии в системе научно-познавательной деятельности. Это важно для последующих оценок ибо ее значение во многом определяется взаимосвязью таких компонентов научно-исследовательской деятельности, как теория, предмет, объект исследования, исследовательская проблема. В силу того что в нашей и зарубежной литературе методологические проблемы научного познания находятся в процессе постоянной разработки, автор прошел содержательную работу по их оценке, по определению и обоснованию взаимосвязи вышеприведенных категорий познавательной деятельности в их системной взаимосвязи для целей своего конкретного анализа.

В самом общем виде взаимосвязь элементов научно-познавательной деятельности в структурно-функционализме представляется автору следующим образом: 1) формирование теоретической модели социальной антропологии («общество» и «культура» на максимальном уровне обобщения) и формирование методологических принципов, указывающих на то, что и как надо изучать в объекте; 2) реализация общих установок в процессе изучения конкретных обществ; 3) появившиеся в итоге описание и предметно-содержательные теории этих обществ и их отдельных институтов.

Рассматривая соотношение понятий теория, метод, объект, предмет, научная проблема (в виде категориальных пар, но не теряя вместе с тем представления об их системной взаимозависимости), А. А. Никишенков исследует прежде всего взаимосвязь категорий «теория» — «метод». Различая их функции в научном познании, он отмечает, что «теория — это специфическое отражение некоторых свойств объекта изучения, т. е. готовое знание о нем, а метод — совокупность приемов получения знания об объекте» (с. 50).

Хотя теоретическое и методологическое знания находятся в диалектическом единстве, это не исключает возможности избирать в научноведческих исследованиях в качестве предмета специального исследования либо теорию, либо методологию. В данном случае такое их разведение оправдано и плодотворно.

Методология научных исследований часто трактуется в самом широком смысле слова, как философско-мировоззренческая категория. Но в таком истолковании не принимается во внимание специфика методологии конкретных научных дисциплин. А позитивистская в большинстве своем ориентация западных наук на принцип «наука сама себе философия» активизирует обратную связь, когда на основании методологии конкретной науки строятся концепции философского уровня. Они будут всегда или менее умозрительны, так как теория и методология среднего, инструментального уровня, основанные на специальном предмете исследования, в условиях методологического плюрализма неизбежно будут перекрывать недостигнутый уровень абстракции и обобщения спекулятивными соображениями о природе наиболее общих явлений природы и общества.

Это особенно уместно иметь в виду, когда речь идет о британской социальной антропологии, которая всегда отличалась «методологизмом», подчеркнутым вниманием к разработке специальных средств научного познания (собственно «структурализм», «функционализм» обозначают подходы, выработанные в рамках социоантропологии).

Выделение методологии как основного предмета анализа дает возможность А. А. Никишенкову определенным образом ориентировать свое исследование, дать основную точку отсчета для своих определений, выделить основные операциональные категории анализа и иерархические уровни процесса познания и их системные связи.

Подход позволяет определить философский, конкретно-научный и эмпирический уровни, их соподчиненность и критерии оценки каждого из них.

Рассматривая философско-методологические положения Малиновского и Рэдклифф-Брауна, автор определяет и приемы их критики и оценки, а именно истинность или ложность общих установок, степень соответствия основных общих категорий (таких, как «общество», «культура», «общественный закон») объективной реальности и соответственно обоснованность или необоснованность общетеоретических положений функционализма. Исследователь показывает, что они были общей стратегией исследовательской деятельности, где неизбежно присутствовала мировоззренческая интерпретация достижений науки. Оценивая этот мировоззренческий уровень, А. А. Никишенков приходит к заключению, что его ограниченность определила ограниченность познавательных возможностей структурно-функционального анализа.

Конкретно-научный уровень методологии структурного функционализма рассматривается как инструмент непосредственного анализа фактов, добытых с помощью определенных принципов исследования, специальных методов и исследовательских процедур. Основным критерием оценки здесь должна выступать познавательная эффективность специальной, конкретно ориентированной методологии.

При описании полевой работы автор анализирует применяемый методический инструментарий. Критерием оценки здесь служит эмпирическая достоверность — мера соответствия методики объективной действительности и конкретным задачам исследования, оценивается весь стиль работы, вплоть до личных особенностей ученого.

Выделение этих уровней исследования объективно соответствует структурным свойствам процесса познания, способствует дифференциации анализа и объективности оценок. Подход позволяет проследить сложный процесс диалектического взаимодействия разных исследовательских уровней в научном процессе движения от частичного к более полному знанию.

В III главе разработанный автором подход применялся при рассмотрении конкретных исследований Малиновского и Рэдклифф-Брауна по проблемам семейно-родственных отношений и религии в первобытных обществах. Заинтересованный читатель с пользой для себя ознакомится с содержательным анализом их творчества. Здесь демонстрируется в действии механизм оценок реальной значимости научных фактов, содержащихся в полевых наблюдениях ученых.

На конкретном материале автор определяет эвристическую ценность полевых методик структурного функционализма. Рассматривая соподчиненность уровней методологии, он продемонстрировал их логическую взаимозависимость. Проведя предметно-содержательный анализ исследовательской деятельности ученых, А. А. Никишенков приходит к заключению, что в их работах встречаются эмпирически верные наблюдения, которые могут оформляться в продуктивных конкретно-теоретических концепциях среднего уровня. Но в познавательном процессе приемы познания, вырабатываемые в ходе конкретного исследования, зачастую вступают в борьбу с исходными общетеоретическими принципами структур-функционализма. Действительность зачастую опрокидывает общие концепции, но и общие установки функционализма «в той мере, в которой они ложны, неадекватны, предвзяты, выступают как фактор, ограничивающий, а порой и сводящий на нет отдельные инструментальные достоинства его конкретных методов» (с. 58).

Таким образом, как общетеоретическая модель (на философско-мировоззренческом уровне) этот подход будет с неизбежностью давать искаженный аналог изучаемого объекта («общества», «культуры»), поскольку он неполон. Тут сказывается недостаточность структур-функционализма, когда специальная методология, во многом эффективная при разработке предметно-содержательных, конкретно-теоретических проблем на среднем уровне, неоправданно возводится в философский статус.

Здесь проблемы методологии, на мой взгляд, непосредственно соприкасаются с вопросом о социальном значении науки. Говоря об этой проблеме (в главе V — «Прикладная антропология: социальная инженерия, идеология или утопия?»), автор оценивает ее во всей ее многогранности как подсистему в системе общественных отношений.

Противоречивость общественного значения науки автор объясняет двойственностью социальной роли и этической позиции социальной антропологии. В ней борются люди и тенденции — закономерное стремление к получению возможно более точного знания и объективная необходимость практического использования полученных данных. А практика социально-антропологических исследований неизбежно сопрягается с политическими целями.

Определяя свою точку зрения по этому вопросу, А. А. Никишенков рассматривает деятельность британских ученых как «целостный процесс, в котором каждое действие одновременно имело и политico-административное, и этическое, и идеологическое значение... сама прикладная антропология в ряде случаев теряла свою узкую специфику смыкаясь с чисто академическими исследованиями и наоборот» (с. 172). Автор высок оценивает полевые исследования, признает достоинства некоторых конкретно-методологических конструкций. Вместе с тем закономерно ставить вопрос о социальной ангажированности науки.

В целом работа демонстрирует нам эффективность избранного подхода к исследованию сложных и деликатных проблем научного творчества. Она позволила сбалансированно и доказательно оценить слабости и достоинства структур-функционализма как научного подхода. Она будет полезна и как пособие для исследователя, не занимающе гося специально проблемами методологии науки в вопросе об оценке и использовании конкретных исследований и расшифровке теоретических построений британской социальной антропологии. Работа А. А. Никишенкова во многом помогает преодолеть методологический барьер. Он «слушает» своего оппонента и аргументированно ему отвечает.

Рецензируемое исследование дает читателю убедительные ответы на поставленные в нем вопросы, но, что, на наш взгляд, особенно важно, оно стимулирует постановку вопросов новых.

Интересна, на наш взгляд, проблема этики научного исследования. Анализируя конкретные исследования социоантропологов, автор пришел к выводу, что «методический принцип полевой работы приводил к определенной этической позиции; тот или иной идеологический, мировоззренческий постулат вел к предвзятости и тем самым исключал из поля зрения исследователя все то, что в реальной жизни в него не укладывалось» (с. 172).

Данное утверждение — результат проделанной кропотливой работы. Обращение к этому вопросу тем более важно, что зачастую считается чуть ли не плохим тоном касаться социальных, идеологических аспектов научной работы. И наоборот, узко сциентистский подход рассматривается как признак широты мышления. Такая позиция выглядит довольно нелепо, особенно в свете социально-политических деклараций «отцов-основателей» структур-функционализма (некоторые из них красноречивых высказываний приведены в книге). Не будем стремиться быть больше католиком, чем папа римский. Многие западные ученые признают социально-этическую обусловленность науки. Отнюдь не марксист и даже не диссидент «официальной церкви», видный антрополог и социолог, многое взявший от британской структур-функционалистской научной традиции, специалист в области этнорасовых отношений, занимающийся проблемами методологии науки, П. ван ден Берге отмечал: «Претендовать на то, что мы можем действовать в некоем свободном от ценностей вакууме, когда мы принимаем на себя роль ученого, является наивным заблуждением, которое может заставить нас скрывать наши предрассудки, но не в силах уничтожить их воздействие на наше мышление»<sup>3</sup>.

Здесь слышится ответ на весьма распространенное утверждение, что можно отделить роль ученого от роли гражданина и соответственно научные оценки от идеологических взглядов. Таким образом научная этика отделяется от этики социальной или наука провозглашается вообще этически нейтральной.

Возможно, ключ к пониманию нравственных проблем науки нужно искать в свойствах методологии научного исследования и шире — во всей цепочке научного процесса: теория — метод — объект (предмет) — исследовательская проблема.

Возьмем взаимосвязь в рассматриваемом процессе метода и объекта (предмета). Вопрос не столь уж скользящий, как может показаться, особенно применительно к этнографии. Здесь быстро развиваются пограничные исследовательские зоны, создаются новые направления, образуются субdisciplines. Данный процесс вызывает пристальное внимание ученых. Если советская этнография озабочена разработкой предметных зон в рамках общей теории этноса и ее дальнейшим уточнением и развитием, то для социокультурной антропологии вопрос стоит гораздо радикальнее — по сути дела о поиске своего объекта исследования, о путях развития и судьбах самой науки. Этим во многом и объясняется «методологизм» социальной антропологии. Выделение в качестве исследовательского объекта «культуры» или «общества» при известной условности такого деления предполагает и определенные различия в методологической ориентации, которые могут быть и очень значительными (как в случае Рэдклифф-Брауна и Мали-

<sup>3</sup> Bergh P. van den. Race and Racism. N. Y., 1967. P. 2.

новского). Внимание к методологическим проблемам может объясняться и слабостью общей теории (отсутствием общепризнанных представлений об объекте науки) или подчеркнутым эмпиризмом многих исследований, когда основная задача заключается в построении методик для изучения конкретной проблемы.

Возьмем наиболее общее определение — «предмет этнографической науки — совокупность особых изучаемых только *сю* свойств объективной реальности»<sup>4</sup>. Причем будем иметь в виду, что складывание предметной области и развитие конкретной научной дисциплины происходят в рамках существующей научной традиции на основе усвоения реального опыта науки и путем системно-логического анализа, «... само выявление этих свойств познаваемого объекта — уже результат взаимодействия с ним познающего субъекта»<sup>5</sup>. Но субъект не является суверенным творцом объекта или его свойств, ибо предметная область определяется «... не произвольным выбором проблем, а наличием у объекта определенных специфических свойств»<sup>6</sup>.

Эти свойства объекта являются предметными зонами, исследуемыми различными направлениями и субдисциплинами антропологии. Нас сейчас интересует мысль об активной роли метода (средства, способа познания субъекта) в формировании и изучении предметных зон (свойств объекта). В творческой работе исследователя происходит двусторонне активизированный (метод — предмет) процесс конструирования общеметодологической теоретической модели объекта конкретной научной дисциплины. Взаимодействие предмета и метода во многом определяет создание аналога действительности, что подразумевает роль метода в ориентировании науки по постановке исследовательских задач. Выявляется связь между исследовательской проблемой, методом и предметом. Ориентация метода по цели и задаче подразумевает этическую обусловленность исследования.

Не менее активную роль в организации познавательного процесса играет категориальная пара «теория» — «метод». Для проверки теории используются определенные средства. Выбор этих средств в значительной мере влияет на результат. Такая взаимосвязь придает и этому срезу познавательного процесса определенные оценочные свойства, и здесь активная роль также отводится методу.

Уже в первом приближении вырисовывается не только активная познавательно-поисковая роль метода, но и его значение в выборе ценностных ориентаций. Разный исторический опыт и использование системно-логического анализа в разных целях скавывается в различном понимании объекта науки в советской этнографии и в британской социальной антропологии. Но различия в определении исследовательского объекта ведут к различиям в обобщениях на философско-мировоззренческом уровне и в самой британской социальной антропологии.

Выше уже отмечалось, что неадекватность мировоззренческих представлений может вести к деформации представлений о реальности на специальном теоретико-методологическом уровне и даже к искашению картины действительности на эмпирическом уровне. Взять, например, этику эволюционизма. Представление об однолинейности эволюционного развития в массовом сознании сформировалось в расхожее представление о «дикарях» и «цивилизаторской миссии» белого человека. Оно существовало и в британской этнографии в виде доктрины «вестернизации». Функционализм Малиновского развивал идею культурного релятивизма, доводимого до крайностей культурного детерминизма (возьмем идею «инкапсуляции» южно-африканских народов в рамках своих культур)<sup>7</sup>. Структурализм Рэдклифф-Брауна, продолжаясь, к примеру, в работах М. Глакмена, признает идею развития, принцип взаимозависимости и взаимодействия всех рас и народов в социальном процессе. В развитии эта идея привела к созданию конфликтной модели плюрального общества в многорасовой ситуации<sup>8</sup>.

Мы постоянно наблюдаем, что подход к изучаемому объекту (предмету) определяет осмысление действительности, и, наоборот, общетеоретические и идеологические позиции влияют на выбор средств познания и доказательства. И это закономерно. Разность теоретических установок обозначает для нас «непознанное пространство», где образуется место для дискуссий и где диалектика логики движет нас к достижению более полного знания. Это «непознанное пространство» не является застывшим и не лежит в одной временной плоскости. Оно образуется тогда, когда возникает необходими-

<sup>4</sup> Бромлей Ю. В. Этнос и этнография. М., 1973. С. 204—205.

<sup>5</sup> Там же. С. 5, 204—205.

<sup>6</sup> Там же. С. 207.

<sup>7</sup> Mayer Ph. Townsmen or Tribesmen. Cape Town, 1962.

<sup>8</sup> Gluckman M. Custom and Conflict in Africa. Oxford, 1959.

мость для дискуссий, переосмыслиния созданного или разработки новых направлений. Оно существует там, где ощущается необходимость в создании новых методов и формулировке проблем. Иначе говоря, это необходимый момент процесса познания.

Различная социально-экономическая и идеино-политическая практика формулирует наши цели и формирует наши средства для решения соответственных исследовательских задач. Это проблема общенаучная, действительная и не зависит от признания или отрицания ее в теоретико-методологических установках отдельных ученых, школ и направлений. И с такой точки зрения этическая нейтральность науки является фикцией. Возможно, ключ к объяснению проблемы лежит в самом механизме познания, в связи категорий теория — объект (предмет) — метод — проблема. Эта взаимосвязь, как отмечалось выше, придает оценочные свойства методу. В дискуссионных, спорных сферах познания проходят апробацию различные ценностные ориентации. Понятие ценностей, неразрывно связанное с моральными суждениями, широко разрабатывается в западной общественной мысли.

Одно из наиболее распространенных, признанных определений дано у К. Клакхона: «ценность — это представление о желаемом, осознанное или безотчетное, характерное для индивида или для группы, которое определяет выбор из доступных способов, средств, и целей действия...»<sup>9</sup>. Здесь прослеживается связь между целью и средством, опосредованная выбором ценностей.

В общей теории всегда заложена нравственная идея, и она зачастую определяет выбор метода, срабатывающего на общую цель. Такое предположение не отрицает и обратной связи, когда выбранная методология, пусть даже и неосознанно, направлена на достижение желаемого результата. Скорее всего здесь диалектически действуют взаимосвязи в процессе познания, с упором на ту или иную его сторону в зависимости от фазы процесса. В таком случае мы опять должны признать активную познавательно-ориентированную роль метода.

Видимо, это имел в виду профессор Бостонского университета, видный специалист в области методологии общественных наук С. Тейт. Вопрос о методе он ставит широко, понимая его как способ взаимодействия человека с окружающей средой: «...метод есть продолжение человека, способ, которым он решает касающиеся его проблемы — идет ли речь об экономике, о посадке бобов или сооружении камина или создании книги»<sup>10</sup>.

В соответствии с такой точкой зрения, метод, избираемый нами, определяет наше отношение к жизни. И здесь могут крыться опасности, предостерегает С. Тейт. Одна из них — дальнейшее разъединение людей в нашем и так уже достаточно разделенном мире. Другая кроется в некоторых непроверенных методологических предпосылках. Как пример он приводит концепцию национального характера. Если она исходит из предпосылки об уникальности национального опыта, то может оказаться наихудшим видом национализма.

Чтение работы А. А. Никишенкова укрепляет в мысли о том, что метод не является нейтральной категорией. Он действует в системе оценочных суждений и несет в себе целевую направленность. Метод «работает» на цель, а цель в свою очередь определяет выбор средств ее достижения. Наша гражданская этика определяет этику научного исследования, т. е. сам выбор целей и средств их достижения.

Эти размышления о природе и характере этического начала в науке — пример эффективности и плодотворности подхода, избранного А. А. Никишенковым. Он позволяет соотнести в единой шкале оценки разных граней научной деятельности британских социантропологов в рамках структурно-функциональной методологии.

Кстати, на наш взгляд, в работе было бы лучше развести эти понятия — «структурализм» и «функционализм». Сам автор, постоянно сопоставляя взгляды Малиновского и Рэдклифф-Брауна, в чем-то их и противопоставляет. Рэдклифф-Браун очень сдержанно относился к неумеренному употреблению понятия «функция», считая, что на таком широком и всеобщем уровне оно теряет свою эвристическую ценность (хотя в свою очередь абсолютизирует принцип структурированности). И по тексту А. А. Никишенкову приходится оперировать кроме вынесенного в заголовок понятия «функционализм» также и термином «структурализм» — именно тогда, когда ему приходится говорить о различиях в позициях этих двух ученых и давать характеристики их последователей. В конце концов автор в специальной главе (IV) говорит о двух школах (Малиновского

<sup>9</sup> Цит. по: Аверкиева Ю. П. История теоретической мысли в американской этнографии. М., 1979. С. 158.

<sup>10</sup> Tate C. Method in American Studies. Minneapolis, 1976.

и Рэдклифф-Брауна). Если условиться, что направление шире школы, то, на наш взгляд, можно говорить о двух направлениях.

Не стоило бы так категорически адресовать упрек в антиисторизме обоим ученым в равной мере. Функционализм Малиновского был воинственно антиисторичен. Антиисторизм же Рэдклифф-Брауна скорее полемичен. Он был направлен прежде всего против исторической школы Ф. Боаса. А их понимание исторического не совпадает. «Историзм» Боаса — неокантианского типа, тогда как Рэдклифф-Браун стремился к поиску общих законов развития. На наш взгляд, в оценке данного момента точнее более ранний рецензент творчества Рэдклифф-Брауна, американский социолог Ч. Харт. Касаясь интересующего нас вопроса, он писал: «...те, кому приходилось составлять представление о его системе по его публичным выступлениям, не могли во многих случаях осознать, что там не только было место для подлинных исторических интересов и проблем, но что так же и в своей исследовательской работе он постоянно стремится объединить синхронический и диахронический методы»<sup>11</sup>.

Хотя, оговоримся, можно понять и автора рецензируемой книги. Эти замечания, так сказать, ретроспективны с позиций сегодняшнего дня. А А. А. Никишенков говорит в основном о периоде, когда методологические различия функционализма и структурализма не были столь явны и социально-политический подтекст их доктрин еще не был столь ясно продемонстрирован самим ходом социально-политической истории послевоенного мира, и историография обращала внимание прежде всего на общее в этих доктринах.

Как бы то ни было, но здесь как раз и проявляется достоинство избранной А. А. Никишенковым методики. Она дает возможность объективно оценить различные сложные и подчас скрытые в подтексте исследуемых работ моменты и позволяет избегнуть субъективизма в оценке общей картины.

Обсуждаемые проблемы опять возвращают нас к вопросу о перспективах и судьбах этнографической науки, и прежде всего к проблеме определения объекта и предметных зон этнологии (этнографии). При поиске ответов на этот вопрос естественно напрашивается сравнение советской и зарубежной этнографии. Перспективный поиск точек соприкосновения и основ для взаимопонимания находится в сфере сопоставления методологий. На мой взгляд, наша этнография с концепцией этноса-объекта оказалась больше методологически подготовлена к «этническому взрыву», сопровождающемуся «этнографическим бумом», хотя есть у нее свои методологические трудности и дискуссионные проблемы.

Явления этнического возрождения в известной степени оказались неожиданными для западной этнографии. Социокультурная антропология сравнительно недавно начала теоретико-методологическое осмысление феномена в концепции «этничности». Проверка ее в «поле» показала, что известные, ставшие классикой социокультурной антропологии монографии дают неполное отражение этнической реальности. В своем исследовании этнического статуса нуэров и динка, этого традиционного «прихода» Э. Э. Эванс-Причарда, А. Саутхолл отметил в работе последнего весьма важные неточности. В частности, он поставил под сомнение наличие у них единого этнического самосознания<sup>12</sup>.

Но «этничность» является одной из предметных зон социокультурной антропологии в ряду других. Параллельно идут процессы методологического самоопределения новых направлений в рамках этнографического знания — этоистории, биосоциальной антропологии, этологии человека, экологической антропологии и т. д.

О чем говорит этот процесс? Многие оппоненты социокультурной антропологии в западном обществоведении расценивают данное явление как признак слабости, как свидетельство размывания предметной области науки. И тут есть свое рациональное зерно.

Слабость прежде всего заключается в том, что при интенсивной разработке новых предметных зон не создается общее цельное представление об объекте. Методологический плюрализм иногда рассматривается как достоинство западной обществоведческой мысли. В данном случае он крайне затрудняет конструирование единого объекта.

Понятие «культура» слишком аморфно, расплывчато и просто противоречиво, чтобы быть эффективной аналитической концепцией. Не прекращаются дискуссии и по пово-

<sup>11</sup> Харт Ч. У. Культур-антропология и социология//Современная социологическая теория в ее преемственности и развитии/Под ред. Беккера Г. и Боскова А. М., 1961. С. 604.

<sup>12</sup> Southall A. Nuerg and Dinka are People: Ecology, Ethnicity, and Logical Possibility//Man. V. II. № 4. P. 463—491.

ду понятия «общество» (не говоря уже о том, что на этом пути трудно определить специфику объекта социальной антропологии). Представление о социокультуре, на мой взгляд, не решает проблемы. Понятие слишком громоздко и составлено из неопределенных величин.

Важным фактором, определяющим особенности развития науки, является и историческая традиция. В этнографическом знании сливаются по сути дела все представления о человеке, его деятельности и связях с окружающим миром. В процессе своего формирования этнография усваивала достижения многих естественных и гуманитарных наук, специальных дисциплин. Специфика этнографического знания обусловила и современный бурный процесс образования пограничных исследовательских зон, сопровождающийся разработкой изощренных процедур и методик исследования, соответствующих конкретно-методологических ориентаций.

Но вместе с тем получается, что это работа по складыванию из высококачественных материалов здания, у которого нет общего проекта. Это также одна из причин того, почему в западной этнографии наблюдается столь обостренное внимание к методологическим проблемам, не затихают разговоры о «кризисе» науки. Что же это: кризис роста или кризис веры? Размытие предметной области науки или естественный процесс развития знания?

На этом пути предстоит сложная работа по соотнесению методологических понятий, в ходе которой еще придется осмыслить названный процесс. Стремление решить эту задачу наблюдается в рамках социокультурной традиции. Вместе с тем как в советской, так и в зарубежной западной этнографии существует стремление к сопоставлению, сравнительному взаимному анализу методологических достижений и использованию опыта.

И все же, если говорить о кризисе, то это, на мой взгляд, скорее кризис роста. Этнографическая наука — «полигон», где «испытываются» теоретические, методологические концепции, важные для обществоведения. Этнография, как никакая другая наука, обладает возможностями для сравнительного анализа, во многом заменяющего экспериментальную проверку истинности предположений точных наук. Возможно, в этнографии вырисовывается прообраз будущей синтезированной науки о человеке. Процесс интеграции будет постоянно и естественно сочетаться с процессом диверсификации, процессом самоопределения специальных направлений в рамках общей теории, методологии этнографии как целостной науки. Ее социальная роль во многом будет зависеть от этической ориентации методологических разработок.

Пример критического осмыслиения опыта зарубежной этнографии представляет книга А. А. Никишенкова. Она являет собой образец позитивной критики, под которой здесь подразумевается ее достоверность, конструктивность, проблемность.

## ОБЩАЯ ЭТНОГРАФИЯ

Ю. В. Бромлей. Этносоциальные процессы: теория, история, современность. М., 1987. 332 с.

Рецензируемый труд продолжает серию успешных исследований автора в области этнической и этнографической проблематики.

Тематика книги весьма обширна в проблемном, временном и территориальном планах — от терминов, обозначающих этносы древности, и компонентов этносоциальной структуры средневековья до современных этнических проблем в мире и межнациональных отношений в советском обществе. Этносоциальные общности, их изменения, их взаимоотношения — вот объединяющий стержень всех работ, включенных в книгу.

Большая часть книги посвящена современным этносоциальным процессам при социализме, итогам и задачам их изучения, а также идеально-политическим аспектам этносоциальной проблематики. Среди других проблем здесь раскрывается историческое значение ленинской национальной политики, рассмотрено развитие конституционных основ советского многонационального государства, говорится об особом значении вопросов управления национальными процессами, которые должны решаться «совместными усилиями теоретиков и практиков, усилиями представителей всех наук, прямо или косвенно изучающих практику и теорию национальной жизни как у нас в стране, так и за рубежом» (с. 254) <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Кстати, о зарубежье. В последнее время, несмотря на противоречия и силы торможения, страны ЕЭС на основе интенсивной экономической интеграции переживают

За годы социалистического строительства произошло коренное изменение межнациональных отношений в СССР. Идеи советского патриотизма и интернационализма овладели сознанием советских людей. Но ряд извращений ленинской национальной политики в периоды «культы» и «застоя» (не могу избежать эвфемизмов) породил проблемы, которые сейчас приковывают к себе внимание общества. Эти проблемы столь обширны, что не могут быть рассмотрены в данной рецензии. Ясно, однако, что прошло время, когда некоторые ученые могли ограничиваться ссылками на то, что «при нашем социалистическом строеве» «нет общественных сил», действий которых могут отрицательно повлиять, скажем, на международную обстановку или на межнациональные отношения в стране. Этот чуждый ленинской методологии убаюкивающий общественность автоматизм, при котором вместо анализа фактов было достаточно сослаться на социалистический строй, принес немало вреда не только науке, но и социализму. В книге особое внимание уделяется раскрытию причин негативных явлений в сфере национальных отношений. Особо подчеркивается, что задачи демократизации общества и ускоренного развития социализма ставят перед общественными науками проблемы исключительной важности, рассматриваются многие из этих задач.

Как специалист в области всеобщей истории сосредоточу внимание на трактовке Ю. В. Бромлеем некоторых аспектов общеметодологической проблематики этносоциальных процессов, имеющих особое значение для историков. Поскольку некоторые вопросы структуры этноса и этнических процессов остаются дискуссионными, автор рецензируемой книги с учетом высказанных в литературе в последнее время различных мнений продолжает научную полемику. Эти разделы, на наш взгляд, представляют особый интерес. В частности, автор книги несомненно правомерен использовать понятия «полные» и «неполные» структуры этносоциальных организмов (первые включают «основные социальные группы (классы), присущие обществу соответствующей формационной принадлежности», с. 17; полная социально-классовая структура включает «все основные классы, типичные для соответствующего общественного строя», с. 99). Историки, изучающие процессы перехода от эко феодальной формации к эко формации капиталистической, систематически встречаются с проблемой полных и неполных структур. В связи с этим хотелось бы добавить следующее. Во-первых, если феодальные народности могли обладать как полной, так и неполной структурой (когда класс феодалов был ионациональным), то сформировавшиеся нации являются эко непременно с полной структурой, а ядром самого процесса их формирования и было складывание этой структуры. Во-вторых, когда автор с достаточным основанием утверждает, что этносоциальные организмы позднефеодальной эпохи (народности) «в конечном счете, как правило, восстанавливали» полную структуру (с. 18), то речь идет уже о структуре не феодального, а буржуазного общества, т. е. о складывании наций (таковы чехи, а несколько позже словенцы, болгары и др. в XIX — начале XX в.). В Центральной и Юго-Восточной Европе это действительно являлось правилом (исключение — лужицкие сербы), тогда как в Западной Европе примеров противоположного характера больше (узельцы, бретонцы и другие этносы, которые Ю. В. Бромлей характеризует как народности буржуазного общества). Удачным является тезис о существовании «микронаций» — малых этносоциальных организмов с полной структурой современного капиталистического общества и своей государственностью (лихтенштейнцы и др.). Это по-нитя необходимо для создания реальной этнической картины современности.

Ю. В. Бромлей останавливается на дискуссии о понятии «народность». По моему мнению, — это точка зрения историка, занимающегося эпохой перехода от феодализма к капитализму, — до недавнего времени действительно не выдвинуто идеи реального усовершенствования современного понятийного аппарата науки об этносах докапиталистических классовых обществ. Единственным, на первый взгляд наиболее удачным представляется термин «демос», предложенный еще в 1964 г. С. А. Токаревым для рабовладельческого общества. Но кроме возражений Ю. В. Бромлея, имеющих практический характер, хотелось бы обратить внимание на то, что демос-этнос классической античности (Греция, Рим) не включал рабов, тогда как общества Древнего Востока имели в значительной степени иную этносоциальную структуру: иноземцы-рабы, по-видимому, не являлись здесь единственным (а вероятно, и главным) объектом эксплуатации. Следовательно, понятие «демос» имело бы разное содержание, было бы многозначным, как, впрочем, и предложенный в книге термин «палаос» (с. 43), который вместе с термином «мезос» (для средневековья), возможно, поможет разграничению народностей рабовладельческой и феодальной формаций.

Возвращаясь к термину «народность», хотел бы подчеркнуть, что главное здесь, на мой взгляд, это четкое различие народностей докапиталистических формаций, применительно к которым этот термин означает основной тип этносоциальной общности, и народностей капиталистической и социалистической формаций, которые являются малочисленными общностями, составляющими незначительную часть населения государства и располагающими относительно слабыми внутренними связями и неполной структурой общества. Данные общности автор называет «вторичными народностями» и под-

процесс кооперации и сближения в самых различных сферах — от политических учреждений, права, культуры, идеологии до медицины и т. д. Массы людей разных страч свободно вступают в контакты друг с другом. Наша печать, радио, телевидение в последнее время доставляют значительную информацию обо всем этом. Однако наука до сих пор игнорирует этот далеко не однозначный, но реальный процесс, в котором участвуют сотни миллионов людей, еще несколько десятилетий назад разделенных ожесточенной политической и этнической враждой.

черкивает, что в сущности речь идет не о подтипах одного типа этнических общностей, а о разных категориях (с. 27).

Здесь же замечу, что несмотря на известное неудобство, связанное с многонацистностью, историки благополучно «обходятся» в своей работе имеющейся терминологией («феодальная народность» и т. д.)<sup>2</sup>.

Вообще у ряда народов, подвергавшихся национальному угнетению, формирование «своего» класса буржуазии являлось тем компонентом этносоциального процесса, который встречал наибольшие трудности, поэтому, например, при капитализме лужицкие сербы, не имевшие национальной буржуазии, по своей социальной структуре несравненно больше отличались от немцев, чем в настоящее время, когда в условиях социалистического строя как немецкая нация в ГДР, так и ассоциированная с нею немогочисленная сербо-лужицкая народность имеют близкую структуру (рабочие, крестьяне, служащие, интеллигенция). В какой-то мере эта тенденция — сближение по своей социальной структуре с окружающим населением — присуща всем народностям в условиях социализма, с этим связано превращение наиболее развитых из них в нации.

Значительное место в книге уделено формированию этнического самосознания, в частности важной в истории ряда народов проблеме соотношения религиозного и этнического сознания. Обширный материал новой истории Центральной и Юго-Восточной Европы подтверждает тезис, что доминирование сознания религиозной принадлежности не означает полного отсутствия представлений о принадлежности к этнической общности, определявшейся, например, по языку. То же можно сказать о господстве среди класса феодалов в позднее средневековье представлений о так называемой «государственной нации» и ее (т. е. класса феодальных землевладельцев) «историческом праве» на территорию государства (Венгрия, Польша). Эти представления не означали отсутствия этнического самосознания, хотя оно было ослаблено.

Ю. В. Бромлей последовательно придерживается характеристик этносоциальных организмов в зависимости от их социальной структуры (с. 30—31, 43—44, 50 и др.). При определении наций также «ведущее значение придается социально-экономическим параметрам» той или иной формации (с. 31). Приходится вновь отмечать этот, казалось бы, уже известный теоретический аспект, поскольку для историков с ним связано определение критериев начала и завершения процесса формирования нации. К сожалению, в исторических работах до сих пор встречаются попытки определить последний рубеж в отрыве от социально-экономических критериев, только на основе проявившегося чувства патриотизма и т. п. Практически в этом случае солидные научные критерии исчезают, и авторы таких работ встают на почву, открывющую возможность для произвольных выводов.

Актуально также утверждение автора о «зыбкости критерия» классификации народов по общности происхождения «в силу обычных для этногенеза многочисленных взаимодействий самых разнообразных народов» (с. 58). Этот тезис Ю. В. Бромлея получает широкое обоснование в разделе книги, посвященном критике современного расизма.

Наконец, в связи с имевшей место полемикой автор подробно аргументирует обоснованность причисления нации к этническим общностям, все исторические типы которых сопоставимы по таким свойствам (этнокультурным показателям), как язык, культура, особенности психики. Вместе с тем в этих исторических типах (племени, народности, нации) органически сочетаются социальные и этнические начала. В настояще время вне этих выводов уже невозможно претендующее на научность конкретно-историческое изучение этносоциальных процессов.

В заключение подчеркнем, что книга Ю. В. Бромлея полезна не только для специалистов, но и для более широкого круга читателей, стремящихся приобрести научные знания в одной из сложнейших областей обществоведения.

В. И. Фрейдзон

<sup>2</sup> См., например: Мыльников А. С., Фрейдзон В. И. Формирование наций в Центральной и Юго-Восточной Европе в XVIII—XIX веках//Вопр. истории. 1987. № 8. С. 60—78.

## НАРОДЫ СССР

О. С. Лукьяненц. Русские исследователи и молдавская этнографическая наука в XIX — начале XX в. Кишинев, 1986. 114 с.

Последние десятилетия характеризуются возросшим вниманием советских исследователей к выявлению, обобщению и критическому анализу этнографического наследия дооктябрьского периода. Овладение любой наукой, в том числе этнографической, возможно лишь тогда, когда прослеживается исторический ход ее развития: когда и при каких условиях она возникла, как протекало ее формирование, какие идеиные течения и научные направления нашли в ней свое отражение, каковы ее успехи на различных этапах.

История русской этнографии в целом изучена довольно хорошо. В 1960—1980-х дах вышло значительное число трудов, характеризующих и обобщающих историю этнографической науки, научных обществ и отдельных учреждений этнографического профиля, а также монографий, посвященных жизни и деятельности ряда ученых-этно-афов, труды которых составили золотой фонд отечественной науки. Тем не менее история этнографического изучения ряда народов и регионов нашей страны известна далеко не полностью, что целиком относится к Молдавии. Монография О. С. Лукьяненц «Русские исследователи и молдавская этнографическая наука в XIX — начале XX в.» исполняет данный пробел в истории отечественной науки. Достаточно указать, что в сообщающем труде «История русской этнографии» С. А. Токарева (1978), в котором характеризуются этнографические материалы и исследования как по славянам, так по народам Кавказа, Средней Азии и Сибири в дооктябрьский период, об изучении Молдавии русскими и молдавскими учеными не говорится ни слова. Не имеется по этому региону сведений и в «Очерках истории исторической науки в СССР» (1975).

Большим достоинством работы О. С. Лукьяненц является широкий хронологическийхват темы. Этнографическое изучение молдавского народа русскими и молдавскими учеными рассматривается с момента присоединения Бессарабии к России (1812 г.) до начала XX в. Работа основана на широком круге источников. Помимо опубликованных борников, монографий, статистических материалов автор использует документы, хранящиеся в архивах Москвы, Ленинграда, Киева, Одессы, Кишинева, значительная часть которых впервые вводится в научный оборот. Кроме того, О. С. Лукьяненц привлекает существенные памятники, в частности этнографические коллекции, характеризующие культуру и быт народов Молдавии, сосредоточенные в фондах Государственного музея этнографии народов СССР и в музеях Молдавии.

В первой главе монографии, справедливо подчеркнув, что изучение этнографии Молдавии протекало в русле этнографического изучения страны в целом, автор называет русских и молдавских ученых, обращающихся к этой теме, характеризует процесс акопления этнографических материалов по культуре и быту молдавского народа с 1812 г. до 60-х годов XIX в. В историографии этого времени О. С. Лукьяненц выделяет два периода: первую треть XIX в., когда изучение Бессарабии велось по заданию Министерства внутренних дел, Генерального штаба и других правительственные учреждений, и 1840—1860-е годы. Каждому из них посвящен специальный раздел. Характеризуя первый период, автор использует как опубликованные источники, так и архивные материалы, хранящиеся в фондах Министерства внутренних и Министерства иностранных дел. Она убедительно показывает, что наряду с топографическими и демографическими сведениями официальные отчеты, представленные в эти министерства, содержали довольно подробные сведения о духовной и материальной (жилище, одежда) культуре молдаван. В числе лиц, отчеты которых особенно интересны, автор называет чиновника Государственной комиссии иностранных дел П. Свинина, который пользовался «интересной методикой», в частности анкетированием. Содержание анкеты, к сожалению, не приводится. Этот упрек можно отнести не только к данному случаю, но и к некоторым другим. Так на с. 11, 50, 52 упоминается об анкетах и вопросниках, по которым собирались материалы, однако сравнительной характеристики их, выявления удельного веса проблем, связанных с материальной культурой, социальными отношениями и т. д., не проводится. Между тем сравнительный анализ программ помог бы более четко выявить как тематическую направленность этнографического изучения региона, так и методический уровень исследований.

В разделе, посвященном 40—60-м годам XIX в., О. С. Лукьяненц останавливается на роли в этнографических исследованиях добровольных научных обществ, в том числе Русского географического общества (РГО) и Одесского общества истории и древностей. Особую ценность первой главы представляют впервые публикуемые материалы из Исторического архива Молдавской ССР, в которых отражены связи между РГО и местными исследователями. Автор далее подробно анализирует труды русских исследователей о Молдавии (с. 29—33) и констатирует появление работ, написанных молдавскими учеными (А. Хашдеу, Б. Хашлеу и др.), внесшими, как это следует из второй главы, существенный вклад в изучение своего народа (с. 42—48). Несомненный интерес представляет раздел, посвященный периодической печати Молдавии, сыгравшей большую роль в стимулировании интереса к этнографическим знаниям о народах этого края. Не со всеми положениями автора можно согласиться. Так, анализируя работы А. А. Скальковского, исследовательница утверждает, что «сам факт обращения к отдельным аспектам экономической истории края говорил о том, что его интересы выходили за рамки дворянской историографии» (с. 16). Между тем экономика издавна привлекала внимание именно выходцев из дворянско-помещичьих слоев. Еще в XVIII в. появились работы по экономике земледелия и сельскохозяйственного производства. Созданное в 1765 г. Вольно-экономическое общество имело целью объединить крупных землевладельцев. В течение всей своей деятельности оно было центром дворянской научной мысли по вопросам сельскохозяйственного и промышленного предпринимательства. Эта установка нашла яркое выражение как в научной, так и в практической его деятельности, а также в многочисленных трудах, опубликованных обществом в XVIII—XIX вв.

Во второй и третьей главах монографии последовательно рассматривается развитие молдавской этнографии с 70-х годов XIX до начала XX в. В них отражена деятельность русских, украинских, молдавских ученых, которая рассматривается в историческом аспекте. О. С. Лукьяненц характеризует их контакты с добровольными научными обществами Петербурга, Москвы, Одессы и Кишинева. Здесь же широко представлена дея-

тельность Бессарабского статистического комитета, а также местной периодической печати. Очень интересен материал, базируясь на котором, автор доказывает, что наряду с изучением экономики и материальной культуры в конце XIX в. в молдавской этнографии возрос интерес к этнопсихологии и этнолингвистике. Иными словами — молдавская этнография развивалась в общероссийском русле.

В процессе изложения О. С. Лукьянец вводит новые имена ученых-этнографов: П. Сырку, А. Защука, А. Матвеева. Указав, что А. Матвееву принадлежат ряд статей и программа, опубликованная в 1884 г. в «Бессарабских губернских ведомостях» (см. с. 50), автор, к сожалению, не сообщает, где жил и работал этот интересный ученый. Хотелось бы напомнить, что внимание к персоналиям для исследований подобного типа немаловажно. Непонятно, почему за рамками книги остались имена редакторов, от которых во многом зависело направление и наполнение «неофициального отдела» газеты, публикавшего этнографические статьи. Остается неизвестным, кто именно входил в состав редколлегии даже в 80-е годы, когда, как справедливо отмечает автор, «Бессарабские губернские ведомости» превратились в своего рода центр, направляющий этнографические исследования в Бессарабии (с. 59). Аналогичные замечания можно сделать и относительно персоналий Одесского общества истории и древностей и Бессарабского статистического комитета, сыгравших большую роль в этнографическом изучении Молдавии.

Много нового фактического материала содержится в разделе «Краеведческое направление в молдавской этнографии» (с. 80—84), где прослеживается рост значимости местных учреждений (земских управ) и исследователей; характеризуются их связи с работниками центральных учреждений в деле музейного собирательства. Открываются и новые страницы деятельности сотрудника Этнографического отдела Русского музея — Н. М. Могилянского. О. С. Лукьянец подробно описывает историю комплектования молдавского фонда музея, знакомит с коллекцией предметов традиционной культуры молдаван Румянцевского музея и освещает собирательскую деятельность местных молдавских музеев (с. 57—62). Можно лишь пожалеть, что в поле зрения автора не попали гагаузские коллекции, хранящиеся в Музее антропологии и этнографии АН СССР, поступившие туда в 90-е годы прошлого века.

В целом, как уже говорилось, книга О. С. Лукьянца представляет значительный вклад в историографическую литературу, посвященную дооктябрьскому периоду. Она написана на основе обильных и разнообразных источников, дающих четкое представление о ходе и основных этапах развития этнографических исследований народов Молдавии, в которых принимали участие как русские, так и молдавские ученые. В заключение выскажем пожелание, чтобы автор, столь успешно воссоздавший общую картину развития этнографии в Молдавии, продолжил и углубил свои исследования в отдельных ее областях, осветив, например, роль молдавской периодической печати в развитии этнографической науки.

Т. В. Станюкович

## НАРОДЫ АФРИКИ

А. С. Балезин. Африканские правители и вожди в Уганде. М., 1986. 280 с.

Вот уже более 20 лет, как большинство стран Африки добились политической независимости. За немногим исключением (Лесото, Свазиленд) — это республики. Ныне в африканских странах есть парламенты или национальные ассамблеи, современные суды, работающие на основе французского или английского права, существуют политические партии (одна или несколько), проводятся избирательные кампании. Однако в ряде стран в составе парламента имеется палата вождей, встречаются и «партии вождей», проводятся пышные церемонии «инtronизации» представителей древних династий, в состав Центрального комитета партии Народное движение революции (Запир) входит «император Лунда», в политической жизни Буркина Фасо активно участвует *моронаба* — верховный правитель народа и т. п.

Какое же место занимают в современной жизни Африки эти люди и связанные с древними системами власти институты? Может быть, это просто пышные декорации, ныне не имеющие никакого практического значения? Или, напротив, затихшие до времени, затихшие в период колониального подчинения, а сейчас восставшие из пепла, как птица феникс, живые и вполне жизнеспособные системы? А возможно, это какой-то иной феномен, соединивший в себе как древние политические традиции, так и новейшие принципы буржуазной демократии? Какова их роль в современном мире и какое будущее им предуготовано?

Подобные вопросы все чаще задают себе африкансты. В той или иной мере касаться их вынуждены все авторы работ как по истории, так и по современному положению стран Африки. Однако предметом специального исследования проблема становится не часто. Можно назвать, пожалуй, только дискуссию на страницах журнала «Советская этнография», в которой проблема была скорее поставлена, а также работу Ю. Н. Зотовой<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Зотова Ю. Н. Традиционные политические институты Нигерии. М., 1979.

И вот перед нами книга А. С. Балезина, специально посвященная анализу этой сложной проблемы. Не случайно предметом исследования стала именно Уганда — республика, долго сохранявшая в своем составе целый ряд «королевств» (Буганда, Буньоро, Анколе, Торо); страна, где традиционные институты власти более органично, чем в других бывших колониях, вошли во вновь организованный государственный аппарат, сохранив свое значение и во время, и после колониального периода.

Эти вопросы очень важны еще и потому, что в сложной политеческой обстановке африканских стран именно представители таких сил претендуют на роль истинных, а иногда и единственных выразителей интересов своих этносов, часто противопоставляя их всем остальным.

Книга охватывает столетний период истории народов, населяющих современную Уганду (1862—1962 гг.). Автор прослеживает постепенную эволюцию местных систем власти. Перед читателем раскрывается тщательно документированная история преобразований прежних систем власти, но, что не менее важно, он не только читает документы, слышит голос автора, но и видит живых людей — правителей и сановников «королевств»: Мутезу, Мвангу, Кабарегу, Кагва и др.; их портреты, письма, воспоминания ожидают в книге, что так редко встречается в научной литературе.

Автор использовал, тщательно изучив, практически все известные материалы: официальные издания колониальной администрации, политических партий; мемуары и труды европейцев, впервые столкнувшихся с «черной Японией» или много лет проработавших в ней; публикации архивных материалов; мемуары и труды африканцев — участников событий; переписку. Более того, работа в Государственном архиве ГДР позволила А. С. Балезину ввести в научный оборот и ранее неизвестные материалы на немецком, английском языках и на суахили, в том числе подлинники писем правителя Буганды и его сановников и т. п. Некоторые документы представлены в переводах автора (в Приложении). А. С. Балезин критически изучил и литературу вопроса. Достаточно сказать, что библиография содержит 491 название.

Работа развивает принятую большинством советских востоковедов, в том числе африканистами, концепцию колониального общества как особого этапа в формационном развитии стран Азии и Африки, в котором тесно переплелись разнородные структурные элементы в форме синтеза, «их компромиссной структурно-функциональной сочлененности, скрепленности и взаимодействия» (с. 9) <sup>2</sup>.

Одна из трудных проблем в изучении таких сложных обществ — терминология. Автор осознает эту трудность и во введении специально оговаривает употребляемый им понятийный аппарат. Как известно, термины «традиционные власти», «туземные власти», «вожди» и т. п. нередко употребляются оченьвольно. Автор предлагает, на наш взгляд, четкую и обоснованную их классификацию: «традиционные власти» — социальное понятие, объединяющее различные виды носителей власти (как потестарной, так и политической) до начала европейской колонизации; «туземные власти» — африканцы, входившие в колониальную администрацию; «вожди» — термин, принятый колонизаторами для самых разных видов носителей местной власти. Автор справедливо выступает против термина «традиционные вожди», предпочитая понятие «колониальные вожди». К сожалению, А. С. Балезин иногда нарушает эту стройную классификацию (так, нелогично употребление термина «вожды» на с. 82, 83, 245).

Несомненным достоинством книги является попытка (на наш взгляд, вполне удавшаяся) рассмотреть «эволюцию традиционных властей как социальных групп» в различных сферах жизни колониального общества — политической, социально-экономической, идеологической» (с. 8, разрядка моя.— Э. Л.).

Работа содержит три части, в которых рассматривается эволюция систем власти в период создания протектората Уганды (1862—1900 гг.); во времена безраздельного колониального господства (1900—1945 гг.); в период борьбы за независимость страны (1945—1960 гг.). Автор довольно легко говорит как о характере и идеологическом обосновании власти верховых правителей, так и об уровне социально-экономического развития народов Межозерья, создавших раннегосударственные образования. Однако, сделав обзор существующих концепций, А. С. Балезин приходит к представляющемуся разумным выводу об отказе от категоричности определения формационной принадлежности и необходимости разработки отношений господства — подчинения (властных отношений), ведущейся сейчас советскими африканистами, в частности Г. С. Киселевым.

Хотелось бы остановиться еще на одном вопросе. А. С. Балезин продолжает начатые А. Б. Давидсоном и продолженные И. И. Филатовой попытки оценить последствия проникновения первых европейцев в Африку «с другой стороны», понять, как появление европейцев было воспринято африканцами, как они его оценивали, чего ожидали; как складывалась политика правителей, исходивших из внутриполитических и экономических интересов своих стран. Это, пожалуй, наиболее интересные страницы книги (с. 34—52 и др.). В европейской литературе (в том числе и советской) до недавнего времени на эту сторону отношений обращали недостаточно внимания, и читатели невольно воспринимали африканцев скорее как объект, нежели как субъект новых отношений. Правители и сановники государств Межозерья на страницах книги предстают интересными политиками, дипломатами, стремящимися воспользоваться противоречиями в среде новых контрагентов, как религиозными (между католиками, протестантами, мусульманами), так и политическими (между Германией, Англией, суахилийскими торговцами),

<sup>2</sup> См. Эволюция восточных обществ: синтез традиционного и современного. М., 1984.

выступая в зависимости от обстоятельств то за сотрудничество, то за сопротивление. Это предопределило и отмеченное автором начало разделения традиционной элиты и стремящихся воспользоваться новыми силами в своих интересах и активно выступающими против них; разделения, из которого в более поздние годы возникнут, с одной стороны, компрадорские слои, а с другой — активные борцы за независимость.

А. С. Балезин показывает также, что именно в данный период истории страны уходят корни многих этнических конфликтов, а также особой роли знати Буганды, которая позднее сознательно поддерживалась английской колониальной администрацией, привлекавшей представителей народа баганда на службу в колониальный аппарат по всей стране, далеко за пределами Буганды. Это приводило к антибагандским выступлениям (рассказ о восстании в Буньюро в 1907 г. и далее, на с. 160—161), а впоследствии затрудняло складывание единого антиколониального движения.

В 1900—1945 гг. в рамках нового социального организма — колониального общества формировались и оформлялись те экономические, политические, идеологические реалии, с которыми бывшие колонии подошли к независимости. Автор убедительно выявил на материале Уганды как общие для всех африканских стран процессы (например, формирование и возрастающую роль новой элиты), так и редко встречающиеся или даже уникальные явления (например, искусственно возникновение феодального частного землевладения или некоторое укрепление политической силы старой знати, преобразованной в «туземные власти»).

На основании сравнительного анализа власти в других колониальных владениях Англии и Франции, показано, что, во-первых, так называемое «прямое» или «косвенное» управление определялось конкретными условиями каждой административной единицы (в рамках одной колонии могли быть разные варианты); во-вторых, включение уже существующих систем власти в аппарат насилия и эксплуатации производилось в интересах метрополии, а отнюдь не местных властей, и в модернизированном, удобном для административного аппарата колоний виде. Об этом, пожалуй, лучше всего сказал цитируемый А. С. Балезином *кабака* (верховный правитель) Буганды Дауди Чва: «Я больше не прямой правитель своего народа, мои собственные подданные начинают смотреть на меня всего лишь как на одного из платных слуг британского правительства. И все потому, что у меня нет реальной власти над моими подданными; даже территория самого мелкого вождя находится под прямым контролем комиссара провинции. Любой приказ, отданный вождем или даже самим людико (совет знати — Э. Л.), никогда не признается до тех пор, пока он не одобрен комиссаром провинции» (с. 92). Это подтверждается анализом автора, убедительно раскрывающего подлинную суть «косвенного управления», классическим примером которого (наряду с Северной Нигерией) считалась Уганда.

Другая сторона вопроса — эволюция докапиталистических укладов как основа социальной трансформации традиционных властей — специально не исследовался советскими учеными. Нельзя не согласиться с автором, что «Буганда является практически единственным в Тропической Африке примером широкого введения системы индивидуального частного землевладения африканцев» (с. 118). Данный уклад, основанный на таком землевладении и внеэкономических формах принуждения и эксплуатации, автор предлагает определить как «колониально-феодальный» (с. 126), рассматривает его в рамках результатов широких социально-экономических исследований советских востоковедов. А. С. Балезин убедительно показывает, что и в других «королевствах» Уганды (Торо, Анколе, Буньюро), хотя и иными путями, шли те же процессы (с. 133—135).

Еще один малоизученный аспект истории Уганды, да и Африки в целом, подробно рассмотренный автором, — трансформация форм и методов эксплуатации африканцев африканцами на землях, принадлежавших как местному населению, так и британской короне.

Сложность и неоднородность состава африканской администрации (с одной стороны, сохранение связи верховных правителей со старыми династиями и сохранение как видимости политической власти, так и статуса в глазах народа «священных царей», олицетворявших благополучие страны; с другой — появление новой элиты, многообразие «вождей» низших степеней) привели к определенным особенностям развития общественной мысли и антиколониального движения. Автор подробно рассматривает разнообразные формы антиколониальной борьбы, требования, выдвигаемые религиозными или политическими движениями, справедливо отмечая, особенно в первые годы, большую роль традиционных властей и представителей туземной элиты в руководстве и организации. Даже в наиболее значительной организации «Сыновья Кинту» идейным символом оставался кабака и подчеркивалась верность Кинту — полумифическому предку баганда.

Особенности социально-экономического развития Уганды, а также культурно-исторического синтеза, блестяще проанализированные автором (с. 175—186), привели к тому, что в стране не было критики феодально-традиционных пережитков и отрицания традиционных африканских ценностей, как в других колониях Африки.

Далее рассматривается место и роль старой знати и новой элиты в период активной борьбы (с 1945 г. до провозглашения независимости). Автор показал, что ранее недооценивалась большая поддержка аристократической верхушки со стороны народных масс. Это накладывало отпечаток на идеологию освободительного движения; приверженность его участников идеям «традиционизма и сепаратизма» затрудняла создание общенациональных движений. На основании обширного фактического материала А. С. Балезин доказал, что антирэдакционистским партиям (Союзу народов Уганды — Народному конгрессу Уганды и Демократической партии) пришлось вынести тяжелую борьбу. И в новых партиях, пытавшихся выйти за рамки одного этноса (на-

пример, основанной в 1952 г. партии Угандийский национальный конгресс), лидерами стали представители африканской элиты, члены семей высшей знати или тесно связанные с ними люди. Рост этнического самосознания в ходе антиколониальной борьбы в условиях Уганды привел к стремлению противопоставить один народ страны другим; в политической сфере это выразилось в борьбе за сохранение прерогатив правителей и вождей, а затем и в возникновении сепаратистских движений (прежде всего в Буганде, а затем и Буньюро, Торо и Анаколе). Все это, стмечает автор, усилило этническую рознь накануне получения независимости. Подобные тенденции усилились и усугубились сначала преобладанием баганда, а затем представителей северных народов в армии и полиции.

Особенности социально-экономического и этнического развития Уганды, указывает А. С. Балезин, предопределили сложности независимого развития страны. Лидирующее положение заняли представители «колониального синтеза», главой государства стал верховный правитель Буганды; конституционно был закреплен статус «королевств». Темпы интеграционных процессов, необходимо требующих ломки традиционных структур, оказались, таким образом, замедленными, даже упразднение «королевств» конституцией 1967 г. не ликвидировало идеи традиционности в массовом сознании. Автор справедливо подчеркивает, что это накладывает отпечаток на весь сложный комплекс проблем развития современной Уганды.

Э. С. Львова

## УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ В 1988 ГОДУ

### Статьи

	№	Стр.
Бабаков В. Г. Историческое место фратрии в структуре социальных связей западносибирских угров	3	36
Бабенко В. Я.—См.: Кузеев Р. Г., Бабенко В. Я., Моисеева Н. Н.	1	3
Бромлей Ю. В. К вопросу о неоднозначности исторических традиций этнографической науки	4	3
Бусыгин Е. П., Столярова Г. Р. Культурно-бытовые процессы в национально-смешанных семьях (по материалам исследований в сельских районах Татарской АССР)	3	27
Бутовская М. Л. Перспективы использования этологических материалов и методов в антропологии и этнографии	5	26
Вебер-Келлерман И. Обряды жизненного цикла и социальная стратификация	6	50
Власов В. Г. Христианизация русских крестьян	3	3
Гуревич А. Я. Изучение ментальностей: социальная история и поиски исторического синтеза	6	16
Дворниченко А. Ю.—См.: Фроянов И. Я., Дворниченко А. Ю., Кривошеев Ю. В.	6	25
Дудко Д. М. Скифский религиозный праздник в отечественной и зарубежной историографии	2	57
Жордания И. М. Народное многоголосие, этногенез и расогенез (Исследовательские предпосылки, задачи, пути)	2	24
Иванчик А. И. Воины-псы. Мужские союзы и скифские вторжения в Переднюю Азию	2	15
Клейн Л. С. Стратегия синтеза в исследованиях по этногенезу (интеграция наук и синтез источников в решении проблем этногенеза)	5	38
Козлов В. И., Комарова О. Д., Степанов В. В., Ямков А. Н. Проблемы адаптации русских старожилов в Азербайджане	4	13
Комарова О. Д.—См.: Козлов В. И., Комарова О. Д., Степанов В. В., Ямков А. Н.	6	34
Коротеева Б. В., Мосесова М. Н. Проблемы национальных языков и их отражение в общественном сознании (по материалам писем читателей в центральные газеты)	6	34
Краснодемская Н. Г. Шри Ланка: этнический конфликт и проблемы национальной культуры	5	4
Кривошеев Ю. В.—См.: Фроянов И. Я., Дворниченко А. Ю., Кривошеев Ю. В.	4	49
Кузеев Р. Г., Бабенко В. Я., Моисеева Н. Н. Особенности этнонационального развития народов Волго-Уральской историко-этнографической области за годы Советской власти	6	34
Кузнецов И. М. Адаптивность этнических культур и этнокультурные типы самоопределения личности (к постановке проблемы)	1	3
Малаявин В. В. К определению понятия народной религии в традиционной цивилизации (на примере Китая)	1	15
Милитарев А. Ю., Пейрос И. И., Шнирельман В. А. Методические проблемы лингвоархеологических реконструкций этногенеза	1	27
Моисеева Н. Н.—См.: Кузеев Р. Г., Бабенко В. Я., Моисеева Н. Н.	4	24
Мосесова М. Н.—См.: Коротеева Б. В., Мосесова М. Н.	5	4
Островский А. Б. Школа французского структурализма: вопросы методики	2	33
Пейрос И. И.—См.: Милитарев А. Ю., Пейрос И. И., Шнирельман В. А.	4	24
Степанов В. В.—См.: Козлов В. И., Комарова О. Д., Степанов В. В., Ямков А. Н.	6	34
Тишков В. А. Современная этническая ситуация на Гавайях	3	47
Тумаркин Д. Д. Миклухо-Маклай и его наследие (к 100-летию со дня смерти)	2	3
Фирсов Б. М. Теоретические взгляды В. Н. Тенишева	3	15
Фирсов Б. М. «Крестьянская» программа В. Н. Тенишева и некоторые результаты ее реализации	4	38

Фроянов И. Я., Дворниченко А. Ю., Кривошеев Ю. В. Введение христианства на Руси и языческие традиции . . . . .	6	25
Хазанов А. М. Зарождение этнографии в Анголе, Мозамбике и Гвинея-Бисау . . . . .	2	45
Чешко С. В. Время стирать белые пятна . . . . .	6	3
Шинкарев В. Н. Представления нага о жизненных силах (к проблеме «субстанционального» элемента анимистических верований) . . . . .	1	40
Шнирельман М. А.—См.: Милитарев А. Ю., Пейрос И. И., Шнирельман В. А. . . . .	4	24
Щепанская Т. Б. Процессы ритуализации в молодежной субкультуре . . . . .	5	15
Ямков А. Н.—См.: Козлов В. И., Комарова О. Д., Степанов В. В., Ямков А. Н. . . . .	6	34

## **Дискуссии и обсуждения**

Бромлей Ю. В. О предмете этнографии в свете логико-системного анализа [Обсуждение статьи Ю. В. Бромлея, М. В. Крюкова «Этнография: место в системе наук, школы, методы»] . . . . .	1	62
Горленко В. Ф. Некоторые соображения по поводу статьи Ю. В. Бромлея, М. В. Крюкова . . . . .	1	50
Крюков М. В. Советская этнографическая наука нуждается в перестройке . . . . .	1	55
От редакции . . . . .	1	69
Пименов В. В. Подготовка профессионального этнографа: проблемы перестройки . . . . .	3	65
Обсуждение статьи В. В. Пименова «Подготовка профессионального этнографа: проблемы перестройки». Бусыгин Е. П. (Казань), Карлов В. В. (Москва), Марков Г. Е. (Москва), Томилов Н. А. (Омск) . . . . .	4	72
Козлова К. И., Громов Г. Г. (Москва), Шамиладзе В. М. (Тбилиси) . . . . .	6	65
Чешко С. В. Национальный вопрос в СССР: состояние и перспективы изучения . . . . .	4	62

## **Из истории науки**

Бердинских В. А. Из эпистолярного наследия Дмитрия Константиновича Зеленина . . . . .	2	67
Дарган Н. Я. Как становятся этнографами . . . . .	5	49
Полевой Б. П. Неопубликованное сочинение О. Аргунова о северных айнах . . . . .	3	72
Радзюн А. Б. Фредерик Рюиш и его анатомическая коллекция . . . . .	6	82

## **Этнография в музеях**

Зязева Л. К., Островский А. Б. Этнографическая коллекция: методика и организация . . . . .	6	88
--	---	----

## **Сообщения**

Абакелия Н. К. Образ св. Георгия в западногрузинских религиозных верованиях . . . . .	5	86
АЗизов С. А. К вопросу о дагестанской тухумной эндогамии . . . . .	6	121
Акляев А. Р. Этноязыковая ситуация и особенности этнического самосознания грузинских греков (по материалам исследования в Цалкинском районе) . . . . .	5	60
Бакаева Э. П., Гучинова Э.-Б. М. Погребальный обряд у калмыков в XVII—XX в. . . . .	4	98
Богуславская И. Я. О вятской Свиристопляске . . . . .	2	90
Галстян А. П. Этнодемографические и этноязыковые процессы среди армян Грузинской ССР (по материалам переписей населения 1926—1979 гг.) . . . . .	5	71
Григорьева О. М. Эволюционные аспекты изучения формы лицевого отдела черепа у гоминид (антропологические и таксономические проблемы) . . . . .	5	102
Гузенкова Т. С. Этнос в художественной литературе народов Урало-Поволжья . . . . .	3	88
Гучинова Э.-Б. М.—См.: Бакаева Э. П., Гучинова Э.-Б. М. . . . .	4	98
Дмитриева С. И. Мезенские прядки (к вопросу о происхождении мезенской росписи) . . . . .	1	81
Дуброва Н. А. К антропологической характеристике курдов . . . . .	2	127
Иванов С. К. О возможном подходе к изучению русского национального характера . . . . .	2	72
Кирчук Р. Ф. Отзвуки архаической обрядности в весенней поэзии украинцев Карпат . . . . .	2	94
Крупник И. И., Куповецкий М. С. «Лахлухи» — курдистанские евреи в СССР . . . . .	2	102
Куповецкий М. С.—См.: Крупник И. И., Куповецкий М. С. . . . .	2	102
Лебедева А. А. Использование дикорастущих растений и минералов русскими Сибири в XVIII—начале XX в. . . . .	2	78
Магомедов А. Д. Мужские наборные пояса народов Северного Кавказа: формирование и развитие художественной традиции . . . . .	2	111

Мелконян Э. Л. Армянская семья в условиях диаспоры . . . . .	6 98
Николаева Т. А. Художественные особенности народной украинской одежды (конец XIX — нач. XX в.) . . . . .	6 105
Новиков М. Н. К вопросу о формировании этнических границ в раннесредневековой Западной Европе (на примере Швейцарии) . . . . .	5 94
Пазов А. Б. К проблеме этнических факторов использования трудовых резервов . . . . .	3 84
Пушкирева Н. Л. Женщина в древнерусской семье X—XV вв. . . . .	4 87
Рах Г. Ю. Изучение образа жизни трудящихся Магдебургской равнины . . . . .	1 71
Рахматиллаев Х. Динамика этнической структуры сельского населения Ферганской долины . . . . .	6 126
Симакин С. А. Анимистические верования качинов (к вопросу о диалектике анимизма) . . . . .	2 120
Симонова-Гудзенко Е. К. О появлении богини Аматэрасу в японском пантеоне . . . . .	1 98
Степанов В. В. Изучение народных способов организации жилой среды (на примере сельских поселений Азербайджанской ССР) . . . . .	5 79
Шакирова Н. Ф. Дикорастущие растения в традиционном питании башкир . . . . .	3 99
Элкайр У.-Х. Сиблиинговые группы. Мужская и женская власть на Центральных и Западных Каролинах . . . . .	4 110

#### Поиски, факты, гипотезы

Говор Е. В. К истории пребывания Н. Н. Миклухо-Маклая на Юге России . . . . .	2 137
Гриинёв А. В. Индейцы эяки и судьба русского поселения в Якутате . . . . .	5 110
Квашнина С. Н. Индейцы Колорадо . . . . .	1 111
Мак-Ги Р. Происхождение эскимосов: возможна ли альтернативная гипотеза? . . . . .	3 111
Маркарьян С. Б., Молодякова Э. В. Народный праздник Бон у японцев . . . . .	4 111
Молодякова Э. В.—См.: Маркарьян С. Б., Молодякова Э. В.	4 111
Петросян Э. Х. Генетические истоки анатолийского кукольного театра «Карагёз» . . . . .	6 13

#### На стыке жанров

Абрамян Л. А. Беседы у дерева . . . . .	5 121
---	-------

#### Наши юбиляры

Список основных работ по этнографии и истории доктора исторических наук М. М. Громыко (к 35-летию научной деятельности) . . . . .	1 120
Список основных научных трудов доктора философских наук И. С. Кона (к 60-летию со дня рождения) . . . . .	2 144
Список основных работ по этнографии доктора исторических наук Л. А. Молчановой (к 40-летию научной деятельности) . . . . .	3 119
Список основных работ Е. Н. Студенецкой (к 50-летию научной деятельности) . . . . .	4 129
Список работ доктора исторических наук Д. Д. Тумаркина (к 60-летию со дня рождения) . . . . .	6 148

#### Хроника

Тер-Саркисянц А. Е. Работа ордена Дружбы народов Института этнографии АН СССР в 1987 году . . . . .	3 122
---	-------

#### Научная жизнь

Амиррова Д. Ж., Ромодин А. В. Конференция молодых фольклористов Бронникова О. М. На Среднеазиатско-кавказских чтениях . . . . .	2 162
Бутинова М. С. XVIII конференция по изучению Австралии и Океании . . . . .	2 158
Бутовская М. Л.—См.: Давыдова Г. М., Бутовская М. Л., Халдеева Н. И.	1 127
Васильев В. И., Золотарева И. М., Федянович Т. П., Шкляев Г. К. XVII Всесоюзная конференция финноугроведов . . . . .	4 132
Викан С.—См.: Давыдов А. Н., Теребихин Н. М., Ниеми Э., Викан С.	3 131
Воронина Т. А. Третье международное совещание комитета по этнографическому изучению изобразительного искусства . . . . .	3 141
Грысык Н. Е. Симпозиум «Проблемы реконструкции древнеславянской духовной культуры» . . . . .	6 155
Грысык Н. Е. Полевая сессия Ленинградской части Ин-та этнографии АН СССР . . . . .	1 131
Гусев В. Е. 34-й Конгресс фольклористов Югославии . . . . .	6 158
Давыдов А. Н., Теребихин Н. М., Ниеми Э., Викан С. Визит норвежских этнографов-музееведов в Архангельск . . . . .	4 138
	3 141

Давыдова Г. М., Бутовская М. Л., Халдеева Н. И. Сессия, посвященная 95-летию со дня рождения В. В. Бунака. Кардинальные проблемы этнической антропологии	4	132
Дараган Н. Я. Симпозиум «Армянские общины в странах Запада и „третьего мира“»	3	135
Дараган Н. Я., Коротеева В. В. Теоретический семинар молодых ученых «Подходы к решению современных национальных проблем и профессиональная роль этнографа»	5	135
Золотарева И. М.—См.: Васильев В. И., Золотарева И. М., Федянович Т. П., Шкляев Г. К.	3	131
Иванов В. П. Научно-практическая конференция «Историческое краеведение в школах Чувашской АССР: опыт, проблемы и перспективы»	1	133
Итина М. А. Заседание ученого совета Института этнографии АН СССР, посвященное памяти С. П. Толстова	2	147
Коротеева В. В.—См.: Дараган Н. Я., Коротеева В. В.	5	135
Молотова Л. Н. Читательская конференция журн. «Советская этнография» в ГМЭ	6	152
Ниemi Э.—См.: Давыдов А. Н., Теребихин Н. М., Ниemi Э., Викан С.	3	141
Перепелкин Л. С. Конференция молодых ученых Института этнографии АН СССР. «Этнографическое знание: от теории к практике» (1987 г.); «Этнография и пограничные науки: цели, задачи и методы» (1988 г.)	5	132
Попова Л. М. Научно-практическая конференция «Проблемы развития народных художественных промыслов на современном этапе»	3	138
Ромодин А. В.—См.: Амирова Д. Ж., Ромодин А. В.	2	162
Рябинин Е. А., Фишман О. М. Первые финно-угорские чтения	6	159
Соболева Е. С. Девятые Маклаевские чтения	2	160
Сусоколов А. А. Междисциплинарный семинар «Локальные субкультуры как компонент культурно-экологических систем»	5	138
Теребихин Н. М.—См.: Давыдов А. Н., Теребихин Н. М., Ниemi Э., Викан С.	3	141
Тер-Саркисянц А. Е. Всесоюзная научная конференция «Этнографическая наука и пропаганда этнографических знаний»	1	123
Федянович Т. П.—См.: Васильев В. И., Золотарева И. М., Федянович Т. П., Шкляев Г. К.	3	131
Фишман О. М.—См.: Рябинин Е. А., Фишман О. М.	6	159
Фотий Л. А. Коллективные тематические стажировки в ГМЭ народов СССР (1984—1987 гг.)	1	137
Халдеева Н. И.—См.: Давыдова Г. М., Бутовская М. Л., Халдеева Н. И.	4	132
Чистов К. В. Советско-финский симпозиум по социально-экономическим проблемам	6	153
Шкляев Г. К.—См.: Васильев В. И., Золотарева И. М., Федянович Т. П., Шкляев Г. К.	3	131
Щукин М. Б. Работа секции славянского этногенеза Ленинградского отделения научного совета АН СССР по проблемам славяноведения и балканистики	6	163
Юхнева Н. В. Научные чтения «Этнография Петербурга — Ленинграда»	1	135
Коротко об экспедициях	1	141
Коротко об экспедициях	2	164
Коротко об экспедициях	4	140
Коротко об экспедициях	6	166

## Критика и библиография

### Критические статьи и обзоры

Веселкин Е. А. Люди в науке (по поводу книги А. А. Никишенкова «Из истории английской этнографии»)	6	168
Исхаков Д. М. Об этнической ситуации в Среднем Поволжье в XVI—XVII вв. (критический обзор гипотез о „ясачных чуваши“ Казанского края)	5	140
Новиков М. Н. Журнал «Schweizerisches Archiv für Volkskunde» и некоторые вопросы современной Швейцарской этнографии	1	144
Оборотова Е. А. Народы Севера в современном мире: взгляды и позиции	5	146
Ревуненкова Е. В. Шаманизм, культура, этнические контакты в Евразии	3	143
Тумаркин Д. Д. Основные направления этнографического изучения народов Океании в СССР в 1961—1986 гг.	4	141

## Общая этнография

Андреев Б. В., Кабо В. Р. Первобытная доземледельческая община	3	151
Белик А. А. R. A. Hinde. Individuals, Relationships and Culture	5	152
Герценберг Л. Г. Гамкелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейские языки и индоевропейцы. Т. I—II	1	158

Козлов В. И., Крюков М. В. <i>П. Алексеев</i> . Этногенез . . . . .	1	151		
Кон И. С. <i>Geschlechtsreife und Legitimation zur Zeugung; Zur Sozialgeschichte der Kindheit</i> . . . . .	2	167		
Крюков М. В.—См.: Козлов В. И., Крюков М. В. . . . .	1	151		
Руденский Н. Е. А. З. <i>Романенко</i> . О классовой сущности сионизма. Историографический обзор литературы . . . . .	5	154		
Толстой Н. И. К. В. <i>Чистов</i> . Народные традиции и фольклор. Очерки теории . . . . .	4	150		
Фрейдзон В. И. Ю. В. <i>Бромлей</i> . Этносоциальные процессы: теория, история, современность . . . . .	6	176		
<b>Народы СССР</b>				
Акопян А. А., Галстян А. П., Карапетян М. М. <i>Т. Х. Акопян, С. Т. Мелик-Бахшян, О. Х. Барсегян</i> . Словарь топонимов Армении и прилегающих областей. Т. I . . . . .	3	158		
Аничабадзе Ю. Д. М. Б. <i>Канделаки</i> . Из общественного быта горцев Грузии—институт аманатства . . . . .	4	162		
Баканурский А. Г. <i>Фольклорный театр народов СССР</i> . . . . .	1	165		
Виноградов В. Б. А. И. <i>Мусукаев</i> . Об обычаях и законах горцев . . . . .	1	164		
Галстян А. П.—См.: Акопян А. А., Галстян А. П., Карапетян М. М. . . . .	3	158		
Гин Я. И. В. М. <i>Мокиенко</i> . Образы русской речи . . . . .	4	158		
Дмитриева С. И. <i>Фольклор Русского Устья</i> . . . . .	4	160		
Иванова Т. Г. <i>Собрание народных песен П. В. Киреевского</i> . . . . .	2	172		
Калоев Б. А. М. Х. <i>Дарвешян (Мамое Халыт)</i> . Скотоводческое хозяйство курдов Восточной Армении . . . . .	3	157		
Карапетян М. М.—См.: Акопян А. А., Галстян А. П., Карапетян М. М. . . . .	3	158		
Крупник И. И. <i>Крым: прошлое и настоящее</i> . . . . .	5	157		
Миненко Н. А. М. М. <i>Громыко</i> . Традиционные нормы поведения и формы общения русских крестьян XIX в. . . . .	1	162		
Петриков П. Т. <i>Этнография беларусау</i> . . . . .	3	154		
Станюкович Т. М. О. С. <i>Лукьянец</i> . Русские исследователи и молдавская этнографическая наука в XIX—нач. XX веков . . . . .	6	178		
Устинова М. Я. <i>Социально-культурный облик советских наций (по материалам этносоциологического исследования)</i> . . . . .	4	154		
<b>Народы Зарубежной Европы</b>				
Бараг Л. Г. <i>Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas</i> . . . . .	3	166		
Маркова Л. В. <i>Этнография на Болгария</i> . . . . .	3	161		
Мыльников А. С. <i>Dějiny hmotné kultury</i> . . . . .	4	164		
Пержару А. Х. Р. <i>Volcănescu</i> . Mitologie română . . . . .	1	166		
Полевой А. В. І. <i>Cuisinier, M. Segalen</i> . Ethnologie de la France . . . . .	5	160		
<b>Народы Зарубежной Азии</b>				
Арутюнов С. А. И. А. <i>Латышев</i> . Семейная жизнь японцев . . . . .	2	172		
<b>Народы Африки</b>				
Ксенофонтова Н. А. Г. С. <i>Киселев</i> . Доколониальная Африка. Формирование классового общества (состояние проблемы и перспективы ее разработки) . . . . .	3	168		
Львова Э. С. А. С. <i>Балезин</i> . Африканские правители и вожди в Уганде . . . . .	6	180		
Соколова Б. В. В. <i>Crapanzano</i> . Waiting. The Whites of South Africa . . . . .	3	171		
<b>Народы Америки</b>				
Козлов В. И. Л. А. <i>Файнберг</i> . Обманчивый рай (человек в тропиках Южной Америки) . . . . .	4	167		
<b>Народы Австралии и Океании</b>				
Кожановская И. Ж. О. Ю. <i>Артемова</i> . Личность и социальные нормы в раннепервобытной общине: по австралийским этнографическим данным . . . . .	5	163		
<b>Письма в редакцию</b>				
Губогло М. Н. Три вопроса редакции журнала «Советская этнография» . . . . .	4	170		
<b>От редакции</b> . . . . .			4	172
Савоскул С. С., Карлов В. В. Туруханская ГЭС и судьба Эвенкии . . . . .	5	166		

## SUMMARIES

### Time to Eliminate «White Spots»

Grave national problems in the USSR require that the state management of national processes should be changed. Scholarly research should be expanded, ideological concepts renovated, political decision-making becoming more efficient and democratic. It seems expedient to complete and adjust the legal framework of the national problem, providing that law-enforcing become really efficient. It's very important in terms of improving the national-state structure of the USSR, which implies rigorous observance of national rights. In some cases these rights, technically guaranteed by law, cannot be realized in full measure. For example the problem of Soviet Germans needs urgent solution.

*S. V. Cheshko*

### Studying Mentalities: Social History and the Search for Historical Synthesis

Contemporary science of history faces the need to develop a new historical synthesis, combining the social and the spiritual, material life and culture into an integral object of research. The social would be thus interpreted in a new manner and with a deeper penetration. Achieving such a synthesis necessitates studying the history of mentalities, as well as historical investigation on a social-anthropological level.

The author considers the experience of modern historiography in construing mental patterns of the past. Human outlook which is formed in the course of social history is an integral element of human consciousness, Reconstruction of that outlook is necessary for understanding individual and group behaviour, human mentality being an organic component of social life, indispensable for any sound analysis.

These assumptions are confirmed considering the categories of space and time in the «Niebelungenlied», medieval «visions of the future life», «exempla» and sermons containing them, as well as the institution of gift exchange, reflecting some essential aspects of economic anthropology.

*A. Ya. Gurevich*

### Evangelization of Russia and Pagan Traditions

The significance of pagan traditions in the course of Christianization of Russia hasn't been sufficiently scrutinized. Until recently the prevalent opinion was that Christianity, having come to replace paganism, could not gain its foothold by pagan methods and means, which were allegedly rejected by the new religion.

The authors hold the opposite view, stressing that the christening of Russia took place only 8 years after Vladimir's «pagan reform» (980), which was aimed at preserving the East European tribal confederation, dominated by Kievan princes.

The article, based upon Russian chronicles and literary sources, considers different actions, preceding the adoption of Christianity. The authors conclude that in Russia Christianity was accepted in a pagan cover. It was paganism that permeated the behaviour of the Kievan community and that of prince Vladimir himself. Introducing Christianity was just an element of the process of religious reform characteristic of 10-century Russia. Christianization was regarded as mere change of gods within the framework of the traditional pagan concepts.

*I. Ya. Froyanov, A. Yu. Dvornichenko,  
Yu. V. Krivosheyev*

### Adaptation of Russian Old-Settlers in Azerbaijan (mid-19—20 c.)

Systematic research of ethno-cultural adaptation was started in the USSR in 1986, taking as its first object a Russian local group having lived for about 150 years in an ethnically alien rural environment of Eastern Transcaucasia. The research concentrated upon all aspects of subsistence, including physiology, material culture, ethnopsychology

and demography. It was found out that all the Russian groups are in numerical decline due to hindering factors of the last decades. The initial stage of the adaptation was more successful though more burdensome in terms of physical and moral effort. This phenomenon needs further analysis, requiring that adaptation be presented as a comprehensive model, indicating interrelations between the components studied.

*V. I. Kozlov, O. D. Komarova,  
V. V. Stepanov, A. N. Yamshkov*

### **Life Cycle Rituals and Social Stratification. Family and Childhood**

The radical social change that took place in Germany in mid-20 c. resulted in a shift in life cycle forms. Till that moment age norms were rather collective than individual. Chronological and biological structuring of life cycle became prevalent in Western Europe as soon as bourgeois norms were spread and institutionalized. Rural population was involved in the process to a lesser extent. Thus, entering school became a major age landmark, and passing to a senior class was also perceived as an important event. Successive stages of individual life-cycle were becoming more and more significant socially. However, the modern life-cycle in the West is influenced by frequent economic recessions, unemployment breaking individual life cycles and forcing people to take a new start.

*I. Weber-Kellerman*

### **Discussing V. V. Pimenov's Article «Training Professional Ethnographers: The Problems of Perestroika»**

In the author's opinion, the Soviet ethnographic school has an advantage of including ethnography in the system of historical disciplines. The Moscow University chair of ethnography trains historians specialized in ethnography. Such training is based upon extensive knowledge of historical and ethnographic data, which is indispensable for correct understanding of theory. The link between ethnography and history is organic, profound understanding of ethnic problems being impossible without considering particular historical events. The curriculum should be an integral system of interrelated teaching courses. Introducing new scientific facts and concepts is to be treated with care. The author is particularly anxious about training professional lecturers in ethnography.

*G. G. Gromov*

The article considers the content and methods of teaching ethnographic courses in colleges. As proved by practice, a good training in ethnography can be received only in a university possessing a chair of ethnography with many subjects of specialization. The curriculum should stress the difference between ethnography proper and subsidiary disciplines providing mere information. The central place should be taken by fundamental courses, comprising the basic ethnographic training, as well as by special seminars, forming habits of and taste to independent research.

The perestroika in higher education requires that quality and efficiency of teaching should be raised. All the general and special courses should be organized around important problems and based upon the principles of historicism.

Improving ethnographic training is dependable on defining the boundaries of ethnography within the system of university historical education.

*K. I. Kozlova*

Some changes are suggested in the university curriculum, including improving the teaching courses, preparing new textbooks, setting better contact between the chair and practical institutions, training ethnographers for practical activities; improving the students' practical work (research, teaching, expeditions).

The system of ethnographic training should be expanded, providing for better coordination between Soviet and foreign learning institutions (exchange of students and teachers, holding joint conferences, sessions, symposia etc.).

Now that new directions and trends are introduced in the curriculum, the fundamentals of ethnography preserve their significance in training future scholars. When preparing new courses and textbooks, we should combine relating the data of history and ethnography with theoretical generalizations about social-ethnic situations in different regions.

*V. M. Shamiladze*

## **CONTENTS**

### **National Processes Today**

S. V. Cheshko (Moscow). Time to Eliminate «White Spots».

### **Artikles**

A. Ya. Gurevich (Moscow). Studying Mentalities: Social History and the Search for Historical Synthesis. I. Ya. Froyanov, A. Yu. Dvornichenko, Yu. V. Kriushev (Leningrad). Evangelization of Russia and Pagan Traditions. V. I. Kozlov, O. D. Komarova, V. V. Stepanov, A. N. Yamskov (Moscow). Adaptation of Russian Old-Settlers in Azerbaijan (Mid-19—20 c.). I. Weber-Kellerman (Marburg). Life Cycle Rituals and Social Stratification. Family and Childhood.

### **Discussions**

Discussing V. V. Pimenov's Article «Training Professional Ethnographers: The Problems of Perestroika». G. G. Gromov (Moscow). K. I. Kozlova (Moscow). V. M. Shamiladze (Tbilisi).

### **From the History of Ethnography**

A. B. Radz'un (Leningrad). Fr. Ruysch and his Anatomic Collection in the Museum of Anthropology and Ethnography.

### **Ethnography in Museums**

L. K. Z'azeva, A. B. Ostrovsky (Leningrad). An Ethnographic Lecture: Methodology and Organization (the Experience of the State Ethnographic Museum of Soviet Peoples).

### **Communications**

E. L. Melkon'an (Yerevan). Armenian Family in Diaspora. T. A. Nikolayeva (Kiev). Decorative Peculiarities in the Ukrainian Folk Costume of the Late 19—Early 20 c. as Studied by Ethnography. S. A. Azizov (Makhach-kala). The Problem of «Tukhum» Endogamy in Dagestan. H. Rakhmatillayev (Fergana). Urban Population of the Uzbek Portion of the Fergana Valley: Changes in the Ethnic Structure in Soviet Time.

### **Searchings, Facts, Hypotheses**

E. H. Petros'an (Yerevan). The Origin of the «Karagöz» — the Anatolian Puppet Theatre.

### **Our Anniversaries**

List of Works by D. D. Tumarkin, Doctor of Historical Sciences (to His 60th Birthday).

### **Academic Life**

L. N. Molotova (Leningrad). A Readers' Conference of the «Sovetskaya Etnografiya» in the State Ethnographic Museum of Soviet Peoples. K. V. Chistov (Leningrad). A Soviet-Finnish Symposium on Social-Economic Problems. T. A. Voronina (Moscow). The Third International Conference of the Committee on Ethnographic Study of Pictorial Arts. N. Ye. Grysyk (Leningrad). A Field Session of the Leningrad Department of the Institute of Ethnography, the USSR Academy of Sciences. Ye. A. Ryabinin, O. M. Fishman (Leningrad). The First Finno-Ugrian Readings. M. B. Shchukin (Leningrad). The Work of the Slav Ethnogenesis Section, Leningrad Department of the USSR Academy of Sciences Learned Council on Slav and Balkan Studies.

Expeditions in Brief

### **Criticism and Bibliography**

Critical Articles and Reviews. Ye. A. Vesylkin (Moscow). Personalities in Science (on the Occasion of A. A. Nikishenkov's Book «From the History of English Ethnography. A Critique of Functionalism»). General Ethnography. V. I. Freidzon (Moscow). Yu. V. Bromley. Ethno-Social Processes: Theory, History, Modernity. Peoples of the USSR. T. V. Stan'ukovich (Leningrad). O. S. Lukyanetz. Russian Researchers and Moldavian Ethnography in 19—Early 20 Centuries. Peoples of Africa. E. S. L'vova (Moscow). A. S. Balezin. African Rulers and Chiefs in Uganda.

Index for 1988.

Технический редактор Гришина Е. И.

Сдано в набор 08.09. 88	Подписано к печати 23.11.88	Формат бумаги 70×108/16		
Высокая печать	Усл. печ. л. 16,8	Усл. кр.-отт. 48,3 тыс.	Уч.-изд. л. 20,5	Бум. л. 6,0
		Тираж 2831 экз.	Зак. 4701	

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»,  
103717, ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21  
2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6.